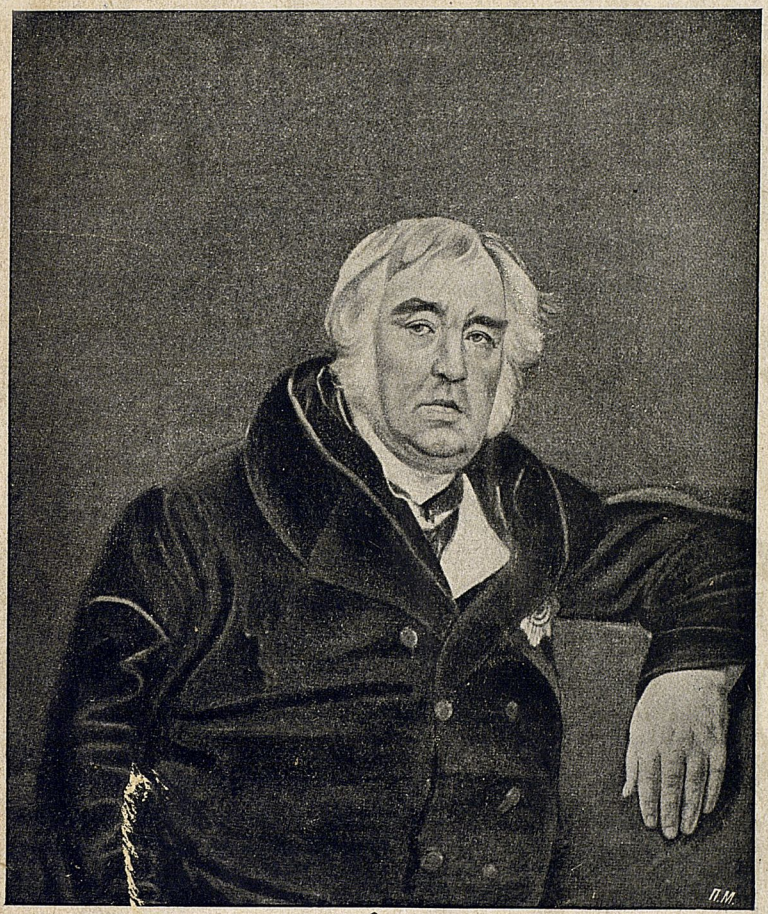
U 1/95

U 1/95

Иванъ Андреевичъ
КРЫЛОВЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ



Сборникъ историко-литературныхъ статей

СОСТАВИЛЪ
В. И. Покровскій

Москва 1908.
Изданіе второе.

Иванъ Андреевичъ

КРЫЛОВЪ.

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

Изданіе второе, дополненное.

Цѣна 40 коп.

ПУБЛИЧ. И РУМЯНЦОВ. МУЗЕЙ * БИБЛІО-ТЕКА

МОСКВА.

Складъ въ книжномъ магазинѣ В. СПИРИДОНОВА и А. МИХАЙЛОВА.

Тверская, Столешниковъ пер., д. Ліанозова.

Телефонъ 120—95.

1908.

2010515012

Типографія Г. Лисснера и Д. Совко.
Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. Лисснера.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Во второмъ изданіи помѣщены слѣдующія новыя статьи: Общій обзоръ драматической дѣятельности Крылова, *Перетца, Лавровскаго.* — Комедіи Крылова «Модная Лавка» и «Урокъ дочкамъ», *Перетца.* — Общность мотивовъ сатиры Крылова въ его журналахъ и басняхъ, *Линниченка.* — Сатирическіе журналы Крылова, какъ обширный прологъ къ его баснямъ, *Семина.* — «Почта Духовъ», *Грота.* — «Почта Духовъ», «Зритель» и «С.-Петербургскій Меркурій» и общественный характеръ ихъ сатиры. — Жизненность, серіозность и разнообразіе содержанія, зрѣлость и обдуманность мысли, искренность чувства, игривость остроумія, прекрасный языкъ — отличительныя свойства сатиры Крылова въ «Почтѣ Духовъ», «Зрителѣ» и «Меркуріи», *Лавровскаго.* — Сатирическіе журналы Крылова и ихъ сотрудники, *Лященка.* — Крыловъ — публицистъ и критикъ, *Иванова.* — Особенности языка Крылова въ стилистическомъ отношеніи, *Истомина.*

В. Покровскій.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

Иванъ Андреевичъ Крыловъ, *Кеневича* 1
Очеркъ литературной дѣятельности Крылова, *Грота* 5
Общій обзоръ драматической дѣятельности Крылова, *Перетца, Лавровскаго* . . . 13
Комедія Крылова „Модная лавка“, *Перетца* 21
Общность мотивовъ сатиры Крылова въ его журналахъ и басняхъ, *Линниченка* 32
Сатирическіе журналы Крылова, какъ обширный прологъ къ его баснямъ, *Селина* 38
„Почта Духовъ“, *Грота* 46
„Почта Духовъ“, „Зритель“, „С.-Петербургскій Меркурій“ и общественный характеръ ихъ сатиры, *Тимоѳеева* 57
Жизненность, серіозность и разнообразіе содержанія, зрѣлость и обдуманность мысли, искренность чувства, игривость остроумія, прекрасный языкъ — отличительныя свойства сатиры Крылова въ „Почтѣ Духовъ“, „Зрителѣ“ и „Меркуріи“, *Лавровскаго* 74
Сатирическіе журналы Крылова и ихъ сотрудники, *Лященка* 83
Крыловъ — публицистъ и критикъ, *Иванова* 86
Общій характеръ морали басенъ Крылова, *Кеневича* 92
Вопросы воспитанія и образованія въ басняхъ Крылова, *Аммона* 94
Административные и судебные нравы въ басняхъ Крылова, *его же* 105
Историческія басни Крылова, *Кеневича* 110
Басни Крылова, устанавливающія согласіе между отдѣльными группами государства, *Лавровскаго* 115
Басни Крылова, поучающія правиламъ обычной житейской мудрости, *его же* . . . 117
Басня Крылова, какъ воплотительница ума и народной мудрости, *Грота* . . . 118
Педагогическое значеніе басенъ Крылова, *Гогоцкаго* 119
Художественное значеніе басенъ Крылова, *Гогоцкаго, Никитенка* 121
Естественность и простота, картинность и музыкальность басенъ Крылова, *Лавровскаго* 132
Языкъ басенъ Крылова, *Срезневскаго* 135
Особенности языка Крылова въ стилистическомъ отношеніи, *Истомина* 140
Отношеніе современниковъ къ Крылову, *Аммона* 148
Личность Крылова, *Грота, Кеневича, Плетнева* 150

Иванъ Андреевичъ Крыловъ.

И. А. Крыловъ родился 2 февраля 1768 г., въ Москвѣ. Дѣтство его протекло среди такой обстановки, которая, повидимому, всего менѣе могла содѣйствовать правильному развитію его способностей. Отецъ его, армейскій капитанъ, мужественный защитникъ Яика отъ скопищъ Пугачева, былъ человѣкъ мало образованный. Судя по тѣмъ книгамъ, которыя онъ оставилъ въ наслѣдство сыну, онъ смотрѣлъ на литературу не какъ на образовательное средство, но какъ на средство убивать время. Мать Крылова, женщина не только необразованная, но даже неграмотная, хотя и понимала необходимость образованія, но сама не могла содѣйствовать развитію умственныхъ способностей ребенка. На шестомъ году жизни мы находимъ Крылова въ Оренбургской крѣпости. Не могши взять Яика, Пугачевъ поклялся, что повѣситъ и коменданта и все его семейство. Но Провидѣніе спасло маленькаго Крылова для славы Россіи. Послѣ усмиренія мятежа, заслуженный воинъ оставляетъ мечъ и берется за перо: онъ поступаетъ на службу въ тверской магистратъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ измѣняются и условія жизни нашего баснописца. Тутъ пришло время учиться. Его мать, изыскивая средства дать образованіе сыну, нашла возможность посылать его къ губернаторскому гувернеру-французу учиться по-французски. Трудны были первые шаги маленькаго Крылова; но мать умѣла облегчить ихъ; не зная даже русской грамоты, она единственно своимъ здравымъ природнымъ умомъ постигла, гдѣ и въ чемъ ошибается ребенокъ, и помогала ему дѣлать переводы. Здѣсь нѣжная материнская любовь и здравый умъ съ избыткомъ восполнили недостатокъ образованія. Этотъ французскій гувернеръ былъ единственный учитель, уроками котораго пользовался Крыловъ. Вскорѣ умираетъ отецъ.

Со смертію отца наступаетъ періодъ бѣдствій въ жизни Крылова. Нищета, посѣтившая его семейство, заставила мать опредѣлить сына на службу. И вотъ, 14-лѣтній Крыловъ, едва умѣя держать перо въ рукѣ, вмѣсто того, чтобы итти въ школу учиться, начинаетъ въ чинѣ подканцеляриста посѣщать тверской магистратъ. Но скучныя канцелярскія бумаги, въ которыхъ онъ по молодости, вѣроятно, и понимать ничего не могъ, должны были внушить ему одно отвращеніе. Его занимало не канцелярское дѣло — мысли его, по свидѣтельству современника, уносились на рынки, на площади, куда кулачные бои при-

влекали толпы зрителей, наконецъ — къ плоту, куда со всѣхъ концовъ города собирались прачки и водовозы. Тамъ, въ этихъ сборищахъ, у этого плота, проводилъ онъ цѣлые часы, подслушивалъ разговоры, шутки, остроты, а потомъ бѣжалъ къ товарищамъ своимъ пересказывать то, что поражало его. Тутъ пробудилась его наблюдательность, тутъ онъ изощрилъ ее и, можетъ-быть, уже тогда усвоилъ начало той чисто русской рѣчи, которая дѣлаетъ его басни доступными всѣмъ сословіямъ русскаго народа. Отъ такихъ наблюденій онъ возвращался снова къ канцелярскимъ бумагамъ, отъ которыхъ дышало мертвенностью, формальностью, въ которыхъ отсутствіе жизни, а подчасъ и здраваго смысла, почиталось достоинствомъ. Но бѣдность — къ чему она не принудитъ человѣка! Онъ понималъ, что ему нужно добывать насущный хлѣбъ, и служилъ. А въ то самое время, когда его дѣтская рука выводила нетвердымъ почеркомъ буквы, въ головѣ его созидалась драма по образцу тѣхъ, какія онъ нашелъ въ сундукѣ отца. У него въ это время созрѣлъ планъ „Кофейницы“, видѣлся вдали Петербургъ, театръ, слава... Воображеніе беретъ, наконецъ, верхъ надъ дѣйствительностью. 16-лѣтній мальчикъ просится въ отпускъ на 29 дней и скачетъ въ Петербургъ съ своимъ первымъ произведеніемъ; находитъ великодушнаго книгопродавца (Брейткопфа), который, за его ребяческую работу предлагаетъ ему 60 рублей. Но онъ не беретъ денегъ — онъ беретъ книги, тѣ именно книги, которыя тогда почитались классическими — Расина, Корнеля и Буало. Такъ велика была въ немъ жажда знанія!

За нимъ послѣдовала въ Петербургъ и его мать. Здѣсь, отыскивая средства къ жизни, — потому что 24 рублей въ годъ, которые получалъ Иванъ Андреевичъ за свою службу въ губернскомъ правленіи, несмотря на тогдашнюю дешевизну, было недостаточно, — и отыскивая свои права на пенсіонъ за службу мужа, она умерла. „Это, — говорилъ потомъ Крыловъ своимъ друзьямъ, — былъ первый и самый тяжелый ударъ въ моей жизни“. Но онъ перенесъ его мужественно. Бѣдность, одиночество, безпріютная жизнь, — все это могло бы убить всякую слабую натуру; Крылову же дало новыя силы. На двадцать-первомъ году, мы видимъ его уже записнымъ журналистомъ, типографщикомъ, мѣткимъ сатирическимъ писателемъ, поражающимъ порокъ, скрывающійся отъ общественнаго порицанія подъ величественною тогою заслуженнаго гражданина, подъ личиною свѣтской образованности, подъ маскою скромности, подъ покровомъ общественныхъ приличій. Читая его ѣдкія сатирическія статьи, съ трудомъ вѣримъ, что онѣ написаны почти мальчикомъ, и притомъ мальчикомъ, нигдѣ не учившимся, мальчикомъ, подавленнымъ бѣдностью. Но еще удивительнѣе то, что въ то же время онъ находилъ возможность учиться. Онъ научился играть на скрипкѣ и достигъ такого совершенства въ этомъ искусствѣ, что его приглашали участвовать въ квартетахъ вмѣстѣ съ знаменитыми виртуозами. Увлекшись музыкою, онъ увидѣлъ необходимость научиться по-итальянски. Сохранилось свидѣтельство, что и въ живописи онъ

достигъ замѣчательнаго совершенства. И всему этому научился одинъ, безъ всякой посторонней помощи. Кажется, для этихъ способностей ничего не было невозможнаго. Богъ знаетъ, куда бы увлекли его первые успѣхи; но какія-то весьма темныя обстоятельства заставили его закрыть типографію и прекратить изданіе журнала.

Около этого времени, онъ снова перемѣнилъ службу, но положеніе его не перемѣнилось. Его занималъ тогда театръ. Онъ старался написать трагедію въ родѣ Корнеля или Расина. Но Дмитревскій, съ которымъ онъ тогда сошелся, разбирая ихъ почти по строкамъ, доказывалъ ему, что онѣ слабы, требуютъ переработки, и убѣждалъ разочарованнаго автора учиться и учиться.

Наконецъ, въ 1801 г., колесо фортуны повернулось въ его сторону. Онъ поступилъ на службу къ кн. Голицыну, рижскому генералъ-губернатору, домашнимъ секретаремъ. „Я чрезвычайно радъ, милый мой братецъ,—писалъ къ нему его братъ Левъ Андреевичъ, — что вы совершенно счастливы въ домѣ его сіятельства. Вы этого, по вашимъ добродѣтелямъ и талантамъ, вполнѣ заслужили“.

Въ домѣ кн. Голицына онъ написалъ пародію — трагедію „Трумфъ“, въ своемъ родѣ классическое произведеніе; здѣсь же онъ, не желая быть безполезнымъ нахлѣбникомъ, сталъ учить дѣтей князя и воспитывавшихся съ ними двухъ мальчиковъ, въ томъ числѣ и Вигеля.

Продолжительная жизнь въ чужомъ домѣ, двусмысленное положеніе домашняго учителя, которое и теперь еще не пріобрѣло права гражданства въ нашихъ высокихъ сферахъ и почитается мало чѣмъ выше камердинера или дядьки, должно было имѣть значительное вліяніе на характеръ Крылова. Можетъ-быть, здѣсь научился онъ быть сдержаннымъ, разсудительнымъ, открывать свою прекрасную душу только тѣмъ, кто были равны съ нимъ; можетъ-быть, тутъ онъ узналъ истину, что равенство

Въ любви и дружбѣ вещь святая.

Какъ онъ разстался съ княжескимъ домомъ, какъ попалъ въ Москву, объ этомъ мы ничего не знаемъ.

Умудренный опытомъ, искушенный въ превратностяхъ жизни, онъ въ 1806 г. возвратился въ Петербургъ. Проѣздомъ черезъ Москву онъ написалъ три басни въ подражаніе Лафонтену, изъ коихъ одна *(Разборчивая Невѣста)* до настоящаго времени остается образцовымъ произведеніемъ. И. И. Дмитріевъ, которому мы обязаны, можетъ-быть, тѣмъ, что Крыловъ избралъ исключительно этотъ родъ, прочитавъ эти басни, сказалъ ему: „Это — вашъ истинный родъ; наконецъ, вы нашли его“. Но въ Петербургѣ снова вспыхнула въ немъ страсть къ театру, и результатомъ этой вспышки были двѣ комедіи, о которыхъ современники отзывались съ величайшею похвалою. Они называли его русскимъ Аристофаномъ и были увѣрены, что если бы онъ посвятилъ себя театру, то и въ драматическихъ произведеніяхъ достигъ бы той высоты и совершенства, какихъ достигъ въ баснѣ.

Любовь къ театру сблизила его съ кн. Шаховскимъ. Онъ вошелъ въ общество, въ которомъ мѣста распредѣлялись не по происхожденію, но по талантамъ. На вечерахъ у Шаховского (какъ видно изъ записокъ Жихарева), Крыловъ являлся душою общества. При его содѣйствіи предпринято было изданіе журнала „Драматическій Вѣстникъ“, лучшимъ украшеніемъ котораго были его басни. У Шаховского же на вечерахъ онъ читалъ первыя свои басни. Хотя эти первыя произведенія начинающаго баснописца и встрѣчали въ этомъ обществѣ единодушное и громкое одобреніе, но, какъ видно, самъ авторъ еще не довѣрялъ своимъ силамъ. Первые шаги на этомъ поприщѣ были робки, нерѣшительны. Въ 1808 г. онъ написалъ только пять оригинальныхъ басенъ изъ двадцати, появившихся въ журналѣ Шаховского, и въ числѣ этихъ пяти — три признаются классическими произведеніями. Такъ истинный талантъ всегда недовѣрчивъ къ себѣ.

Слава драматическаго писателя, успѣхъ первыхъ басенъ, мастерское ихъ чтеніе познакомили Крылова съ семействомъ Олениныхъ, а впослѣдствіи служба въ Публичной библіотекѣ связала его съ нимъ навсегда. Въ этомъ просвѣщенномъ семействѣ, благоволившемъ ко всему, что носило на себѣ отпечатокъ таланта, находили радушный пріемъ и живѣйшее искреннѣйшее участіе всѣ писатели и артисты, прославившіе времена Александра I. Въ этомъ семействѣ Крыловъ нашелъ все: и покровительство, и дружбу, и любовь. А. Н. Оленинъ, его начальникъ по службѣ, былъ его искреннѣйшимъ другомъ и ходатаемъ предъ членами Императорскаго семейства. Елизавета Марковна, это олицетвореніе доброты и участія, была ему второю матерью. Здѣсь онъ пріобрѣлъ ласкательное имя „Крылышки“, гордился имъ и любилъ покоиться подъ покровомъ этихъ добрыхъ благородныхъ людей. Отсюда онъ вынесъ титулъ дѣдушки, который слился навсегда съ его именемъ. Посланіе меценату, заканчивающееся стихами:

. . . . . На меня
Щедротъ монаршихъ лучъ склоня,
Лѣнивой музѣ и безпечной
Моей ты крылья подвязалъ.
И, можетъ, безъ тебя бъ мой слабый даръ завялъ
Безвѣстенъ, безъ плода, безъ цвѣта,
И я бы умеръ весь для свѣта...

и эпитафія, начертанная на гробѣ Елизаветы Марковны, свидѣтельствуетъ о томъ, какъ глубоко онъ уважалъ ихъ, какъ цѣнилъ ихъ любовь къ себѣ и какъ умѣлъ быть благодарнымъ.

Тою же искренностію и чистосердечіемъ запечатлѣна и дружба его съ Гнѣдичемъ. Біографы Крылова разсказываютъ, что для того, чтобы имѣть возможность говорить съ нимъ объ „Иліадѣ“, переводъ которой поглотилъ полжизни Гнѣдича, онъ на пятидесятомъ году научился по-гречески.

Съ поступленія на службу въ Публичную библіотеку для Крылова наступаетъ періодъ счастія и славы. Если уваженіе, оказываемое

всѣми, отъ членовъ царскаго семейства до простолюдиновъ, если любовь и предупредительность, которую онъ встрѣчалъ повсюду, куда бы ни являлся, если совершенно обезпеченное матеріальное состояніе, пріобрѣтенное честнымъ трудомъ и истинными заслугами, могутъ составить счастіе человѣка: то, конечно, Крыловъ былъ самый счастливый человѣкъ. И все это онъ пріобрѣлъ только баснями. Появленіе каждой новой его басни было событіемъ. Журналисты превозносили ихъ, публика выучивала ихъ наизусть. Новыя изданія раскупались нарасхватъ: Смирдинъ (по свидѣтельству современника) едва успѣвалъ удовлетворять ея требованія. 70 тысячъ экземпляровъ, которые разошлись по Россіи при жизни баснописца, служатъ лучшимъ доказательствомъ того, какъ высоко цѣнили ихъ современники. Крыловъ объяснялъ такой неслыханный запросъ на его книгу тѣмъ, что ее даютъ дѣтямъ, а дѣти рвутъ книги. Но почему же ихъ давали дѣтямъ; почему же и понынѣ многіе негодуютъ на то, что его баснямъ начинаютъ предпочитать какія-то книжонки, сочиненныя по нѣмецкимъ образцамъ; почему даже и въ этихъ книжонкахъ наибольшее мѣсто доставалось все-таки ему, и почему ежегодно требуется новое изданіе его басенъ? На эти вопросы отвѣчаетъ Гоголь: потому что въ этихъ басняхъ великій поэтъ и мудрецъ слились воедино; потому что въ нихъ высказался разумъ, родственный разуму нашихъ пословицъ; потому что онъ умѣлъ сказать въ нихъ правду каждому — умному и глупому, сильному и слабому, и сановнику, стоящему на вершинѣ общественной лѣстницы, и безвѣстному труженику, на котораго смотрятъ съ презрѣніемъ; потому что каждая изъ нихъ (по выраженію Гоголя), какъ стоглазый Аргусъ, глядитъ на человѣка и заставляетъ его обращать свой умственный взоръ во внутрь самого себя.

Его занимали всегда важные предметы, и въ своихъ басняхъ онъ давалъ отвѣты на вопросы, которые тревожили его современниковъ. Но, привязывая, такимъ образомъ, свою аллегорію къ извѣстному событію или общественному настроенію, онъ умѣлъ всегда вывести изъ нея такое общее положеніе, которое остается истиною при всѣхъ условіяхъ жизни. Его разсказъ, даже оторванный отъ исторической почвы, понятенъ и нравоучителенъ; онъ всегда выше текущихъ событій и условій времени, и пригоденъ человѣку, на какой бы ступени умственнаго и гражданскаго развитія онъ ни стоялъ. Такъ провелъ жизнь нашъ великій баснописецъ и тихо сошелъ въ могилу (9 ноября 1844 г.), оставивъ потомству свои безсмертныя басни и имя добраго, честнаго человѣка. *Кеневичъ.*

Очеркъ литературной дѣятельности Крылова.

Литературная дѣятельность его началась необыкновенно рано. Съ самаго дѣтства чувствовалъ онъ особенную охоту къ драматическому искусству; на оперу смотрѣли тогда, какъ на самое совершен-

ное театральное представленіе, и мальчикъ Крыловъ смѣло принимается за сочиненіе оперы. Потомъ онъ пробуетъ себя въ трагическомъ родѣ и, наконецъ, переходитъ и къ комедіи. Первые драматическіе опыты Крылова, хотя и не имѣвшіе никакого достоинства, были для него тѣмъ важны, что, когда онъ переѣхалъ въ Петербургъ, они открыли ему доступъ въ литературный кружокъ, въ которомъ надолго установилось его авторское направленіе. Черезъ Княжнина познакомился онъ съ Дмитревскимъ и явился къ знаменитому актеру съ однимъ изъ своихъ юношескихъ трудовъ. Дмитревскій строго разобралъ незрѣлую пьесу, но обласкалъ начинающаго литератора. Вскорѣ Крыловъ сблизился и съ другими драматическими писателями. Между тѣмъ, однакожъ, онъ сталъ искать постоянной литературной дѣятельности. Въ этомъ помогло ему знакомство съ другимъ писателемъ, бывшимъ почти 25 годами старше его. Это былъ капитанъ Рахмановъ, почитатель и переводчикъ Вольтера, издававшій въ 1788 г. журналъ „Утренніе Часы“, который печатался въ собственной его типографіи. Въ слѣдующемъ году Крыловъ самъ затѣялъ журналъ или, вѣрнѣе, ежемѣсячный сатирическій сборникъ „Почту Духовъ“, въ формѣ переписки жителей Плутонова царства. Здѣсь Крыловъ въ первый разъ вступилъ на поприще сатиры, которое послѣ, хотя въ другомъ видѣ, оказалось истиннымъ его призваніемъ. Послѣ басенъ „Почта Духовъ“ — любопытнѣйшее и важнѣйшее его произведеніе, показывающее въ двадцатилѣтнемъ авторѣ замѣчательную зрѣлость мысли, наблюдательность и способность къ юмористическому изображенію человѣческихъ слабостей. Вскорѣ послѣ ея прекращенія Рахмановъ, какъ тамбовскій помѣщикъ, уѣхалъ на родину, и Крыловъ, спустя два года, самъ является содержателемъ типографіи, вѣроятно, переданной ему этимъ его сотрудникомъ. Она находилась близъ Лѣтняго сада, въ нижнемъ этажѣ дома Бецкаго. Съ наступленіемъ 1792 г. Крыловъ сталъ печатать въ ней новый предпринятый имъ журналъ „Зритель“. Главнымъ товарищемъ его по этому изданію сдѣлался армейскій офицеръ и драматическій писатель Клушинъ, сынъ орловскаго помѣщика, умершій въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Другіе сотрудники Крылова по изданію „Зрителя“ были: Дмитревскій, Плавильщиковъ, Туманскій и Эминъ. Изъ всѣхъ, не исключая и Дмитревскаго, какъ писателя, Крыловъ превосходилъ талантомъ и впослѣдствіи переросъ славой. Изъ нихъ одинъ Туманскій, издатель историческихъ актовъ, не посвящалъ трудовъ своихъ драматическому искусству. Дмитревскій, какъ мы видѣли, былъ давно наставникомъ Крылова на этомъ поприщѣ. Плавильщиковъ, подобно Дмитревскому, превосходный актеръ, писалъ статьи о театрѣ, замѣчательныя по вѣрности литературныхъ взглядовъ. Н. Эминъ, сынъ извѣстнаго своими приключеніями автора и переводчика, писалъ также для сцены. Журналъ „Зритель“, предположившій себѣ сколько можно разнообразить свое содержаніе, заявилъ, что онъ будетъ, между прочимъ, изображать порокъ во всей его гнусности, избѣгая, однакожъ, всякихъ личныхъ

примѣненій, т.-е. одною изъ его задачъ была сатира. Надобно вспомнить, что онъ начался въ важную для русской литературы эпоху, когда „Московскій Журналъ“ Карамзина продолжался уже годъ. Дѣятельность этого молодого писателя, пробывшаго полтора года за границею и своими письмами какъ будто поддерживавшаго пристрастіе своихъ соотечественниковъ ко всему иноземному, была недружелюбно встрѣчена крыловскимъ кружкомъ, который особенно заботился о возбужденіи національнаго чувства. Въ сущности, Карамзинъ не расходился съ ними въ этомъ стремленіи, но имъ не могли нравиться ни его новый слогъ съ примѣсью чуждыхъ элементовъ, ни извѣстный оттѣнокъ мечтательности или сентиментализма въ его настроеніи, ни, наконецъ, тотъ взглядъ его, который, наперекоръ имъ, ставилъ Шекспира и нѣмецкихъ драматическихъ писателей неизмѣримо выше французскихъ классиковъ. Въ особенности же раздражала крыловскую партію взыскательная въ то время критика Карамзина, не щадившая нѣкоторыхъ изъ этихъ литераторовъ и занимавшаяся часто утонченнымъ разборомъ языка въ ихъ сочиненіяхъ и переводахъ. Извѣстно, что журналъ Крылова, хотя и не могъ въ отношеніи къ языку и къ складу рѣчи похвалиться чисто русскимъ характеромъ, но зато отличался крайнимъ невниманіемъ къ грамматической исправности и къ изяществу выраженія. Оттого „Зритель“ сталъ въ непріязненное отношеніе къ „Московскому Журналу“, издѣваясь надъ слогомъ Карамзина и укоряя его за произвольную, привязчивую критику. Карамзинъ не возражалъ, но въ письмахъ къ Дмитріеву говорилъ: „Итакъ Эминъ, Крыловъ, Клушинъ, Туманскій не благоволятъ ко мнѣ! Какое несчастіе!“

Что касается до самого Крылова, то статьи, подписанныя его именемъ въ „Зрителѣ“, имѣютъ опять значеніе сатиры на нравы. Въ отношеніи къ ея формѣ онъ платитъ дань вкусу своего времени, въ содержаніи же обнаруживаетъ много колкаго остроумія и юмора. Въ его сказкѣ *Ночи* происходитъ, на пирушкѣ у бога Момуса, споръ между *Днемъ* и *Ночью*, о томъ, кто изъ нихъ видитъ на свѣтѣ болѣе людскихъ дурачествъ. Для рѣшенія этого вопроса, богиня ночи поручаетъ автору вести записку о томъ, что случается во время ея владычества, и онъ описываетъ ночныя похожденія. Въ восточной повѣсти *Каибъ* разсказывается исторія калифа, который собираетъ свой диванъ, чтобы услышать мнѣніе визирей, какимъ бы образомъ ему совершить далекое странствованіе такъ, чтобы никто изъ подданныхъ не замѣтилъ его отсутствія. Это — самое замѣчательное изъ сочиненій *Крылова* въ „Зрителѣ“; личность Каиба и его визирей: Дурсана, Ослашида и Грабилея изображена въ рѣзкихъ чертахъ. При дворѣ Каиба календарь былъ составленъ изъ однихъ праздниковъ, и будни были рѣже, чѣмъ именины Касьяновъ; тѣмъ не менѣе Каибъ всячески старался поощрять науки, и хотя не пускалъ ученыхъ людей во дворецъ, но изображенія ихъ составляли не послѣднее украшеніе его стѣнъ. Въ нѣкоторыхъ комнатахъ рѣзвились на золотыхъ

цѣпочкахъ забавныя обезьяны, которыя кривлялись такъ искусно, что люди ставили за честь подражать имъ, а нерѣдко, по слабости человѣческой, выдумки обезьянъ выдавали за свои, отчего произошли великіе споры, о которыхъ тамошняя академія издала исторію въ 36 фоліантахъ. Описывая диванъ Каиба, *Крыловъ* говоритъ, что калифъ былъ расчетистъ: обыкновенно одного мудреца сажалъ между десяти дураковъ; умныхъ людей сравнивалъ со свѣчами, которыхъ умѣренное число производитъ пріятный свѣтъ, а слишкомъ большое можетъ причинить пожаръ, и часто говаривалъ, что ему, для сохраненія добраго порядка, дураки, по крайней мѣрѣ, столько же нужны, какъ и умные люди. Въ другихъ сатирическихъ статьяхъ своихъ *Крыловъ*, слѣдуя примѣру нѣкоторыхъ европейскихъ писателей, избираетъ иногда форму шуточныхъ рѣчей и похвальныхъ словъ.

„Зритель“ издавался только 11 мѣсяцевъ, до конца 1792 г. Тогдашніе журналы соблюдали благое обыкновеніе печатать при своихъ книжкахъ имена постепенно прибывавшихъ подписчиковъ, что̀ въ то время было и легко по ограниченному количеству читающей публики. Нынѣшніе издатели, по разнымъ причинамъ, не объявляютъ числа и именъ своихъ подписчиковъ, хотя такія свѣдѣнія были бы во многихъ отношеніяхъ любопытны и полезны не только для современниковъ, но и для потомства. По спискамъ, приложеннымъ къ „Зрителю“, оказывается, что его разсылалось всего 170 экземпляровъ, изъ которыхъ 136 приходилось на Петербургъ, только 12 на Москву и не болѣе 22 на всѣ прочіе города. „Московскій Журналъ“ *Карамзина*, самое распространенное изъ тогдашнихъ періодическихъ изданій, имѣлъ въ томъ же году только до 300 подписчиковъ; изъ этого числа $^2/_3$ жили въ Москвѣ, а въ Петербургѣ ихъ было не болѣе 28 человѣкъ. Отсюда видно, какъ мало въ то время обѣ столицы мѣнялись своими литературными произведеніями.

Журналъ *Карамзина* въ концѣ 1792 г. совсѣмъ прекратился; „Зритель“ же *Крылова* кончился только по имени и преобразился въ „С.-Петербурскаго Меркурія“, который издавался въ продолженіе всего 1793 г. По предисловію, подписанному *Крыловымъ* и *Клушинымъ*, видно, что они хотѣли сдѣлать изъ этого изданія то же для Петербурга, чѣмъ былъ журналъ *Карамзина* для Москвы, т.-е. изданіе въ родѣ иностранныхъ журналовъ съ извѣстіями о новыхъ книгахъ и театрѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однакожъ, издатели, уже при сообщеніи своей программы, косвенно задѣваютъ *Карамзина*, обѣщая, что ихъ сужденія не будутъ *деспотическія*, и охуждая его обычай не подписывать имени подъ своими статьями. Въ преобразованномъ журналѣ сатирическое направленіе *Крылова* видимо слабѣетъ. Есть поводъ думать, что это было слѣдствіемъ ропота, который сатира „Зрителя“ возбуждала въ нѣкоторыхъ читателяхъ, обвинявшихъ ее въ личностяхъ: въ этомъ журналѣ вся *Рѣчь повѣсы въ собраніи дураковъ* посвящена отраженію такихъ нареканій. Между прочимъ, ораторъ говоритъ отъ имени подобныхъ ему, т.-е. повѣсъ: „Будто раз-

сказывать дурачества разныхъ особъ не есть то же, что выставлять ихъ лица на осмѣяніе? Такъ, государи мои, не выставлены наши имена, но дѣла наши обнаружены". Въ „С.-Петербургскомъ Меркуріи" напечатаны только двѣ сатирическія статьи *Крылова*, обѣ въ формѣ *похвальныхъ рѣчей:* одна посвящена *наукѣ убивать время;* другая осмѣиваетъ уже не сословные пороки, а новое направленіе въ современной литературѣ. Этой послѣдней статьѣ дано заглавіе: „Похвальная рѣчь Ермалафиду, говоренная въ собраніи молодыхъ писателей". Подъ *Ермалафидомъ,* т.-е. человѣкомъ, который несетъ ермалафію, или чепуху, очевидно, подразумѣвается преимущественно *Карамзинъ*. Онъ иронически ставится тутъ въ образецъ начинающимъ авторамъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ затронута вся его первоначальная литературная дѣятельность: переводы изъ Шекспира и Лессинга, изданіе журнала „Письма русскаго путешественника", литературная критика, стихотворенія въ новомъ вкусѣ, наконецъ, самый слогъ его и нѣкоторые отдѣльные взгляды. Непріязненное отношеніе Крылова къ Карамзину нисколько не удивительно. Если мы перенесемся въ ту эпоху и безпристрастно взглянемъ на разнородную личность обоихъ, на несходныя обстоятельства, въ которыхъ тотъ и другой развивались, то для насъ станетъ совершенно ясно, почему они не понимали другъ друга. Крыловъ, какъ талантъ своеобразный, рано усвоившій себѣ народный языкъ вмѣстѣ съ глубокимъ знаніемъ народнаго быта, не могъ сочувствовать особенностямъ другого, хотя и замѣчательнаго, но воспитавшагося на почвѣ иностранныхъ литературъ писателя. Какой-то тверской старожилъ, въ дѣтствѣ учившійся вмѣстѣ съ нашимъ баснописцемъ, разсказывалъ, что Крыловъ уже въ первой молодости любилъ толкаться посреди чернаго народа, на торговыхъ площадяхъ, около качелей и кулачныхъ боевъ, жадно прислушиваясь къ говору простолюдиновъ. Нерѣдко, живя въ Твери, сиживалъ онъ по цѣлымъ часамъ на берегу Волги и потомъ передавалъ своимъ сослуживцамъ забавные анекдоты и поговорки, которые уловилъ въ рѣчахъ словоохотныхъ прачекъ, сходившихся на рѣку съ разныхъ концовъ города. Этимъ объясняется, отчего Крыловъ, рано прочитавъ въ подлинникѣ многихъ французскихъ авторовъ, остался, однакожъ, оригиналенъ не только въ идеяхъ, но и въ языкѣ: онъ развѣ только для шутки употребитъ иногда иностранное слово. Проза перваго періода его авторства не такъ гладка и плавна, какъ многіе думаютъ, судя по неточному тексту послѣдняго изданія его сочиненій, но его языкъ всегда чистъ въ составѣ своемъ, самобытенъ и народенъ въ выраженіяхъ и оборотахъ. Письма „Почты Духовъ" писаны въ томъ же году, какъ и „Письма русскаго путешественника". Въ отношеніи къ строю и изяществу рѣчи, между тѣми и другими большая разница. Каждый изъ обоихъ писателей имѣлъ свою особую исходную точку; ихъ трудно сравнивать: и кругъ идей, и цѣль, и тонъ у обоихъ свои. Слогъ Карамзина, вмѣстѣ съ его настроеніемъ, пришелся болѣе по вкусу современниковъ и надолго одержалъ побѣду. Но тотъ эле-

ментъ, который составлялъ отличіе слога Крылова, — элементъ *народности,* взялъ свое и былъ оцѣненъ впослѣдствіи самимъ его счастливымъ соперникомъ. Крыловъ же, съ своей стороны, никогда не перенялъ ни щегольского блеска карамзинской прозы ни музыкальной легкости поэзіи Жуковскаго: онъ въ позднѣйшее время только откинулъ нѣкоторые устарѣлые слова и пріемы рѣчи, но навсегда удержалъ въ своихъ стихахъ, по мѣткому выраженію его біографа, что-то *увъсистое,* свойственное и его наружности. Замѣтимъ, что до сихъ поръ языкъ басенъ Крылова, даже и самыхъ давнихъ, почти нисколько не устарѣлъ.

Въ „Похвальной рѣчи Ермалафиду“ Крыловъ въ послѣдній разъ явился на полемической аренѣ. Отказавшись на время отъ роли сатирика, онъ преобразился въ поэта. Въ „С.-Петербургскомъ Меркуріи“ находимъ довольно много стихотвореній его. Увлекаемый потокомъ времени, онъ не вполнѣ обошелъ и тѣ роды стихотворства, надъ которыми самъ прежде подшучивалъ. Довольно странно читать, подписанную его именемъ, небольшую оду въ ломоносовскомъ вкусѣ; *На фейерверкъ,* по случаю ясскаго мира. Но гораздо лучше удалась ему шуточная ода *Къ счастію,* въ державинскомъ родѣ. Оба издателя „Меркурія“, выступивъ на поприще стихотворства, явно пошли по слѣдамъ тогдашняго корифея русскихъ поэтовъ, и каждый взялъ себѣ въ удѣлъ особую сторону таланта Державина: Клушинъ довольно ловко усвоилъ себѣ его стиль въ живописи природы; Крыловъ съ большимъ успѣхомъ воспроизводилъ игриво сатирическій элементъ державинской оды. Такъ свое обращеніе *Къ счастью* онъ начинаетъ стихами:

Богиня рѣзвая, слѣпая,
Худыхъ и добрыхъ дѣлъ предметъ,
Въ которую влюбленъ весь свѣтъ,
Подчасъ некстати слишкомъ злая,
Подчасъ роскошна невпопадъ,
Скажи, фортуна дорогая,
За что у насъ съ тобой неладъ?
За что ко мнѣ ты такъ сурова?
Ни въ путь со мной не молвишь слова,
Ни улыбнешься на меня?

Когда впослѣдствіи Крыловъ служилъ при Публичной библіотекѣ, ему вздумалось однажды просмотрѣть свои прежнія сочиненія. Его сослуживецъ Быстровъ принесъ ему журналы: „Почту Духовъ“, „Зритель“ и „Меркурій“ и, заведя рѣчь объ одѣ „Къ счастью“, спросилъ его: „Иванъ Андреевичъ! за что это вы пеняете на фортуну, когда она такъ милостива къ вамъ?“ — „Ахъ, мой милый, — отвѣчалъ онъ: — со мною былъ случай, о которомъ теперь смѣшно говорить, но тогда... я скорбѣлъ и не разъ плакалъ, какъ дитя... Журналу не повезло...“ Въ лирическихъ, довольно многочисленныхъ пьесахъ Крылова, сдѣлавшихся извѣстными послѣ его кончины, есть счастливыя мѣста. Между прочимъ, онъ навсегда возвышается при сравненіи сельскаго быта съ городскимъ, при мысли о страданіяхъ народа подъ гнетомъ помѣщичьей власти, противъ злоупотребленій которой

онъ сильно вооружался уже и въ сатирѣ своей. Въ пьесѣ *Уединеніе*, напр., онъ говоритъ о жизни въ городахъ:

Тамъ роскошь, золотомъ блестя,
Зоветъ гостей въ свои палаты
И ставитъ имъ столы богаты,
Изнѣженнымъ ихъ вкусамъ льстя;
Но въ хрусталяхъ своихъ безцѣнныхъ
Она не вина раздаетъ:
Въ нихъ пѣнится кровавый потъ
Народовъ, ею разоренныхъ.

Эти стихи написаны, вѣроятно, уже черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ изданія „Меркурія“, именно въ деревнѣ у князя Голицына, такъ, какъ и разныя другія стихотворенія Крылова, въ которыхъ рѣчь идетъ о сельской жизни.

Журналъ „Меркурій“ опять просуществовалъ только одинъ годъ, имѣвъ немного болѣе 150 подписчиковъ. Оба издателя собирались ѣхать въ чужіе края, какъ видно изъ ихъ обращенія къ публикѣ; послѣдній не успѣлъ, однакожъ, осуществить своего плана и никогда не выѣзжалъ изъ отечества. Вмѣсто того, ему удалось, какъ было сказано, побывать на югѣ Россіи, именно, въ Саратовской и въ Кіевской губерніяхъ. Въ Зубриловкѣ, прекрасномъ имѣніи на Хопрѣ, еще живы воспоминанія о нашемъ поэтѣ. Въ украинскомъ селѣ Казацкомъ написалъ онъ свою шуточную трагедію-карикатуру *Трумфъ;* ее нѣсколько разъ играли тамъ, и самъ авторъ исполнялъ при этомъ роль главнаго героя. О пребываніи Крылова въ Казацкомъ разсказываетъ Вигель, который, будучи тогда мальчикомъ, находился тамъ же по семейной связи своихъ родителей съ Голицыными и учился вмѣстѣ съ дѣтьми князя.

Отдавая полную справедливость таланту Крылова, Вигель рисуетъ, однакожъ, личность его довольно темными красками: именно, онъ представляетъ его человѣкомъ холоднымъ, себялюбивымъ, равнодушнымъ ко всякому высшему интересу и угодливымъ изъ расчета. Къ этому отзыву одного сатирика о другомъ мы еще возвратимся и посмотримъ, насколько онъ заслуживаетъ довѣрія. Теперь же отмѣтимъ только замѣчательный отзывъ Вигеля о баснописцѣ, какъ педагогѣ. По словамъ Вигеля, Крыловъ, вызвавшись преподавать русскій языкъ сыновьямъ кн. Голицына, „и въ этомъ дѣлѣ показалъ себя мастеромъ. Уроки проходили почти всѣ въ разговорахъ; онъ умѣлъ возбуждать любопытство, любилъ вопросы и отвѣчалъ на нихъ такъ же толковито, такъ же ясно, какъ писалъ свои басни. Онъ не довольствовался однимъ русскимъ языкомъ, а къ наставленіямъ своимъ примѣшивалъ много нравственныхъ поученій и объясненій разныхъ предметовъ изъ другихъ наукъ“. Домъ кн. Голицына отличался не только высшимъ свѣтскимъ образованіемъ, но и любовью къ литературѣ. Княгиня, племянница Потемкина, сама занималась переводами и воспѣта Державинымъ, который, бывши тамбовскимъ губернаторомъ, также находилъ дружескій пріемъ въ селѣ Зубриловкѣ. Нѣсколько лѣтъ пребыванія въ такомъ домѣ не могли остаться безъ вліянія на умнаго и даровитаго Крылова. Это обнаружилось вскорѣ послѣ оставленія имъ семейства Голицыныхъ.

Съ самаго появленія своего на журнальномъ поприщѣ онъ пользовался извѣстностью; нѣкоторыя драматическія сочиненія его, написанныя въ концѣ прошлаго столѣтія, нашли мѣсто въ изданномъ Академіею Наукъ *Россійскомъ Театрѣ*; въ 1802 г. явилось въ Петербургѣ, хотя безъ имени его, 2-е изданіе *Почты Духовъ*. Но слава его была еще впереди. По замѣчательному жребію, она должна была возникнуть въ самомъ средоточіи русской народной жизни, въ Москвѣ, гдѣ Крыловъ провелъ нѣсколько времени въ концѣ 1805 г. Какое-то счастливое вдохновеніе побудило его, на 38-мъ году отъ рожденія, написать въ подражаніе Лафонтену три басни: *Дубъ и Трость, Разборчивая Невѣста, Старикъ и трое молодыхъ*. Въ Москвѣ онъ показываетъ свой опытъ знаменитѣйшему въ то время русскому баснописцу. Дмитріевъ съ поразительною проницательностью тотчасъ убѣждается, что это истинный родъ Крылова, и, не боясь приготовить себѣ соперника, поощряетъ его продолжать въ этомъ родѣ; полученныя же басни отдаетъ въ журналъ кн. Шаликова „Московскій Зритель“: литературное призваніе Крылова, наконецъ, найдено и разомъ опредѣлено навсегда. Можно сказать, что онъ, самъ того не зная, съ дѣтства готовился къ этому поприщу. Въ остальныя тридцать лѣтъ своей жизни онъ почти уже и не уклонялся въ сторону отъ избранной имъ литературной дѣятельности. Только въ 1807 г. явились двѣ его новыя комедіи противъ ослѣпленія въ пользу всего французскаго, „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“, можетъ быть, вызванныя тогдашнимъ патріотическимъ настроеніемъ русскаго общества въ виду борьбы съ Наполеономъ. Но, несмотря на блестящій успѣхъ этихъ двухъ пьесъ на петербургскомъ театрѣ, Крыловъ понялъ, что не драма — его призваніе, и почти не возвращался уже къ этому роду, въ которомъ не произвелъ ничего истинно-замѣчательнаго. Первое небольшое собраніе его басенъ (23-хъ), вышло въ 1809 г. Съ тѣхъ поръ количество ихъ быстро умножалось; изданія слѣдовали одно за другимъ, каждое съ прибавленіемъ новаго отдѣла; послѣднее, сдѣланное при жизни его, было напечатано въ 1843 г. и состояло изъ 9 такихъ отдѣловъ, или книгъ, которыя всѣ вмѣстѣ содержали около 200 басенъ. Съ 1819 г. изданія расходились въ нѣсколькихъ тысячахъ экземпляровъ, которымъ книгопродавцы, противъ обыкновенія, вели счетъ: число экземпляровъ всѣхъ изданій басенъ Крылова дошло при жизни его до 77 тыс. Многія новыя басни его, еще до ихъ напечатанія, читались имъ самимъ въ частныхъ собраніяхъ, при дворѣ или въ литературныхъ обществахъ. Уже въ 1811 г. онъ былъ избранъ въ члены Россійской Академіи, по преобразованіи которой сдѣлался и членомъ Академіи Наукъ; въ 1813 г. вступилъ въ учрежденную незадолго передъ тѣмъ въ домѣ Державина „Бесѣду любителей русскаго слова“, и тамъ не разъ читалъ вновь написанныя имъ произведенія. Тогдашніе журналы наперерывъ старались украшать свои страницы его баснями. Почти каждая изъ нихъ, при появленіи своемъ, возбуждала вниманіе публики и дѣлалась предметомъ общихъ толковъ. Еще въ 1812 г.

императоръ Александръ Павловичъ пожаловалъ Крылову пенсію въ 1500 руб. асс., которая, при отставкѣ его, по ходатайству Оленина, была возвышена до 5400 руб. сер. *Гротъ.*

Общій обзоръ драматической дѣятельности Крылова.

Въ 1782 г. Крыловъ прибылъ въ Петербургъ, и черезъ два года появляется его первый извѣстный намъ литературный трудъ — комическая опера „Кофейница“. Переселеніе въ столицу было для Крылова событіемъ первой важности. Здѣсь онъ столкнулся съ новыми людьми, которые дали ему новый запасъ впечатлѣній, здѣсь онъ подпалъ подъ вліяніе театра, которому и посвятилъ первые свои опыты.

„Годы прибытія Крылова въ С.-Петербургъ замѣчательны по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, касавшимся драматическаго искусства въ Россіи, предмета, на который тогда была устремлена вся умственная дѣятельность будущаго великаго нашего баснописца“, говоритъ біографъ И. А. Крылова[1]). „Правда, что первый указъ объ учрежденіи въ С.-Петербургѣ русскаго театра послѣдовалъ еще въ 1756 г.; но это было учрежденіе, которымъ, не внося платы за посѣщеніе его, преимущественно пользовались придворные и чиновные люди. Но только съ 1782 г., начались приготовленія къ устройству общенароднаго русскаго театра, который былъ открытъ въ слѣдующемъ за тѣмъ году“. Такимъ образомъ, Крыловъ прибылъ сюда въ эпоху перваго любопытнѣйшаго движенія на нашей сценѣ.

Несомнѣнно, на воспріимчиваго и талантливаго юношу театръ произвелъ сильное впечатлѣніе. Крыловъ попытался написать самъ пьесу для театра и подъ его перомъ создалась комическая опера въ 3 дѣйствіяхъ — „Кофейница“.

Шестнадцатилѣтній авторъ (пьеса была написана въ 1784 г.) передалъ свою пьесу для изданія типографщику Брейткопфу, любителю и знатоку музыки и театра; за нее Крылову было предложено 60 рублей, но вмѣсто денегъ онъ предпочелъ взять плату книгами. По свидѣтельству М. Е. Лобанова, друга и біографа Крылова, послѣдній взялъ сочиненія Расина, Мольера и Буало, которыя впослѣдствіи оказали на него свое вліяніе и, къ тому же, далеко не благотворное.

Въ „Кофейницѣ“ все „еще слабо и незрѣло, но видимо умѣніе составлять и располагать пьесу“, пишетъ о „Кофейницѣ“ біографъ или скорѣе панегиристъ Крылова, его другъ Лобановъ[2]). Другой критикъ и біографъ Крылова даетъ болѣе полную, хотя тоже довольно общую характеристику этой пьесы: „Въ комической оперѣ „Кофей-

---

[1]) *П. А. Плетневъ.* Жизнь и сочиненія Крылова. — Полное собраніе сочиненій, т. 2-й, стран. 41.

[2]) *М. Е. Лобановъ*, Жизнь и сочиненія И. А. Крылова. С.-Пб. 1847 г., стран. 8.

ница“ довольно просто, безъ слащавыхъ прикрасъ и карикатурнаго преувеличенія изображенъ провинціальный бытъ, среди котораго Крыловъ провелъ свое дѣтство и отрочество“ [1]). Въ первомъ своемъ опытѣ Крыловъ проявилъ дѣйствительно рѣдкую наблюдательность и трезвость мысли, которыя выработались подъ вліяніемъ постоянной нужды и службы, начатой въ тѣ годы, когда слѣдовало бы еще сидѣть на школьной скамьѣ. Въ „Кофейницѣ“ мы имѣемъ дѣло съ живыми лицами, съ людьми, прямо выхваченными изъ современной автору дѣйствительности. Плутоватый приказчикъ, щеголиха барыня, ворожея — все лица, не сочиненныя по рецепту царившей тогда у насъ теоріи Буало, а снимки съ дѣйствительности, снимки, правда, грубые, но въ существенныхъ чертахъ точные. Мѣтко схвачены Крыловымъ и бытовыя черты, напримѣръ, сказыванье по очереди сказокъ барынѣ, не могущей сразу заснуть. Сказыванье сказокъ на ночь дворовыми людьми или спеціалистами сказочниками было обычно въ помѣщичьей провинціальной средѣ прошлаго вѣка. Объ этомъ мы имѣемъ не мало свидѣтельствъ современниковъ. Сочувствіе къ народной поэзіи и старинѣ далеко не угасало въ привиллегированномъ сословіи XVIII в. Извѣстный Митрофанушка въ „Недорослѣ“ Фонвизина „еще сызмала былъ къ исторіямъ охотникъ“ и заставлялъ себѣ разсказывать исторіи скотницу Хавронью; Скотининъ „безъ того глазъ не сводилъ, чтобы *выборный* не разсказывалъ ему исторій“. Самъ авторъ „Недоросля“ слушалъ въ дѣтствѣ сказки, которыя сказывалъ пріѣзжавшій изъ Дмитріевской деревни Фонвизиныхъ мужикъ Ѳедоръ Суратовъ [2]). Извѣстный историкъ прошлаго вѣка Татищевъ († 1750 г.) слушалъ былины о пирахъ Владимира и уцѣлѣвшій въ его памяти отрывокъ о дворѣ Путятинѣ внесъ въ примѣчанія къ Іоакимовской лѣтописи [3]). Извѣстный Прокофій Акинфіевичъ Демидовъ былъ также большимъ любителемъ народныхъ сказаній, и для него въ Сибири былъ составленъ извѣстный сборникъ Кирши Данилова, что видно изъ письма Демидова къ исторіографу Г. Ф. Миллеру, напечатанному проф. Шевыревымъ [4]).

Знакомство съ народнымъ бытомъ и языкомъ и отсутствіе „ученаго“ предупрежденія противъ употребленія послѣдняго въ литературныхъ пьесахъ отразились въ языкѣ перваго драматическаго опыта Крылова. Всѣ лица этой пьесы, какъ крестьяне, такъ и городскіе жители, говорятъ естественнымъ народнымъ языкомъ, безъ примѣси литературной напыщенности съ одной стороны, а съ другой — безъ неудачныхъ потугъ изобразить народную рѣчь съ помощью коверканья языка, каковой пріемъ былъ очень обыченъ у тогдашнихъ драматурговъ, даже у такого талантливаго реалиста, какъ Матинскій. Наконецъ, подводя итоги всего сказаннаго о „Кофейницѣ“, довольно при-

[1]) *Майковъ.*

[2]) *Акад. Н. С. Тихонравовъ* и *проф. В. Ѳ. Миллеръ.* Русскія былины старой и новой записи. М. 1894 г., стран. 77.

[3]) *В. Н. Татищевъ.* Россійская исторія, ч. I, кн. I, стран 50.

[4]) Москвитянинъ, 1854 г., № 1 и 2, отд. IV, стран. 9.

знать, что эта пьеса „нисколько не хуже большинства современныхъ ей комическихъ оперъ; по крайней мѣрѣ, она не поражаетъ ни неестественностью вымысла ни слишкомъ ложнымъ отношеніемъ къ дѣйствительной жизни. Какъ ни велики ея художественные недостатки, въ ней чувствуется та наивность, та свѣжесть созданія, которая всегда отличаетъ раннія, съ любовью отдѣланныя произведенія пробуждающихся сильныхъ дарованій“ [1]).

„Кофейница“ не была поставлена на сцену: Брейткопфъ не воспользовался пріобрѣтенной пьесой и черезъ тридцать лѣтъ, встрѣтившись съ Крыловымъ, уже бывшимъ на службѣ въ Публичной Библіотекѣ, отдалъ ему обратно рукопись „Кофейницы“.

Получивъ книги отъ Брейткопфа, заинтересовавшагося любознательнымъ юношей, Крыловъ обратилъ главное вниманіе не на Мольера, а на Расина и Буало: его идеаломъ было создать трагедію, это высшее по формѣ произведеніе драматической поэзіи, какъ учила псевдо-классическая теорія. Буало далъ Крылову теорію, Расинъ — образцы, и вотъ молодой писатель приступаетъ къ созданію своей первой трагедіи, не дошедшей до насъ. Сюжетомъ ея онъ избралъ судьбу Клеопатры и, когда пьеса была готова, отнесъ ее къ тогдашнему оракулу и судьбѣ драматическихъ произведеній — къ знаменитому Дмитревскому.

Этотъ старый артистъ считался въ свое время лучшимъ судьей, когда дѣло касалось достоинствъ и недостатковъ новой пьесы и начинающихъ артистовъ. Несмотря на увѣренія извѣстнаго театрала, С. П. Жихарева, будто Дмитревскій не давалъ никакого понятія артистамъ объ изучаемыхъ ими роляхъ и нисколько не подавалъ имъ помощи совѣтомъ и указаніями, П. Араповъ, извѣстный авторъ „Лѣтописи русскаго театра“, утверждаетъ, что Дмитревскій не только „имѣлъ даръ наставленіями своими усовершенствовать талантъ всякаго начинающаго артиста“, но даже „руководилъ и самыхъ авторовъ: Державинъ постоянно совѣщался съ нимъ на счетъ своихъ драматическихъ сочиненій, а Фонвизинъ исправилъ, по его замѣчаніямъ, многія сцены въ „Недорослѣ“. Даже самый его начальникъ, самолюбивый Сумароковъ, и тотъ принималъ со вниманіемъ совѣты Дмитревскаго“ [2]). Несомнѣнно, Дмитревскій, какъ опытный актеръ, могъ съ большой пользой подать совѣтъ относительно расположенія пьесы и указать ея сценическія недостатки. Къ этому-то оракулу и судьѣ отнесъ Крыловъ свою первую серіозную пьесу.

Мы не знаемъ, что происходило во время чтенія, какъ отнесся къ пьесѣ Дмитревскій, который вообще былъ чрезвычайно любезенъ и старался не огорчать начинающихъ писателей строгими приговорами,—знаемъ только одно, что Дмитревскій добродушно выслушалъ трагедію, съ обычной уклончивостью отозвался объ ея достоинствахъ, „поощрялъ автора къ новымъ трудамъ и, наконецъ, съ кротостью далъ почувствовать, что трагедія въ такомъ видѣ не можетъ быть

[1]) *Майковъ*, стран. 10.
[2]) *П. Араповъ*. Лѣтопись русскаго театра. Спб. 1861 г., стран. 122.

представлена на театрѣ, что нужно ее совершенно пересоздать и передѣлать". Кажется, эта неудача должна была бы нѣсколько научить Крылова и открыть ему глаза на несовершенства его драмы, но онъ обратилъ, повидимому, большее вниманіе на похвалы стараго артиста, вынужденныя требованіями приличія, чѣмъ на скрытыя подъ ними порицанія. Онъ не бросилъ надежды создать трагедію, и въ 1786 г. написалъ „Филомелу", трагедію въ пяти дѣйствіяхъ, нѣсколько позже, въ 1793 г., напечатанную въ „Россійскомъ Ѳеатрѣ", сборникѣ пьесъ съ 1786—1795 г., куда вошли всѣ русскія драматическія произведенія, появившіяся на свѣтъ въ это время. По догадкѣ Плетнева, и этотъ второй опытъ Крылова въ трагическомъ родѣ былъ осужденъ Дмитревскимъ на забвеніе. Однако, знакомство съ знаменитымъ артистомъ, а также съ трагедіями современной ему литературной знаменитости, Я. Б. Княжнина, оказало свое вліяніе на Крылова. Въ „Филомелѣ" мы видимъ трагедію, составленную по всѣмъ правиламъ классической теоріи, написанную напыщенными александрійскими стихами, съ соблюденіемъ всѣхъ трехъ пресловутыхъ *единствъ*. Напрасно стали бы мы искать въ ней правдивости и искренности, которыми отличается его первая комедія. Даже Лобановъ, болѣе всѣхъ критиковъ восхищенный Крыловымъ,—и тотъ безапелляціонно заявляетъ, что, по его мнѣнію, въ „Филомелѣ" „ничего путнаго нѣтъ". Видно, что Крыловъ „ничего еще не читалъ, кромѣ Сумарокова и Княжнина,—все отзывается ими. Не рожденный первенствовать въ этомъ родѣ поэзіи, онъ ничего не обнаружилъ собственнаго, а только, увлеченный ихъ тогдашней извѣстностью, былъ ихъ отголоскомъ". И только нѣсколько далѣе Лобановъ, какъ бы изъ приличія, оговаривается, что, несмотря на недостатки трагедіи, въ ней „много движенія и пылу". *Перетцъ.*

Его первый драматическій опытъ—опера и двѣ трагедіи—слабы. Написанныя спустя почти десять лѣтъ послѣ смерти Сумарокова, онѣ слабѣе трагедій послѣдняго и по содержанію и по языку, не имѣютъ не только общаго литературнаго значенія, но и въ свое время не обратили на себя вниманія и не поступили на сцену. Въ послѣдней трагедіи „Филомелѣ", помѣщаемой обыкновенно въ полномъ собраніи сочиненій Крылова, почти нѣтъ дѣйствій. „Открылось все", восклицаетъ Линсей въ началѣ второго акта, узнавъ о преступной любви фракійскаго царя Терея къ своей свояченицѣ и его невѣстѣ, Филомелѣ—и этимъ оканчивается дѣйствіе. Все остальное, четыре пятыхъ трагедіи, наполнено плачемъ и стономъ, выраженіемъ дикой ярости, мщенія и отчаянія, не имѣющими ни малѣйшаго значенія для общаго развитія интриги. Вы даже не видите, какъ относится этотъ бурный потокъ фразъ къ гибели главнаго героя трагедіи. А между тѣмъ вамъ остается неизвѣстнымъ, какъ удалось Линсею открыть мѣсто заточенія Филомелы, какъ удалось Терею похитить ее, какимъ образомъ Терей отсѣ-

ченіемъ языка Филомелы могъ „злодѣйствія свои сокрыть навѣкъ“, когда они были уже всѣмъ извѣстны, и т. д. Самый выборъ сюжета доказываетъ, что трагическій элементъ представляется неопытному воображенію Крылова только своей внѣшней стороной: чѣмъ неестественнѣе преступленіе, чѣмъ болѣе ужаса и кровопролитія, тѣмъ лучше; ему нужна была и любовь неестественная и мщеніе неестественное. Не забудемъ однако, что эту трагедію писалъ 19-лѣтній юноша-самоучка, безъ правильнаго образованія, безъ руководства, предоставленный исключительно самому себѣ. Это первый неудавшійся драматическій опытъ Крылова важенъ былъ для него, какъ первоначальная школа, чрезъ которую онъ долженъ былъ пройти, пріучаясь къ обработкѣ въ извѣстной формѣ избраннаго содержанія, а еще больше— къ обработкѣ языка и стиха; потому же важенъ онъ и для изучающихъ его литературную дѣятельность и желающихъ понять ее въ историческомъ ея развитіи.

На комедіяхъ Крылова вполнѣ подтверждается та истина, что чужіе недостатки легче замѣчаются, чѣмъ свои собственные, что надъ чужими недостатками легче наблюдать и осуждать ихъ, чѣмъ избѣгать своихъ. Въ два года (1793 и 1794 гг.) онъ поставилъ на сцену три пьесы: комическую оперу *Бѣшеная семья* и двѣ комедіи: *Проказники* и *Сочинитель въ прихожей* — и всѣ эти пьесы отличаются больше недостатками, чѣмъ достоинствами. Все содержаніе первой — верхъ неестественности. Четыре женщины: бабка, мать, сестра и дочь Сумбура ни съ того ни съ сего влюбляются въ одного офицера, производятъ въ домѣ содомъ, разоряются на наряды, и Сумбуръ только потому, чтобы „посѣщеніе офицера не обуло его въ годъ въ лапти“, женитъ онъ его на своей сестрѣ, въ которую онъ былъ влюбленъ. Во второй совершенно случайное и ничѣмъ не мотивированное сплетеніе обстоятельствъ. Иногда для одной остроты, безъ нужды для главнаго дѣйствія, вводятся цѣлыя явленія. Дѣйствующія лица всѣ такъ глупы, что всѣ хитрости служанки оказываются совершенно излишними. Рядъ искусственно составленныхъ сценъ въ саду заключаетъ въ себѣ рядъ неестественностей: мужъ и жена, разговаривая долго, не узнаютъ другъ друга; поэтъ является на поединокъ съ пришпиленными къ ногамъ и рукамъ эпитафіями, а докторъ съ головой, облѣпленной пластырями и т. д. Затѣмъ остается достоинство языка и нѣсколько дѣйствительно комическихъ сценъ, хотя тоже слишкомъ сильно заряженныхъ. Наконецъ, послѣдняя пьеса, отличающаяся тѣми же недостатками, заключаетъ въ себѣ переложеніе въ драматическую форму того сатирическаго мотива, который усердно развитъ Крыловымъ въ его журнальныхъ статьяхъ, — изображеніе дамы моднаго свѣта, которая ведетъ даже записную книгу для отмѣтки въ ней часовъ прихода ея многочисленныхъ любовниковъ и для которой проматывается представитель съ мужской половины той же стороны моднаго свѣта. Замѣчательно, что къ этой комедіи можно отнести тотъ же упрекъ, какой Крыловъ высказалъ комедіи: „Смѣхъ и горе“: какъ

тамъ дѣйствующія лица, опредѣленныя уже самимъ заглавіемъ для главнаго дѣйствія, являются въ комедіи только эпизодически, такъ и Сочинитель въ прихожей имѣетъ только внѣшнее и случайное отношеніе къ главному дѣйствію. Вообще этотъ второй драматическій опытъ носитъ на себѣ всѣ признаки неопытности въ дѣлѣ, недостаточности изученія старыхъ образцовъ въ томъ же родѣ: послѣ комедій Фонвизина естественно было бы ожидать, что такое сильное дарованіе, уже искусившееся на литературномъ поприщѣ, по крайней мѣрѣ, поднимется на высоту этихъ, безъ сомнѣнія, извѣстныхъ ему старыхъ образцовъ.

Но Крыловъ одаренъ былъ упорною волею, что̀ подтверждается многими разсказами изъ его жизни. Есть великій интересъ въ изученіи великаго человѣка, пробивающаго себѣ дорогу къ своему призванію собственнымъ трудомъ, собственными усиліями. Въ ранней молодости онъ почувствовалъ въ себѣ потребность къ производительной дѣятельности въ литературѣ. Намъ извѣстны тѣ образцы и вообще та комбинація условій, которые опредѣлили его наклонность именно къ драматической поэзіи. 16 лѣтъ онъ пишетъ оперу, за тѣмъ одну и другую трагедію. Слава драматическаго писателя приковала его къ себѣ надолго, она преслѣдуетъ его во всю первую половину его жизни. Первый опытъ, кромѣ обработки языка и стиха и упражненія въ развитіи темы для данной цѣли, принесъ ему отрицательную пользу: онъ убѣдилъ его окончательно, что трагедія не его дѣло — и онъ оставилъ ее навсегда. Но Крыловъ 1794 г., предпринявшій опытъ въ комедіи, былъ далеко не тѣмъ, чѣмъ онъ былъ шесть лѣтъ тому назадъ, когда написалъ послѣднюю свою трагедію: сильное дарованіе растетъ быстро въ непрерывномъ упражненіи. Въ эти шесть лѣтъ, благодаря непрерывности въ его дѣятельности, мы можемъ слѣдить за его развитіемъ шагъ за шагомъ. Въ эти шесть лѣтъ, совершенствуясь съ каждымъ годомъ, онъ успѣлъ добиться извѣстности и привлечь къ себѣ общественное вниманіе, какъ лучшій сатирическій писатель своего времени, и если тогда направленіе его дарованія, его литературное призваніе представлялось ему весьма смутно, то теперь онъ не могъ не распознать его. Комедія та же сатира, только въ другой формѣ, — и онъ смѣло обратился къ ней. Первая неудача здѣсь не могла отбить въ немъ охоты продолжать опытъ въ томъ же родѣ; причину этой неудачи онъ могъ видѣть въ недостаткѣ приготовленія себя, въ недостаткѣ упражненія въ новой для него дѣятельности. Онъ чувствовалъ уже въ себѣ силу добиться славы драматическаго писателя, манившей его къ себѣ еще въ дѣтствѣ. И онъ добился этой славы, хотя и сорока лѣтъ. Его послѣднія и лучшія комедіи, обдуманныя, безъ сомнѣнія, въ тишинѣ деревенской жизни, имѣли рѣшительный и блистательный успѣхъ на сценѣ. „Во время частыхъ представленій, говоритъ Вигель, театръ былъ всегда полонъ, и наполнявшіе его отъ души хохотали“ [1]).

[1]) „Русскій Вѣстникъ“ 1864. 8. 457.

По содержанію, обѣ комедіи не заключаютъ въ себѣ ничего новаго. Въ нихъ онъ возвращается къ своему любимому историческому мотиву, къ обличенію французскаго воспитанія, растлѣвающаго русскіе нравы. Тогдашнія политическія обстоятельства могли послужить возбужденіемъ къ возобновленію стараго мотива въ той формѣ, которая съ наибольшею силою дѣйствуетъ на общество. *Модная лавка* давно уже не давала покоя Крылову, и онъ, какъ извѣстно, возвращался къ ней весьма часто (сравн. I, 56, 166, 261, 269). „Наши лавки могутъ назваться храмами вкуса и любви: ибо въ нихъ покупаютъ у насъ модные товары и дѣлаются тайныя свиданія волокитъ и молодыхъ дѣвушекъ, изъ которыхъ иныя очень строго содержатся дома, и для того, подъ видомъ закупки уборовъ, пріѣзжаютъ онѣ къ намъ, и мы часто вводимъ ихъ къ себѣ въ комнаты, гдѣ онѣ находятъ своихъ любовниковъ, которые имъ болѣе всѣхъ уборовъ нравятся“. Именно такова была та модная лавка, въ которой сосредоточивается все дѣйствіе комедіи. Сюда собираются: и Сумбурова съ дочкой, засватанной за помѣщика Недосчетова, и влюбленный въ Лизу и взаимно любимый Лестовъ, и, наконецъ, самъ Сумбуровъ, которому приглянулась хорошенькая модистка Маша. Характеры очерчены слишкомъ яркими и густыми красками, отъ чего въ нихъ мало индивидуальности и дѣйствительной правды. Сумбуровъ — старикъ, „привязанный къ дѣдовскимъ русскимъ обычаямъ, тогда только и счастливъ, когда побранитъ или моды или иностранцевъ“; жена его — „степная щеголиха, лѣтъ 35 сидящая на 30-мъ году, своенравная, злая, скупая, коварная, бѣшеная“; Недосчетовъ „побывавшій въ Лондонѣ и Парижѣ и заѣзжавшій въ Европу“ — безтолковый экономъ на иностранный манеръ, который никакъ не сладитъ съ русскимъ календаремъ; Лестовъ и Лиза, представители законной страсти, — лица безцвѣтныя, какъ и слѣдуетъ по правиламъ тогдашней комедіи. Такія рѣзкія очертанія, такая яркость красокъ, конечно, не мало ослабляли нравственное вліяніе пьесы и не могли не вредить продолжительности ея успѣха. Въ этой комедіи, какъ и въ слѣдующей, Крыловъ не вполнѣ освободился и отъ главнаго недостатка прежнихъ своихъ комедій — отъ внѣшняго, случайнаго и неорганическаго развитія дѣйствія. Самое скопленіе въ модной лавкѣ разнообразныхъ, внезапныхъ и искусственно сопоставленныхъ столкновеній невольно возбуждаетъ недоумѣніе. Сцена найма Маши Сумбуровымъ въ деревню, повидимому, для того только и вставлена, чтобъ одолѣть въ сущности неодолимое затрудненіе — заставить его согласиться нарядить дочь изъ французской лавки, а случайно появившійся Трише, оказавшійся вдругъ прежнимъ камердинеромъ Лестова, понадобился для того, чтобы отдѣлаться отъ Недосчетова; эти двѣ случайности могли бы, по крайней мѣрѣ, освободить комедію отъ вмѣшательства полицейскихъ чиновниковъ. — *Урокъ дочкамъ* направленъ противъ слѣпого и смѣшного пристрастія къ французскому языку, которымъ заражены дочери помѣщика Велькарова и отъ котораго авторъ придумалъ излѣчить ихъ посредствомъ превращенія рус-

скаго лакея во французскаго маркиза. Эта комедія, по большей естественности характеровъ, большей простотѣ дѣйствія и органичности его развитія, выше первой, а потому и недостатки ея не такъ рѣзко бросаются въ глаза. Страсть къ французскому языку, очевидно, преувеличена, а потому тѣ, на которыхъ мѣтилъ авторъ, могли не такъ ясно разглядѣть себя въ его карикатурахъ. Несмотря на эти недостатки, обѣ комедіи такъ далеко отстоятъ отъ прежнихъ комедій Крылова, что трудно повѣрить, что ихъ раздѣляетъ только періодъ, хотя и продолжительный, полнѣйшаго бездѣйствія Крылова въ литературѣ. Лежащая въ ихъ основаніи патріотическая мысль и то дѣйствіе, которое онѣ должны были производить на общество, были большою заслугою Крылова. Достоинства ихъ, которыми и объясняется ихъ успѣхъ на сценѣ, заключаются въ обработкѣ отдѣльныхъ, дѣйствительно комическихъ сценъ, въ ловкихъ и неожиданныхъ комическихъ сопоставленіяхъ, въ живомъ и бойкомъ разговорѣ, безукоризненномъ языкѣ. Сцена встрѣчи горничной Даши съ женихомъ Семеномъ, вымогательства отъ послѣдняго французскаго языка барышнями, сцена открытія хитрости Семена и др., дѣйствительно прекрасны и должны были производить большой эффектъ на сценѣ. Характеръ старой русской няни вполнѣ вѣренъ и привлекателенъ; въ ея просьбѣ барину, чтобъ онъ, по крайней мѣрѣ, не вдругъ приневоливалъ барышень къ французскому языку, потому что, можетъ-быть, и натура ихъ не терпитъ этого языка, вовсе нѣтъ преувеличенія. Недостатки же комедій тогдашняя публика не сознавала ясно и вообще не отличалась въ этомъ отношеніи взыскательностію.

Волшебная опера *Илья богатырь*, написанная, какъ говорятъ, въ подражаніе „Русалкѣ“, переведенной съ нѣмецкаго и бывшей тогда въ большой модѣ, могла бы служить нѣкоторымъ указаніемъ на вниманіе автора къ русской народной поэзіи, если бъ она именно отсутствіемъ мѣстныхъ, народныхъ красокъ не доказывала убѣдительно, что авторъ имѣлъ весьма смутное представленіе о характерѣ народной поэзіи. Можетъ-быть, на появленіе ея имѣлъ нѣкоторое вліяніе и „Илья Муромецъ“ Карамзина, написанный имъ въ 1794 г.; по крайней мѣрѣ въ представленіи народно-поэтическаго содержанія, ложномъ въ томъ и другомъ произведеніи, нѣтъ большаго различія: если Илья Крылова не „подобенъ маю красному или марту нѣжному, если на лицѣ его не расцвѣтаютъ розы алыя съ лилеями“, то развѣ только потому, что подобныя качества — плохая помощь въ борьбѣ съ Соловьемъ и печенѣгами; притомъ въ волшебной оперѣ Ильи и не видно: онъ является на сценѣ только два раза для произнесенія двухъ-трехъ фразъ, а въ послѣднемъ явленіи вносится на щитахъ въ Кіевъ. За то князь Черниговскій Владисилъ, то и дѣло вздыхающій по княжнѣ болгарской Всемилѣ, на колѣняхъ произносящій предъ ней клятву въ вѣчной любви, недалекъ отъ Карамзинскаго Ильи Муромца. Впрочемъ, должно замѣтить, что такое представленіе народной поэзіи было тогда общимъ, и самая мысль объ истинномъ ея значеніи тогда еще не возникала.

Лавровскій.

Комедія Крылова: „Модная лавка“.

Продолжительный отдыхъ, а также пришедшая со временемъ опытность не могли не отразиться на дальнѣйшей дѣятельности Крылова, какъ драматурга. 1806 и 1807 гг. были послѣдними годами его драматической дѣятельности, но они принесли съ собою безспорно лучшія произведенія изъ всѣхъ написанныхъ нашимъ авторомъ. Это — комедіи: „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“, долго не сходившія со сцены и игравшіяся до конца 40-хъ годовъ. Плетневъ полагаетъ, что эти пьесы были подготовлены Крыловымъ заранѣе[1]). „Обѣ комедіи выражаютъ сильное негодованіе поэта на новое пристрастіе русскихъ къ французамъ и ихъ языку“. „Можно подумать, что жизнь въ провинціи подняла всю его желчь. И, въ самомъ дѣлѣ, тамъ недуги столицъ высказываются отвратительнѣе. Что здѣсь только смѣшно и глупо, то въ провинціи, какъ въ искривленномъ зеркалѣ, становится гадко и нестерпимо“. Многіе изъ нашихъ писателей, начиная съ Сумарокова, возставали противъ царившей у насъ подражательности и вооружались сатирой противъ этого нашего общественнаго недуга, но напрасно. „Подъ защитой господствующей моды никто не чувствуетъ боли, какую, повидимому, должны были произвести острыя стрѣлы насмѣшки“[2]).

Типъ щеголихи, преклоняющейся передъ всѣмъ иностраннымъ, а особенно передъ французскимъ, съ достаточной рельефностью очерченъ въ цѣломъ рядѣ комедій конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка и въ массѣ статей сатирическихъ журналовъ, такъ что пьеса Крылова — „Модная лавка“, героиня которой, Сумбурова, проматываетъ деньги мужа, не даетъ новыхъ чертъ для этого обычнаго и извѣстнаго изъ другихъ комедій типа. Однако, въ той обстановкѣ, въ которую помѣстилъ свою Сумбурову Крыловъ, она кажется характернѣе, и въ ней особенно оттѣняется жадность провинціаловъ до всего моднаго. Мы подробно изложимъ комедію „Модная лавка“[3]), чтобы, за-

---

[1]) *Плетневъ*, стран. 67. См. тамъ же мнѣніе *П. Арапова*.

[2]) *Плетневъ*, стран. 68.

[3]) Напечатана въ Полномъ собраніи сочиненій И. А. Крылова, 1859 г., III. Впервые напечатана отдѣльно въ 1807 г. первымъ, а 1816 г. вторымъ изданіемъ. Представлена въ первый разъ на С.-Петербургскомъ театрѣ въ 1806 г. Хотя свѣдѣнія, сообщаемыя *П. Араповымъ*, далеки отъ полной достовѣрности (такъ, онъ считаетъ „Пирогъ“ первымъ драматическимъ опытомъ Крылова), тѣмъ не менѣе, въ виду отсутствія болѣе точныхъ извѣстій о судьбахъ пьесъ Крылова на сценѣ, приходится пользоваться даже тѣми ничтожными крохами которыя сообщаетъ этотъ историкъ русскаго театра въ своей „Лѣтописи“. „Модная лавка“, по словамъ его, имѣла большой успѣхъ, при чемъ, повидимому, особый эффектъ произвелъ тотъ эпизодъ, гдѣ Сумбурова прячется въ шкапѣ, откуда она вылѣзаетъ при обыскѣ. Видимо, публика понимала лишь внѣшній комизмъ, такъ мѣтко осужденный позже Н. В. Гоголемъ въ его „Разъѣздѣ“. Вѣроятно, успѣху пьесы содѣйствовали не мало и исполнители. Араповъ сообщаетъ, что: „Рыкаловъ былъ превосходенъ въ роли Сумбурова, которую впослѣдствіи игралъ прекрасно же актеръ Бобровъ; Рахманова была неподражаема въ роли Сумбуровой. Замѣчательны были Жебелевъ французомъ Трише и Пономаревъ, игравшій деревенскаго слугу Антропку. Это былъ отличный комикъ. „Модная лавка“ была дана въ первый разъ 27-го іюля (1806 г.) и повторялась часто. Ее давали и во дворцѣ, на половинѣ Императрицы Маріи Ѳеодоровны“. *П. Араповъ*. „Лѣтопись русскаго театра“, стран. 174—175.

тѣмъ, при разборѣ послѣдней и лучшей пьесы Крылова, обратить вниманіе на планъ и построеніе обѣихъ.

Дѣйствіе происходитъ въ модной лавкѣ, принадлежащей m-me Каре. Молодой повѣса, Лестовъ, болтаетъ съ мастерицей, Машей, и разсказываетъ ей, какъ онъ, проѣздомъ чрезъ Курскую губернію, влюбился въ дочь одного помѣщика, Сумбурова; все сложилось въ его пользу и близка была свадьба, но мачеха Лизы, — такъ зовутъ его бывшую невѣсту, — разстроила свадьбу, съ цѣлью выдать падчерицу за своего дальняго родственника, промотавшагося помѣщика, Недосчетова. Вотъ уже почти годъ, какъ влюбленные не видались.

Внезапно, во время этого разговора, въ лавку является г-жа Сумбурова, пріѣхавшая въ городъ за нарядами къ предстоящей свадьбѣ Лизы. Услышавъ, что Маша говоритъ по-русски, Сумбурова набрасывается на слугу: „Не приказывала ли я тебѣ, мерзавцу, везти меня во французскую лавку? Куда это вы меня завезли, скверные уроды?“ Маша объясняетъ ей, что это дѣйствительно французская лавка m-me Каре. Эта сцена по темѣ и по разговорамъ очень похожа на сцену выбора товаровъ въ пьесѣ М. Матинскаго — „С.-Петербургскій Гостиный дворъ“. Весьма вѣроятнымъ кажется намъ, что Крыловская сцена написана если не по образцу, то подъ вліяніемъ Матинскаго[1]), реализмъ котораго особенно рѣзко выдѣляется на общемъ фонѣ современной ему комедіи.

Сумбурова успокоивается и выбираетъ наряды. Она узнаетъ Лестова и всячески старается отдѣлаться отъ него, но все-таки молодому человѣку удается узнать о ея намѣреніи выдать Лизу замужъ. Лестовъ проситъ Машу какъ-нибудь помочь ему свидѣться съ Лизой и разстроить планы Сумбуровой. За это онъ обѣщаетъ Машѣ отпускную (Маша крѣпостная его сестры) и 3000 р. на приданое „Это не первая дѣвушка поѣхала изъ нашей лавки къ вѣнцу“, утѣшаетъ его Маша и соглашается содѣйствовать его успѣху, а для начала совѣтуетъ подкупить слугу Сумбуровыхъ, Антропа, глупаго и простоватаго мужика, который, удивляясь невиданной доселѣ роскоши, никакъ не можетъ взять въ толкъ, чего отъ него хотятъ. Тогда Лестовъ отправляется попытать счастья у кучера. Тѣмъ временемъ Сумбуровъ застаетъ жену въ самомъ разгарѣ торга и, послѣ гнѣвныхъ выходокъ противъ всего иноземнаго, увозитъ ее изъ лавки. Этимъ заканчивается первый актъ.

Во второмъ актѣ Маша читаетъ письмо отъ Лестова. Оно далеко не утѣшительно: „Я былъ у Сумбуровыхъ“, пишетъ Лестовъ; „старикъ было мнѣ обрадовался и просилъ меня, какъ сына своего добраго пріятеля, ѣздить къ нему чаще; но негодная жена его все испортила и высказала на меня, что я давеча отправилъ слугъ пить и говорилъ съ Лизою. Сумбуровъ взбѣсился, отнялъ у меня всю надежду получить Лизу и выкурилъ меня вонъ своими нравоученіями.

---

[1]) *М. Матинскій.* „С.-Петербургскій Гостиный дворъ“, комическая опера, изд. 3-е, 1891 г. Впервые была представлена въ 1779 г., такъ что давалась уже на сценѣ во время Крылова.

Я въ отчаяніи... Хочу ѣхать драться съ соперникомъ, потомъ пріѣду драться съ Сумбуровымъ; потомъ самъ застрѣлюсь. Не придумала ль ты чего умнѣе? Пріѣзжай посовѣтовать!" Чтеніе письма прерывается появленіемъ француза Трише, бывшаго помаднаго мастера, а нынѣ ростовщика, имѣющаго на 100 тысячъ рублей векселей на Недосчетова, жениха Лизы и соперника Лестова. У Маши въ головѣ возникаетъ планъ, и она напускаетъ Трише съ векселями на пришедшаго въ лавку Сумбурова. Сумбуровъ смущенъ этимъ обстоятельствомъ и сожалѣетъ, что прогналъ Лестова: „Какъ подумаю, такъ и жаль Лестова, и отецъ его былъ мнѣ хорошій пріятель. Полно, вѣдь и Лестовъ повѣса: вздумай споить слугъ, чтобы поговорить съ Лизою,—гадко, скверно! Однако, все лучше, нежели надавать векселей на сто тысячъ, и кому же!..."

Сумбуровъ для экономіи, чтобы часто не ѣздить въ городъ, хочетъ нанять Машу, но какъ разъ въ тотъ моментъ, когда онъ ей предлагаетъ выгодныя условія, въ магазинъ входитъ его жена и заподозрѣваетъ чистоту намѣреній своего супруга. „Ахъ, ты старая мартышка!" кричитъ разгнѣванная матрона, становясь между мужемъ и Машей: „Да что ты это затѣялъ, въ своемъ ли умѣ?... Какъ, распутная твоя душа, ты отъ живой жены, — грѣховодникъ! а я чтобъ стала терпѣть! Нѣтъ, нѣтъ, я хочу кричать, пускай всѣ добрые люди соберутся и видятъ..... При мнѣ изволилъ притворяться, что не терпитъ французскихъ лавокъ, ругаетъ ихъ, а безъ меня, такъ видно, дѣла идутъ совсѣмъ другой статьей..." Машѣ едва удается вывернуться и примирить супруговъ. Она докладываетъ m-me Каре; послѣдняя тотчасъ появляется въ лавкѣ, въ сопровожденіи Трише. Во взаимной перебранкѣ эти достойныя дѣти Франціи характеризуютъ другъ друга, рисуя типичныя черты тѣхъ проходимцевъ, которые входили въ жизнь русскаго общества въ качествѣ гувернеровъ и воспитателей подростающаго поколѣнія и, наживъ неправеднымъ путемъ деньги, становились ростовщиками и содержателями разныхъ притоновъ. Сцена эта въ комедіи Крылова не блещетъ особымъ остроуміемъ, но разоблачаетъ нравственную изнанку этихъ героевъ, которые „ловили деньги въ чужихъ карманахъ", и невинность которыхъ „была въ вѣчной ссорѣ съ парижской полиціей". Сумбуровы выбираютъ наряды въ сосѣдней комнатѣ, куда ихъ уводитъ m-me Каре, а Маша устроиваетъ свиданіе Лизы съ Лестовымъ въ лавкѣ. Вошедшій внезапно Сумбуровъ застаетъ Лестова на колѣняхъ передъ дочерью; на ихъ извиненія онъ отвѣчаетъ отказомъ: онъ понялъ все. „Молчи, молчи, голубушка", перебиваетъ онъ Машу, „я не такъ простъ и слѣпъ. Ты подкупилъ, говорю я, этихъ плутовъ обмануть насъ и доставить тебѣ свиданіе; ты не пожалѣлъ чести и добраго имени друга отца твоего, и передъ этой вѣтреницею, на поношеніе мнѣ и чтобъ видѣлъ малый и большой, конный и пѣшій!... нѣтъ, нѣтъ, мы больше не знакомы!... Вонъ отсель, вонъ изъ этого дьявольскаго гнѣзда!"

Въ третьемъ актѣ наступаетъ постепенно подготовляющаяся развязка. Трише, поссорившійся съ m-me Каре, донесъ полиціи, что

въ модной лавкѣ есть много контрабанды, и вотъ Маша съ другой дѣвушкой спѣшатъ кое-что припрятать до обыска. Лестовъ узнаетъ Трише: оказывается, что этотъ французъ, подъ фамиліей Дюпре, былъ у него камердинеромъ и, обокравъ, бѣжалъ. Лестовъ надѣется изъ этого обыска извлечь себѣ выгоду и, пользуясь суматохой, похитить Лизу. Онъ посылаетъ своего слугу, какъ бы отъ лица хозяйки модной лавки, сказать Сумбуровой, чтобъ она пріѣзжала посмотрѣть запрещенные и рѣдкіе товары и кое-что пріобрѣсти, если пожелаетъ, за безцѣнокъ. Послѣ нѣсколькихъ сценъ (явленія V—X), совершенно излишнихъ, въ лавку является потихоньку отъ мужа Сумбурова, но едва успѣваетъ переговорить съ Машей, — стукъ въ двери: это самъ Сумбуровъ возвращается за забытымъ второпяхъ бумажникомъ. Его долго не впускаютъ, пока, наконецъ, не удается усадить Сумбурову въ шкапъ. Вошедшій Сумбуровъ разсказываетъ о глупости Антропа, но его разсказыванія прерываетъ появленіе Трише съ квартальнымъ и понятыми для обыска. Сумбуровъ съ радостью принимаетъ сторону полиціи: „....Посмотримъ, какъ-то вы отдѣлаетесь. Ага, госпожи плутовки, конецъ вашимъ праздникамъ; не будете больше разорять и обманывать нашихъ простячковъ; не будете расторговываться запрещенными товарами; не будете въ своей дьявольской лавкѣ давать свиданія, — по дѣломъ вамъ!“ M-me Каре принимаетъ видъ оскорбленной невинности. Обыскъ продолжается, и дѣло доходитъ до шкапа. Маша совѣтуетъ Сумбурову, во избѣжаніе скандала, не отпирать его и по секрету сообщаетъ, какой тамъ товаръ. Въ эту минуту Лестовъ выручаетъ всѣхъ и приказываетъ арестовать вора Трише-Дюпре. Послѣдній отказывается отъ доноса, и все устраивается къ лучшему. Сумбуровъ благодаренъ молодому человѣку за его помощь и согласенъ выдать за него Лизу. Онъ выпускаетъ жену изъ шкапа и сообщаетъ ей о помолвкѣ Лестова и Лизы. „Я не знаю, гдѣ я? У меня голова кружится“, говоритъ натерпѣвшаяся страху Сумбурова, выйдя изъ своего заключенія. Мужъ прощаетъ ее, „только съ тѣмъ условіемъ, чтобы впередъ на версту не подъѣзжать къ французскимъ лавкамъ“.

Какъ мы уже замѣтили выше, главнымъ недостаткомъ этой пьесы является чрезмѣрная растянутость нѣкоторыхъ сценъ. Помимо отмѣченныхъ V—X явленій третьяго акта, можно было бы смѣло выкинуть нѣкоторыя явленія, а отчасти и сократить разговоры дѣйствующихъ лицъ. Тогда комедія значительно выиграла бы, и ея несомнѣнныя достоинства были бы ярче. На этотъ разъ Крыловъ пытался и сумѣлъ придать оригинальность даже такому избитому и захватанному сюжету, какъ обличеніе женской страсти къ французскимъ нарядамъ. Какое впечатлѣніе произвела эта пьеса на его сверстниковъ и литературныхъ друзей, можно судить по отзыву Лобанова. „Эта комедія“, пишетъ послѣдній, „изобрѣтена, расположена, написана истинно мастерски; множество истинно комическихъ сценъ; всѣ дѣйствія отчетисты; языкъ ловкій и умный; ни одной пошлости. Остроты, шутки — веселы, забаны, умны; характеры до такой степени вѣрны, что кажутся живой

натурою. Замѣчено было въ свое время, и весьма справедливо, что комедія получила бы высшее совершенство, если бы Лестовъ былъ выведенъ менѣе вѣтрогономъ, чтобъ и въ самой вѣтренности его болѣе видно было доброе сердце и хорошій нравъ; зритель принималъ бы въ судьбахъ его большее участіе и болѣе былъ бы увѣренъ, что Лиза, ставъ его женою, будетъ счастлива. „Модная лавка“ есть истинно оригинальная комедія, безъ всякой примѣси подражанія. Она доказываетъ великій комическій талантъ Крылова и занимаетъ мѣсто между первѣйшими театральными произведеніями нашей словесности“ [1]). Не соглашаясь безусловно съ мнѣніемъ почтеннаго академика и друга Крылова, мы все-таки должны отмѣтить, что, сравнительно съ прежними пьесами подражательнаго характера, „Модная лавка“ представляетъ значительный шагъ впередъ. Хотя Лобановъ и хвалитъ въ ней естественность, однако, мы видимъ эту естественность лишь въ созданіи нѣсколькихъ лицъ.

Главное лицо пьесы, безспорно, Сумбурова. Это — „степная щеголиха, которая лѣтъ 15 сидитъ на 30-мъ году; вдобавокъ, своенравная, злая, скупая (только не на наряды), коварная, бѣшеная“, какъ характеризуетъ ее авторъ словами Лестова. Прибавимъ къ этому списку ея достоинствъ еще глупость и грубость, доходящую до того, что она чуть не лѣзетъ въ драку съ своимъ крѣпостнымъ человѣкомъ, — и мы получимъ полное и вѣрное изображеніе характера г-жи Сумбуровой. Мужъ ея, какъ видно изъ разсказанной пьесы, — человѣкъ скуповатый, немного мелочный, надоѣдающій всѣмъ со своими нравоученіями, скорый на слово и на дѣло, отчего кажется нѣсколько рѣзкимъ въ обращеніи, но, на самомъ дѣлѣ, — добрый человѣкъ и отецъ, понимающій и берущій къ сердцу интересы и симпатіи дочери. Его роль — роль обычнаго въ пьесахъ той эпохи резонера. Даже въ „Недорослѣ“ Фонвизина есть такой резонеръ, играющій важную роль въ развязкѣ пьесы. Если же мы попробуемъ сравнить Сумбурова со Стародумомъ, то, оставивъ въ сторонѣ степень умственнаго развитія каждаго изъ нихъ, найдемъ, что съ точки зрѣнія развитія драматическаго дѣйствія и естественности характера первенство останется за героемъ Крылова. Конечно, послѣдній не повторяетъ фразъ изъ „Наказа“, незнакомъ, быть можетъ, съ сочиненіями Монтескьё, Руссо и друг., но зато онъ болѣе умѣстенъ и не похожъ на куклу, за спиною которой говоритъ авторъ пьесы. Хотя жена и пытается обмануть его бдительность, тайкомъ отправляясь во французскія лавки, тѣмъ не менѣе, сильно побаивается его: онъ человѣкъ упрямый, „съ нимъ не сладишь“. „Ну, право, боюсь, чтобы муженекъ не узналъ: оборони Богъ грѣха, это выйдетъ такая кутерьма, что и святыхъ вонъ понеси“, говоритъ она, боясь, что мужъ застанетъ ее въ лавкѣ. „Я вѣдь за модой не гонюсь“, говоритъ о себѣ Сумбуровъ, „и, какъ мужъ стариннаго русскаго разбора, хочу, чтобъ жена меня слушалась!“ Онъ презираетъ все ино-

[1]) *Лобановъ*, стран. 32.

странное: иностранцы, и особенно французы, — „это піявицы, которыя сосутъ нашу кровь, обманываютъ насъ, разоряютъ и послѣ, уѣхавши съ нашими деньгами, надъ нами же смѣются“. Не менѣе жалки и отвратительны въ его глазахъ тѣ русскіе, которые увлекаются иностраннымъ: „я думаю, они скоро будутъ къ намъ пузыри съ англійскимъ воздухомъ выписывать“, иронизируетъ онъ надъ подражателями всего иноземнаго. „Хорошая женщина безъ помощи французскихъ торговокъ хороша, на чтожъ онѣ ей?“ — такъ заключаетъ Сумбуровъ свою рѣчь о переимчивости русскихъ.

О характерѣ Лестова достаточно, кажется намъ, сказано въ сужденіи академика Лобанова, приведенномъ нами нѣсколько выше. Очевидно, Крыловъ не мѣтилъ поставить его въ герои пьесы, и потому этотъ молодой повѣса вышелъ нѣсколько блѣденъ.

Лиза, какъ молодыя дѣвушки и въ предыдущихъ пьесахъ, вышла безличной и условной фигурой, необходимой для дѣйствія. Видимо, авторъ и не пытался вложить въ нее жизни, а предпочелъ ограничиться лишь однимъ контуромъ безъ красокъ, какъ это мы наблюдаемъ и у другихъ драматурговъ этой эпохи.

Французы — m-me Каре и m-r Трише — характеризованы нами выше. Теперь обратимся къ роли Маши; она представляетъ значительный интересъ. Во-первыхъ, она занимаетъ то положеніе, какое въ предыдущихъ пьесахъ Крылова занимаютъ плутоватые слуги, дѣлающіе все по-своему и командующіе господами. Маша уже не играетъ на самомъ дѣлѣ такой важной роли распорядительницы судебъ: большая часть событій вытекаетъ въ послѣдовательности, обусловливаемой самимъ ходомъ дѣйствія. Маша лишь помогаетъ, насколько въ ея власти, но и то въ ограниченныхъ предѣлахъ сравнительно съ предшествовавшими пьесами, гдѣ *все* дѣйствіе зависѣло отъ воли слугъ. Во-вторыхъ, Маша уже болѣе походитъ на дѣйствительное лицо, чѣмъ, напримѣръ, Извѣда и т. под. героини водевилей. Она умѣетъ обойти глупую щеголиху, задѣвая ея самолюбіе и льстя ей.

Несмотря на живость и естественность лицъ и драматическихъ положеній, все-таки расположеніе пьесы, дѣйствія ея, завязка и развязка напоминаютъ послужившіе Крылову для подражанія образцы — переводные французскіе водевили и комедіи. Наряду съ усовершенствованіемъ формы и съ пріобрѣтеніемъ навыка въ расположеніи дѣйствія, въ Крыловѣ жило еще чувство народности, давшее такую свѣжую окраску „Кофейницѣ“ и „Пирогу“. Сліяніе двухъ этихъ стихій и дало въ результатѣ безспорно лучшую пьесу Крылова — „Урокъ дочкамъ“, посвященную осмѣянію той же нелѣпой французской маніи нашего дворянства, только уже вполнѣ просто, безъ водевильныхъ усложненій сюжета разными приключеніями, въ родѣ увоза, подпаиванья слугъ, ловкаго посредничества классической интригантки и т. под. средствъ. Это отсутствіе обычныхъ театральныхъ пріемовъ, видимо, не понравилось Лобанову, который, при всей своей любви къ многословію, очень

кратко отозвался объ этой наиболѣе замѣчательной пьесѣ. „Изобрѣтеніе въ этой комедіи очень удачно, ходъ ея занимателенъ, характеры вѣрны, разговоры превосходны“ [1]).

Комедія въ одномъ дѣйствіи — „Урокъ дочкамъ“ [2]) замѣчательна тѣмъ, что въ ней авторъ, благодаря ли случайности или преднамѣренно, избѣжалъ шаблоннаго плана французскихъ водевилей, хотя во многихъ подробностяхъ эта пьеса является подражаніемъ: образцомъ Крылову послужилъ Мольеръ, а именно его комедія — „Les Précieuses ridicules“. Завязка и развязка вполнѣ естественны, а потому пьеса даже теперь читается съ интересомъ, чему содѣйствуетъ и краткость ея, сжатость и отсутствіе безпредметной болтовни, такъ надоѣдающей въ другихъ пьесахъ Крылова. Хотя по главной своей мысли эта комедія сходна съ вышеразобранной, но по исполненію стоитъ гораздо выше. „Урокъ дочкамъ“ навѣрно знакомъ почти всякому образованному человѣку, но мы все-таки возьмемъ на себя трудъ повторить ея содержаніе и набросать характеристики дѣйствующихъ лицъ, чтобъ отъ читателя не укрылись ея особенныя черты и чтобы можно было вполнѣ завершить обзоръ театра Крылова въ наиболѣе важныхъ его произведеніяхъ.

Дѣйствіе происходитъ въ деревнѣ Велькарова, дворянина средней руки, отца двухъ дочерей, любящихъ пофрантить и помѣшанныхъ на всемъ французскомъ. Въ усадьбу Велькарова случайно заѣзжаетъ мотъ Честонъ, проигравшій въ Москвѣ все свое состояніе, и слуга его, Семенъ, герой комедіи. Семенъ встрѣчается съ Дарьей, горничной дочерей Велькарова, своей нареченной невѣстой. Вотъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ они живутъ по чужимъ людямъ въ услуженіи, въ надеждѣ заработать денегъ на свадьбу и устройство своего гнѣзда. Въ разговорѣ они открываютъ другъ другу, что придется еще ждать счастливаго времени, такъ какъ ни у того ни у другого денегъ нѣтъ. Но вотъ Даша разсказываетъ жениху о своихъ барышняхъ и объ ихъ причудахъ, о любви къ нарядамъ и французамъ и о жестокости ихъ отца. „Барышни мои“, говоритъ она, „были воспитаны у ихъ тетки на послѣдній манеръ. Отецъ ихъ со службы пріѣхалъ, наконецъ, въ Москву и захотѣлъ взять къ себѣ дочекъ, чтобы до замужества ими полюбоваться. Ну, правду сказать, утѣшили же онѣ старика! Лишь вошли къ батюшкѣ, то поставили домъ вверхъ дномъ; всю его родню и старыхъ знакомыхъ отвадили грубостями и насмѣшками. Баринъ не знаетъ языковъ, а онѣ накликали въ домъ такихъ не-русей, между которыхъ бѣдный старикъ скитался, какъ около Вавилонской башни, не понимая ни слова, что говорятъ и чему хохочутъ. Выйдя, наконецъ, изъ терпѣнія отъ ихъ проказъ и дурачествъ, онъ увезъ

---

[1]) *Лобановъ*, стран. 44.

[2]) См. Полное собраніе сочиненій И. А. Крылова, 1859 г., т. III. Первоначально была напечатана отдѣльно въ 1807 г. первымъ, а въ 1816 г. вторымъ изданіемъ. Представлена въ первый разъ на С.-Петербургскомъ театрѣ 18 іюня 1807 г., при участіи Петровой и Белье — въ роляхъ дочекъ, Черниковой — въ роли няни Василисы, Прыткова — въ роли Семена и друг. *П. Араповъ*. „Лѣтопись русскаго театра“ стран. 181.

дочекъ сюда на покаяніе, — и отгадай, какъ вздумалъ наказать ихъ за всѣ грубости, непочтеніе и досады, которыя въ городѣ отъ нихъ вытерпѣлъ?“ Семенъ перебираетъ возможныя наказанія, но ни одно не оказывается примѣннымъ; старикъ дѣйствительно выдумалъ нѣчто особое, наиболѣе всего чувствительное для модницъ: „онъ запретилъ имъ говорить по-французски“, а бѣдныя барышни „безъ французскаго языка, какъ безъ хлѣба, сохнутъ“. Но этого мало, „чтобъ и между собой не говорили онѣ иначе, какъ по-русски, то онъ приставилъ къ нимъ старую няню Василису, которая должна, ходя за ними по пятамъ, строго это наблюдать; и если заупрямятся, то докладывать ему. Онѣ было сперва этимъ пошутили, да какъ няня Василиса доложила, то увидѣли, что старикъ до шутокъ не охотникъ. И теперь куда ни пойдутъ... что слово скажутъ не по-русски, а няня Василиса тутъ съ носомъ, такъ что отъ няни Василисы приходится хоть въ петлю“. Онѣ до того стосковались по всемъ французскомъ, „что теперь вынули бы послѣднюю сережку изъ ушка, лишь бы только посмотрѣть на француза“. У Семена тотчасъ создается въ головѣ планъ, довольно рискованный, но могущій при удачномъ выполненіи доставить ему деньги, тѣмъ болѣе, что барышни щедры и ихъ легко разжалобить „нерусскими слезами“. Онъ убѣгаетъ, чтобъ явиться въ иномъ видѣ и начать исполненіе задуманной хитрости. По его уходѣ, Даша садится за шитье, и входятъ двѣ барышни, Фекла и Лукерья, въ сопровожденіи неизмѣнно слѣдующей за ними по пятамъ няни Василисы. Эта послѣдняя все время вяжетъ чулокъ и вслушивается въ разговоры барышень, предлагающихъ ей поминутно убираться вонъ, провалиться сквозь землю или оглохнуть. Разговоръ барышень очень характеренъ: въ немъ прекрасно рисуются идеалы ихъ, взгляды на жизнь и задачи существованія. Вотъ часть третьяго явленія, въ которой высказываются вкусы барышень.

Лукерья. Прекрасно, божественно! съ нашимъ вкусомъ, съ нашими дарованіями, — зарыть насъ живыхъ въ деревнѣ. Нѣтъ, да на чтожъ мы такъ воспитаны? къ чему потрачено это время и деньги? Боже мой! когда вообразишь теперь молодую дѣвушку въ городѣ, — какая райская жизнь! Поутру, едва успѣешь сдѣлать первый туалетъ, явятся учители — танцовальный, рисовальный, гитарный, клавикордный, отъ нихъ тотчасъ узнаешь тысячу прелестныхъ вещей: тутъ любовное похожденіе, тамъ отъ мужа жена ушла; тамъ свадьба навертывается, другую свадьбу разстроили; тотъ волочится за той, другая за тѣмъ — ну, словомъ, ничто не ускользнетъ, даже до того, что знаешь, кто себѣ фальшивый зубъ вставитъ, — и не увидишь, какъ время пройдетъ. Потомъ пустишься по моднымъ лавкамъ; тамъ встрѣтишься со всѣмъ, что только есть лучшаго и любезнаго въ цѣломъ городѣ; подмѣтишь тысячу свиданій; — на недѣлю будетъ, что разсказывать; потомъ ѣдешь обѣдать и за столомъ съ подругами цѣнишь бабушекъ и тетушекъ; послѣ домой — и снова займешься туалетомъ, чтобъ ѣхать куда-нибудь на балъ или въ собраніе, гдѣ одного мучишь жестокостью, другому

жизнь даешь улыбкою, третьяго съ ума сводишь равнодушіемъ; для забавы давишь старушкамъ ноги и толкаешь подъ бока; а онѣ-то морщатся, а онѣ-то ворчатъ... ну, умереть надо со смѣху! (хохочетъ). Танцуешь, какъ полоумная; и когда случится въ первой парѣ, то забавляешься досадой дѣвушекъ, которымъ иначе не удается танцовать, какъ въ хвостѣ; словомъ, — не успѣешь опомниться, какъ ужъ разсвѣтаетъ, и ты, полумертвая, ѣдешь домой. А здѣсь въ деревнѣ, въ степи, въ глуши... — ахъ! я такъ зла, что задыхаюсь отъ бѣшенства; такъ зла, такъ зла, что... ah! si jamais je suis...

Василиса. Матушка, Лукерья Ивановна, извольте гнѣваться по-русски!

Лукерья. Да исчезнешь ли ты отъ насъ, старая колдунья.

Фекла тоскуетъ, что не видитъ ни одного „человѣческаго“ лица, не слышитъ „человѣческаго голоса, кромѣ русскаго“. Она даже съ попугаемъ Жако не можетъ перемолвиться по-французски, — мѣшаетъ няня Василиса.

„Ахъ мои золотыя, ахъ мои жемчужныя!“ удивляется бѣдная старуха, не смѣя ослушаться барскаго приказа: „Злодѣйка ли я? У меня у самой, на васъ глядя, сердце надорвалось; да какъ же быть? — воля барская! Вѣдь вы знаете, каково прогнѣвить батюшку. Да неужели, мои красавицы, по-французскому-то говорить слаще? Кабы я не боялась барина, такъ послушала бы васъ, чтой то за нарѣчье“. Барышни совѣтуютъ ей послушать, какъ говоритъ по-французски попугай: „вообрази жъ, миленькая няня, что мы въ Москвѣ, когда съѣзжаемся, то говоримъ точно какъ Жако“.

Этотъ разговоръ прерывается появленіемъ Велькарова, который даетъ дочерямъ наставленіе, какъ вести себя съ женихами, ожидаемыми съ минуты на минуту. Въ этихъ наставленіяхъ мы находимъ еще новыя черты для характеристики Феклы и Лукерьи: „Да покиньте хоть на часъ свое кривлянье, жеманство, мяуканье въ разговорахъ, кусанье и облизыванье губъ, полусонные глазки, журавлиныя шейки,— однимъ словомъ, всю эту дурь, и походите хоть немножко на людей“, уговариваетъ отецъ дочерей. Барышни фыркаютъ и заявляютъ, что не ему ихъ учить, когда онѣ воспитывались у самой мадамъ Григри, знающей все, что нужно для благородныхъ дѣвицъ. Отецъ, не вытерпѣвъ этой болтовни, схватываетъ ихъ за руки и разражается гнѣвною рѣчью: здѣсь слышенъ самъ авторъ, говорящій устами Велькарова.

„Молчать, молчать, молчать! тысячу разъ молчать! Вотъ воспитаніе, что отцу не дадутъ слова вымолвить! Чѣмъ болѣе я васъ слушаю, тѣмъ болѣе сожалѣю, что ввѣрилъ васъ любезной моей сестрицѣ. Стыдно, сударыни, стыдно! Дѣвушки вы уже давно невѣсты, а еще ни голова ваша ни сердце не запасены ничѣмъ, что могло бы сдѣлать счастіе честнаго человѣка. Все ваше остроуміе въ томъ, чтобы перецыганивать и пересмѣшивать людей, часто почтеннѣе себя; вся ваша ловкость, чтобъ не уважать ни лѣта ни достоинство человѣка

и дѣлать грубости тѣмъ, кто васъ старѣе. Въ чемъ ваше знаніе? — какъ одѣться или, лучше сказать, какъ раздѣться и надъ которой бровью поманернѣе развѣсить волосы. Какія ваши дарованія? — нѣсколько пѣсенокъ изъ модныхъ оперъ, нѣсколько рисунковъ учителевой работы и неутомимость прыгать и кружиться на балахъ; а самое-то главное ваше достоинство то, что вы болтаете по-французски; да только ужъ что̀ болтаете, — того не приведи Богъ слышать разсудительному человѣку ни на какомъ языкѣ".

Но вотъ слуга докладываетъ, что какой-то французъ, маркизъ, проситъ позволенія войти. Барышни внѣ себя отъ восторга, суетятся, тѣмъ болѣе, что отецъ позволилъ имъ говорить съ маркизомъ по-французски. Онѣ стараются принарядиться, открываютъ, насколько возможно, плечи, румянятся, растрепываютъ волосы и принимаютъ позы.

Входитъ Велькаровъ съ маркизомъ, который оказывается Семеномъ во фракѣ. Къ величайшему удовольствію Велькарова маркизъ объясняетъ, что, живя въ Россіи, онъ научился русскому языку и что, если угодно, онъ можетъ говорить только по-русски. Велькаровъ оставляетъ его съ барышнями. Онѣ разсыпаются передъ нимъ въ извиненіяхъ за странность отца. Мнимый маркизъ пытается разсказать о своихъ несчастіяхъ, принудившихъ его пѣшкомъ странствовать по Россіи, хвалитъ Францію и поддакиваетъ барышнямъ, когда тѣ называютъ Россію варварской страной. Барышни ахаютъ, едва онъ успѣваетъ заикнуться о своихъ несчастіяхъ, и, ничего еще не зная, плачутъ; имъ вторитъ навзрыдъ и няня Василиса: „согрѣшила я, окаянная, по грѣхамъ меня Богъ наказываетъ", причитаетъ старуха. Мысли о несчастіяхъ француза напомнили ей про внука Егорку, отданнаго въ рекруты. Эта сцена отличается замѣчательной правдивостью, несмотря на нѣсколько карикатурную чувствительность сестеръ.

Велькаровъ со слугой присылаетъ маркизу роскошный кафтанъ и 200 руб. денегъ. Маркизъ уходитъ переодѣться. Барышни въ восторгѣ отъ него и обмѣниваются впечатлѣніями, наперерывъ превознося качества новаго знакомаго: „Какой умъ, какая острота!" — „Какое благородство, какая чувствительность!" — „Какъ видна ловкость во всякомъ пальчикѣ маркиза!" — „Въ каждомъ суставчикѣ примѣтно что-то необыкновенное, привлекательное!" — „Русскіе ничего не стоятъ сравнительно съ нимъ; даже тѣ молодые люди, которые были воспитаны французскими гувернерами, и тѣ отзываются чѣмъ то русскимъ". Барышни уже мечтаютъ стать: одна — „маркизшею", другая — „виконтессою" и уходятъ въ свою комнату.

Маркизъ выходитъ разряженный въ подаренный кафтанъ. Слуга пристаетъ къ нему съ разспросами объ его имени и прозваніи. По подсказу Даши, Семенъ-маркизъ называется „Маркизомъ Глаголемъ"[1]).

[1]) Герой переводнаго романа прошлаго вѣка, до сихъ поръ читаемаго въ народѣ. Романъ этотъ, извѣстный подъ названіемъ „Маркизъ Г.", принадлежитъ перу извѣстнаго французскаго писателя — аббата Прево д'Экзиля, автора „Manon Lescaut" и многихъ другихъ романовъ. Въ подлинникѣ этотъ романъ носитъ названіе: „Les mémoires de l'homme de qualité".

Даша и Семенъ бесѣдуютъ, какъ бы выпутаться изъ самозванства и поудобнѣе устроиться, покончивъ съ этой хитростью.

Барышни тѣмъ временемъ заперли няню у себя въ комнатѣ и спѣшатъ безъ надзора поболтать по-французски съ маркизомъ, который на дѣлѣ не знаетъ двухъ словъ. Чтобы выручить жениха изъ труднаго и опаснаго положенія, Даша бѣжитъ и освобождаетъ няню Василису. Пока старуха сидитъ подъ замкомъ, барышни приступаютъ къ мнимому маркизу съ французскимъ языкомъ, но онъ показываетъ видъ, будто хочетъ сдержать слово, данное ихъ отцу, бѣгаетъ отъ нихъ, зажимая уши, пока, выбившись изъ силъ, не падаетъ въ кресло. Въ этотъ критическій моментъ является няня Василиса и выручаетъ на время самозваннаго маркиза.

Велькаровъ, разсерженный тѣмъ, что дочери отказали женихамъ, приходитъ сдѣлать выговоръ. Слуга Сидорка неосторожно называетъ Семена „Маркизомъ Глаголемъ“ и Велькаровъ догадывается, что тутъ плутня. Онъ требуетъ, чтобы Семенъ по-французски разсказалъ дочерямъ всѣ подробности, какъ его ограбили. Семенъ признается тогда во всемъ и объясняетъ свои отношенія къ Дашѣ, а также причину, почему онъ рѣшился на обманъ. Велькаровъ прощаетъ ему эту продѣлку и опускаетъ Дашу и Семена. „А вы, сударыни, — я васъ научу грубить добрымъ людямъ“, обращается онъ въ заключеніе къ дочерямъ: „я выгоню изъ васъ желаніе сдѣлаться маркизшами! Два года, три года, десять лѣтъ останусь здѣсь въ деревнѣ, пока не бросите вы всѣ вздоры, которыми набила вамъ голову ваша любезная мадамъ Григри; пока не отвыкнете восхищаться всѣмъ, что только носитъ нерусское имя, пока не научитесь скромности, вѣжливости и кротости, о которыхъ, видно, мадамъ Григри вамъ совсѣмъ не толковала, и пока въ глупомъ своемъ чванствѣ не перестанете морщиться отъ русскаго языка. Няня Василиса! не отходи отъ нихъ“. „Ah, ma soeur!“, восклицаетъ Лукерья. „Ah, quelle leçon!“, отвѣчаетъ ей Фекла, пораженная неожиданнымъ открытіемъ.

Изъ нашего подробнаго изложенія выясняются уже характеры дѣйствующихъ лицъ. Къ сказанному можемъ добавить еще лишь нѣсколько чертъ, ускользнувшихъ въ пересказѣ. Барышни, кромѣ всѣхъ достоинствъ своихъ, отличаются, даже по своему времени, поразительнымъ невѣжествомъ. Книги ихъ нимало не интересуютъ; а если случается имъ держать въ рукахъ печатный листъ, то это номеръ роднаго журнала. Въ уста глупыхъ дѣвушекъ Крыловъ влагаетъ порой чрезвычайно наивныя и мѣткія сужденія, напримѣръ, Лукерья говоритъ сестрѣ (явленіе XI): „Посмотри на многихъ изъ тѣхъ молодыхъ людей, воспитаніе которыхъ совершенно повѣрено было гувернерамъ: похожи ли они на русскихъ?“

Мысли о воспитаніи, легшія въ основу этой лучшей комедіи Крылова, были имъ не разъ высказываемы и позже — въ басняхъ („Воспитаніе льва“, „Двѣ бочки“ и друг.) и ранѣе — въ „Почтѣ Духовъ“. За много лѣтъ до созданія „Модной лавки“ и „Урока дочкамъ“

Крыловъ писалъ въ „Почтѣ“ слѣдующее: „Еще не прошло одного вѣка, какъ жители здѣшніе (сообщаетъ духъ Зоръ) сами воспитывали дѣтей и толковали имъ только о томъ, чтобы были они честными людьми, храбрыми на войнѣ и твердыми въ перемѣнахъ счастія... Теперь же по прошествіи *варварскихъ* временъ, вздумали, что тотъ не можетъ быть хорошимъ гражданиномъ, кто не умѣетъ танцовать, прыгать, вертѣться, говорить по-французски цѣлый день, не затворяя рта въ бесѣдахъ. Къ такому воспитанію необходимо понадобились французы. Теперь не жалѣютъ ничего, чтобы сдѣлать дѣтей своихъ пріятными въ большомъ свѣтѣ, и для того учатъ ихъ хорошо кланяться, держать себя въ лучшемъ положеніи и не говорить здѣшнимъ языкомъ, но иностраннымъ“... Въ сатирѣ мысль Крылова высказана сжато, — въ комедіи же она развита на частныхъ примѣрахъ, наглядно показывающихъ нелѣпость и глупость неумѣстной французоманія.

Не можемъ не остановиться также на одномъ лицѣ, выведенномъ Крыловымъ въ „Урокѣ дочкамъ“,—на пронырливомъ Семенѣ. Это не тотъ уже слуга, съ которымъ мы встрѣчались выше, въ пьесахъ „Бѣшеная семья“, „Пирогъ“ и друг. Семенъ не лишенъ оригинальныхъ чертъ. Его предпріимчивость, умѣнье пользоваться удачно сложившимися обстоятельствами, его самозванство, мысль о которомъ является у него внезапно при вѣсти о слабости барышень, наконецъ, развязка, показывающая въ немъ робѣющаго плута, увлекшагося игрой не по силамъ, — всѣ эти черты, равно какъ и сходство положеній, даютъ какъ бы намекъ на героя первой русской комедіи — на Хлестакова.

Эта пьеса Крылова до сихъ поръ представляетъ интересъ для читателя, такъ какъ въ ней, несмотря на нѣкоторыя несомнѣнныя заимствованія у Мольера, отразился бытъ, жизнь современнаго автору общества; въ ней подмѣчены типическія черты недостатковъ и слабостей того вѣка и, помимо достоинствъ сценическихъ, о которыхъ мы выше уже упоминали, она важна, какъ пьеса нравоописательная. Конечно, въ ней Крыловъ не достигъ совершенства въ драматическомъ творчествѣ, но эта пьеса все-таки свидѣтельствуетъ о значительномъ прогрессѣ въ развитіи его дарованія.

Перетцъ.

Общность мотивовъ сатиры Крылова въ его журналахъ и басняхъ.

Очень долго съ догматическою самоувѣренностію повторяли у насъ да и теперь едва ли не повторяютъ ту общеизвѣстную мысль, что Крыловъ до 38-го года своей жизни (до 1806 г.) не понималъ настоящаго своего призванія, переходя отъ комедіи къ трагедіи, отъ оперы къ сатирѣ, бросаясь то къ театру, то къ журналистикѣ. Лишь послѣ перевода двухъ басенъ Лафонтена „Дубъ и трость“ и „Разборчивая невѣста“, когда Дмитріевъ посовѣтовалъ переводчику не покидать такого рода

поэзіи и раскрылъ, такъ сказать, глаза на его собственное призваніе, онъ вступилъ на прямую истинную дорогу, которая привела его къ безсмертію. Мнѣніе едва ли вѣрное. Характеръ сатиры, какимъ отличаются басни Крылова, ясно обозначился уже въ первыхъ его сочиненіяхъ. Въ перепискѣ волшебника Маликульмулька съ гномами Зоромъ, Буристономъ и др. дѣло идетъ, между прочимъ, о страшной суматохѣ, которую въ царствѣ Плутона произвела увлекавшаяся французскими модами жена его Прозерпина. Вся аллегорія этой сатиры, гдѣ духи и миѳологическія существа принимаютъ участіе въ дѣлахъ людей или раздѣляютъ ихъ пороки, очень напоминаютъ басню. Вмѣсто сходства, какое находимъ въ баснѣ между людьми и животными, здѣсь началомъ ироніи служитъ противоположность между міромъ духовъ и человѣческимъ. Въ „Почтѣ Духовъ“ аллегорія принимаетъ иногда и совершенно символическій характеръ басни. Такъ въ магазинѣ разговариваютъ между собою англійская шляпка, французскій токъ, покоевый (спальный) чепчикъ и блондовая косынка. Каждый изъ нарядовъ хвастаетъ своимъ преимуществомъ („П. Д.,“ пис. VI). Такимъ образомъ этотъ отрывокъ по своей формѣ прямо принадлежитъ уже къ разряду басенъ. Повѣсть „Каибъ“, помѣщенная въ „Зрителѣ“, представляетъ также аллегорію, въ которой современная истина скрыта подъ покровомъ разсказа о какомъ-то старинномъ восточномъ калифѣ. Въ этотъ разсказъ вводитъ уже настоящую басенку о томъ, какъ славный живописецъ нарисовалъ Венеру. Всѣ любовались картиною, а полотно, на которомъ такъ мастерски была нарисована богиня, вообразивъ себя причиною общаго восторга, вздумало хвалиться и чваниться. Во всемъ этомъ нельзя не узнать того сатиро-дидактическаго содержанія, которое впослѣдствіи въ басняхъ расширило только свою область и облечено въ художественную форму.

Поставивъ себѣ задачею — изобразить удаленіе общества отъ природы и разладъ дѣйствительности съ идеаломъ, самъ вдохновляется живымъ представленіемъ того идеала, печальное или смѣшное отпаденіе отъ котораго представляетъ общество, и насъ сатирическими своими картинами настраиваетъ къ тѣмъ же идеаламъ. Такая сатира можетъ рождаться только „въ душѣ возвышенной“ или „въ сердцѣ прекрасномъ“. Истинный сатирикъ вдохновляется не мелочными эгоистическими обидами и оскорбленіями, не побужденіями корыстной зависти или личной вражды; нѣтъ, его вдохновляетъ высокое чувство горячей любви къ добру и красотѣ, ко благу горячо любимой родины, къ счастію отечества и человѣчества. Яркія картины нравственной порчи общества выливаются изъ души, глубоко потрясенной тиной и мелочами опутавшей жизни, изъ прекраснаго сердца, много и долго болѣвшаго при видѣ попранія людьми ихъ человѣческаго достоинства, глубокаго отпаденія ихъ отъ своего долга, отъ своего нравственнаго назначенія, отъ идеала. Справедливо сказалъ Гоголь, что сатирическій поэтъ только съ виду кажется больше всѣхъ смѣется, а на самомъ дѣлѣ въ глубинѣ души онъ больше всѣхъ плачетъ. Да, истинный сатирикъ такой же

жаркій патріотъ, какъ и самый возвышенный поэтъ. Таковъ И. А. Крыловъ; такимъ является онъ предъ нами уже въ первыхъ еще юношескихъ, но уже ярко обнаруживающихъ высокій талантъ, сатирическихъ произведеніяхъ, которыми наполнялись издаваемые имъ журналы. Главная цѣль изданія этихъ журналовъ было патріотическое содѣйствіе къ утвержденію въ Россіи отечественныхъ нравовъ, доблестей, воспитанія, языка, который и въ то время въ высшемъ кругу нашего общества вытѣсняемъ былъ, къ стыду нашему, языкомъ французскимъ.

Въ одномъ мѣстѣ поэтъ жалуется, что сатира столько же дѣйствуетъ на злыхъ людей, сколько на лѣниваго осла брань и понуканья хозяина. Но изъ этого не слѣдуетъ заключать, что онъ склонялся на сторону тѣхъ, которые требовали въ сатирѣ прямого указанія на лица. Самыя названія выведенныхъ имъ типовъ (Звенигородъ, Припрыжкинъ, Бездыда, Неотказа и т. п.) уже показываютъ, что Крыловъ имѣлъ въ виду пороки общества во всей его массѣ, не затрогивая ничьей личности. Въ одномъ мѣстѣ онъ даже прямо указываетъ на этотъ характеръ своей сатиры. „Сатира есть камень, которымъ бросаютъ въ кучу безумныхъ; а вы знаете, что, бросая камень въ многолюдную толпу дураковъ, нельзя остеречься, чтобы въ кого не попасть“... Камень, дѣйствительно, попадалъ въ цѣль, потому что слишкомъ густа толпа безумныхъ.

И предметы первоначальной сатиры Крылова во многихъ отношеніяхъ тѣ же, какіе находимъ въ его басняхъ. Такъ онъ очень ядовито шутитъ надъ одописцами и одами. Въ повѣсти „Каибъ“ какой-то стихотворецъ разсказываетъ, что онъ написалъ оду визирю, въ надеждѣ получить за нее награду; но, къ сожалѣнію, этотъ визирь вскорѣ былъ повѣшенъ. Это не смутило одописца. Онъ представилъ свое твореніе непріятелю повѣшеннаго визиря, хотя въ немъ не было ни ума ни добродѣтели, и хотя за оды платили хуже, нежели за битыя стекла, и ода пришлась, какъ шелковый чулокъ, который всякій старается растягивать на свою ногу. Подобныя же насмѣшки встрѣчаются у Крылова и надъ идилліями. Каибъ, начитавшись эклогъ и идиллій, такъ заманчиво рисующихъ невинныхъ, счастливыхъ и беззаботныхъ пастуховъ и пастушекъ золотого вѣка, захотѣлъ самъ удостовѣриться въ ихъ завидномъ счастіи, искалъ счастливаго смертнаго, который наслаждается при своемъ стадѣ золотымъ вѣкомъ... И дѣйствительно увидѣлъ онъ на берегу рѣчки запачканное твореніе, загорѣлое отъ солнца, заметанное грязью, босоногое, такъ что калифъ усумнился было: человѣкъ ли это. Счастливый пастухъ размачивалъ въ ручейкѣ черствую корку хлѣба, чтобы лучше ее разжевать. Калифъ, узнавъ, что это тотъ именно пастухъ, котораго онъ искалъ и который долженъ былъ, наслаждаясь дарами золотого вѣка, прекрасно играть на рояли, но вмѣсто того глодалъ черствую корку хлѣба, желалъ узнать, по крайней мѣрѣ, гдѣ его пастушка? „Она поѣхала въ городъ съ возомъ дровъ и съ послѣднею курицей, чтобы, продавъ ихъ, было чѣмъ одѣться и не замерзнуть зимою“, отвѣчалъ пастухъ.

Правда, въ періодъ журнальной дѣятельности воображеніе Крылова не создало еще ни слоновъ ни орловъ, тѣмъ не менѣе поэтъ выводитъ на сцену и клеймитъ насмѣшкою тѣ же типы, какіе потомъ выведены имъ въ басняхъ подъ этими титлами. Въ лицѣ Каиба и Плутона онъ осмѣиваетъ людей, облеченныхъ грубою властію силы, тѣхъ „боговъ тунеядцевъ, которые не заслуживаютъ и фунта телятины, а пользуются такими жертвами, что могутъ жить богаче всякаго“, между тѣмъ какъ они дѣлаютъ народу болѣе зла, чѣмъ добра. „Нашъ хозяинъ самъ, продолжаетъ поэтъ, не болѣе, какъ шутъ на Олимпѣ, а за свое ремесло получаетъ болѣе дохода, нежели всѣ академіи вмѣстѣ“. Каибъ былъ очень остроуменъ и расчетистъ: „обыкновенно одного мудреца сажалъ, въ своемъ диванѣ, между десяти дураковъ и часто говаривалъ, что, для сохраненія добраго порядка, дураки по крайней мѣрѣ столь же нужны, какъ и умные люди. Онъ никогда не совѣтовался съ книгами, потому что онѣ по большей части писаны не калифами“. Созывая диванъ для совѣщанія о важнѣйшихъ дѣлахъ, „ибо Каибъ ничего не начиналъ безъ согласія своего дивана, онъ для избѣжанія споровъ, потому что былъ миролюбивъ, начиналъ свои рѣчи такъ: „Господа! я хочу того-то; кто имѣетъ на это возраженіе, тотъ можетъ свободно его объявить: въ ту же минуту онъ получитъ 500 ударовъ воловою жилою по пятамъ, а послѣ разсмотримъ его голосъ“. Не слышится ли въ этомъ ѣдкомъ разсказѣ и басня „Соловей и Кошка“ съ ея заключительнымъ стихомъ: „плохія пѣсни соловью въ когтяхъ у кошки“, и „Левъ на ловлѣ“ и проч., выраженныя съ неменьшею рельефностію и силою! Поэтому, когда Каибъ, наскучивъ властію, вздумалъ отправиться путешествовать инкогнито (невидимкою) и спросилъ объ этомъ мнѣніе визирей, то одинъ изъ нихъ отвѣчалъ: „Великій обладатель океана, самовластный повелитель извѣстныхъ земель и проч. Для такой мелкой словесной твари, какъ я, велико уже и то снисхожденіе, что ты попускаешь ей думать... Но солнце можетъ ли отъ земли заимствовать свѣтъ? Нѣтъ, великій обладатель правовѣрныхъ. Подобно и я не рожденъ ни думать, ни говорить предъ тобою, ниже знать, что ты думаешь!“ Палаты Каиба отличались необычайною роскошью; власти его нѣтъ предѣла; все передъ нимъ раболѣпствуетъ. Несмотря на все, онъ все болѣе скучаетъ. Смыслъ повѣсти ясенъ: ни пышность, ни богатство, ни униженіе подобныхъ себѣ людей не даютъ человѣку отрады.

Въ противоположность строгому Каибу Плутонъ довольно добрый воевода; къ несчастію состоитъ подъ башмакомъ у жены своей Прозерпины. А она увлекалась до помѣшательства французскими модами, французскими обычаями. И въ угоду дорогой супругѣ подземный владыка согласенъ отдать весь адъ во власть танцмейстера Фурбинія. „Что же можетъ болѣе льстить владѣтелю, какъ не то, чтобы заставить весь народъ почитать умною такую тварь, въ которой нѣтъ и золотника мозгу, а плутомъ человѣка, посвятившаго себя добродѣтели... Калигула сдѣлалъ свою лошадь сенаторомъ — и всѣ римляне оказывали ей наивозможнѣйшее уваженіе“.

Съ большимъ искусствомъ Крыловъ описываетъ пріемную знатнаго барина, гдѣ всякое утро бываетъ поклоненіе „глухому и сѣдому идолу, гдѣ нѣтъ ни одного лица, которое говорило бы то, что думало, не включая и самого этого божества, гдѣ, какъ въ аукціонной палатѣ, продаются съ молотка публичные достоинства“. Должность секретаря, по представленію Крылова, такова, что, получая 450 руб. годового жалованья, онъ можетъ проживать ежегодно по 12.000 руб. Гномъ Буристонъ долго искалъ по свѣту честнаго, добродѣтельнаго судью, наконецъ, встрѣтилъ такого, который принялъ сторону небогатой вдовы въ тяжбѣ ея съ богачомъ. Но Буристонъ все-таки усумнился въ его честности, тайкомъ закрался въ его кабинетъ и прочиталъ его письмо къ сыну. Честный судья такія правила внушалъ сыну: „Низко ходить на поклонъ къ своему судьѣ, говоришь ты? Какой вздоръ! Да я, братъ, и выросъ въ прихожей у своихъ командировъ, зато нынѣ и у себя въ прихожей людей выращиваю. Учтивость, другъ мой, шеи не вывихнетъ, а гордымъ и Богъ противится... Будто велика бѣда въ праздникъ сходить на поклонъ! Къ обѣднѣ, другъ мой, успѣешь сходить и отъ начальника, а если и некогда будетъ, то Богъ не взыщетъ... Богъ, по своей благости, проститъ, когда покаешься; а бояре, вѣдь, и покаянія не принимаютъ... Лучше было бы, если бы прогулялъ, не бывши въ приказѣ сто дней, нежели пропустить воскресенье, не постоявъ въ передней у своего покровителя. Всѣ мы собаки, Лентулушка, и всѣхъ насъ можно бить палками“. Этотъ судья, вѣрный своимъ правиламъ, рѣшаетъ дѣло въ пользу вдовы, потому что она сестра ключницы того начальника, у котораго служитъ его сынъ. Да и въ адъ къ Плутону большая часть судей приходитъ въ богатыхъ кафтанахъ, а тѣни челобитчиковъ нагія... Кто не узнаетъ въ этихъ типахъ такъ всѣмъ извѣстныхъ басенныхъ героевъ: болонки — Жужу, попавшей въ милость за искусное хожденіе на заднихъ лапкахъ, судьи — лисы съ пушкомъ на рыльцѣ и т. п.

Но съ особенною силою, согласно съ обстоятельствами, а еще болѣе съ духомъ времени, устремляетъ Крыловъ свою сатиру противъ безумной роскоши и мотовства, сильно развившихся подъ вліяніемъ моды. Тогда за связку соломы, по выраженію его, платили по 400 и 500 руб. Припрыжкинъ сдираетъ съ 400 душъ своихъ крестьянъ до 80.000 руб. для однихъ свадебныхъ нарядовъ. Разоренные крестьяне идутъ въ города вымещать свою потерю на ремесленникахъ; ремесленники вымещаютъ свое на купцахъ, а купцы на господахъ. „Города терпятъ недостатокъ, деревня — голодъ, граждане — дороговизну, а его сіятельство остается при новомодныхъ галантерейныхъ вещахъ, и празднуетъ нѣсколько дней великолѣпно свадьбу. Французы научили даже, какъ самихъ нашихъ крестьянъ превращать въ модные товары. Модные люди, запрягая табунъ лошадей, заставили себя возить въ ящикахъ, какъ возятъ на продажу деревенскіе мужики куръ, засыпали свои головы мукой — и теперь думаютъ о себѣ, что они въ просвѣщеніи перещеголяли всѣхъ европейцевъ. Но осмѣивая рабское подра-

жаніе модамъ и мотовство, Крыловъ ярко и ѣдко выставляетъ и разные обманы и плутни французскихъ модистокъ, устраивавшихъ тайныя свиданія въ своихъ лавкахъ, дармоѣдство французовъ — воспитателей, невѣждъ, незнавшихъ даже грамотѣ и т. п., и съ точностію высчитываетъ всѣ ущербы, наносимые нашему хозяйству модами. Касается нашъ поэтъ и многихъ другихъ сторонъ общественной порчи: женщина большого свѣта въ тотъ вѣкъ, по словамъ его, сравнена была съ голландскимъ сыромъ, который тогда только и хорошъ, когда попорченъ".

Но наибольшаго совершенства сатира Крылова достигаетъ въ „Похвальной рѣчи въ память дѣдушкѣ". („Зритель" 1792.) Онъ клеймитъ позоромъ тѣхъ праздныхъ дворянъ, которые, не мало не заботясь о пользѣ своихъ крестьянъ, проводили время въ однихъ грубыхъ забавахъ. „Дѣдушка, — говоритъ Крыловъ, — гоняясь за зайцемъ, свалился въ ровъ и раздѣлилъ смертную чашу съ гнѣдою своею лошадью прямо по-братски". Но не одною любовію къ охотѣ прославился онъ, а и тѣмъ, что умѣлъ въ недѣлю прожить то, что 2.000 подвластныхъ ему простолюдиновъ вырабатываютъ въ *годъ!* и успѣвалъ эти 2000 пересѣчь въ годъ раза два, три съ пользою... Подъѣзжая къ нему въ деревню и видя всѣхъ крестьянъ блѣдныхъ, умирающихъ съ голоду, страшимся, бывало, сами умереть за его столомъ голодною смертію... но, какое пріятное удивленіе! Садясь за столъ, находили мы богатство и изобиліе. Я не стану распространяться о понятіяхъ, взглядѣ на вещи и правилахъ жизни, какіе имѣлъ выведенный въ сатирѣ Крылова дѣдушка и какія проповѣдовалъ онъ сынку. Довольно сказать, что онъ стыдится той философіи, которая твердитъ, что всѣ мы дѣти одного Адама, и согласенъ лучше признать своимъ праотцемъ осла, нежели быть равнаго происхожденія съ слугами. Крестьяне для него „ниже его дворовыхъ животныхъ". Когда собачонка задира ущипнула его сынка, примѣрный родитель пожурилъ сынка: „Другъ мой! развѣ мало около тебя холопей, кого тебѣ щипать? Собака, не слуга! съ нею надобно осторожнѣе обходиться, если не хочешь быть укушенъ". Неудивительно, если при такихъ наставленіяхъ сынокъ „еще ребенкомъ царапалъ глаза и кусалъ уши своей кормилицѣ. Зато выросши онъ часто подъ вечерокъ, изъ толпы игроковъ, возвращался домой смирненько, безъ кафтана. Но онъ былъ незлопамятенъ и очень спокойно обѣдалъ тамъ, гдѣ наканунѣ били его за ужиномъ. „Все суета суетъ! заключалъ онъ обыкновенно и, обставясь дюжиною бутылокъ портеру, садился метать банкъ". Въ „три года обрилъ такъ чисто свои земли, что неустрашимѣйшіе зайцы могли въ нихъ искать одной только голодной смерти, а крестьяне пошли по міру". Приведенная сатира, совсѣмъ почти не имѣя басенной формы, по своей тонкой ироніи близка къ лучшимъ баснямъ Крылова.

Кажется, достаточно ясно показали мы, что начало такого направленія, которое съ такою художественностію развито Крыловымъ въ басняхъ, заключается въ его сатирахъ, наполнявшихъ издаваемые имъ

журналы, нѣкоторыя представляютъ даже первые опыты басни. Самая сатира его съ годами становится опредѣленнѣе и остроумнѣе, хотя дидактическій тонъ остается господствующимъ. Наконецъ, и самый языкъ Крылова запечатлѣнъ такою простотою и легкостію, какой почти не встрѣчаемъ въ то время. Въ этомъ отношеніи онъ предшественникъ Карамзина, Жуковскаго и Пушкина.

Если безспорно признано давно всею Россіею высокое значеніе — и общественное и художественное — басенъ Крылова, то и журнальная сатирическая дѣятельность его заслуживаетъ нашего глубокаго уваженія. И она, эта яркая, хотя подчасъ и ѣдкая картина общественныхъ недуговъ, какъ и басни, свидѣтельствуетъ о геніальности своего творца, и глубокой любви его къ Россіи, о горячемъ его патріотизмѣ. Да, И. А. былъ истинный сынъ Россіи, глубокій патріотъ, для котораго счастіе и слава отечества были дороже собственнаго счастія. Другъ Жуковскаго и Карамзина могъ ли онъ не быть истиннымъ другомъ Россіи. Изъ этой-то любви къ Россіи, изъ прекраснаго любящаго сердца излились эти яркія картины современныхъ недостатковъ роднаго общества, въ которыхъ съ возвышенно благородною цѣлію содѣйствія къ утвержденію въ Россіи отечественныхъ нравовъ, доблестей, воспитанія, языка, заклеймены они тѣмъ смѣхомъ, который, по словамъ Гоголя, достоинъ стать на ряду съ высокимъ лирическимъ пареніемъ.

И. А. Крыловъ жилъ въ такія времена, хотя и недалекія отъ насъ, когда правдолюбивому поэту, честному гражданину надо было облекать святую правду дѣйствительности въ аллегорическіе покровы сатиры и басни, чтобы не раздражить гусей. Времена тѣ прошли безвозвратно, но миновали ли тѣ нравы и обычаи, тѣ недостатки и слабости, которые, возмущая до слезъ душу безсмертнаго Крылова, диктовали ему художественныя картины сатиръ и басенъ? Какъ счастлива была бы Россія, если бы никто изъ живыхъ сыновъ ея не находилъ себя ни въ сатирахъ ни въ басняхъ Крылова, если бы ни для кого не служили они зеркаломъ и имѣли бы уже не значеніе живой, художественной картины того, что насъ окружаетъ, а значеніе лишь историческое геніальныхъ сатиръ на отжившіе пороки! Съ какою радостію примчался тогда духъ безсмертнаго Крылова въ нашу среду на торжественное празднованіе своей столѣтней годовщины!

Линниченко.

Сатирическіе журналы Крылова, какъ обширный прологъ къ его баснямъ.

Все, что только написалъ Крыловъ въ прозѣ въ „Почтѣ Духовъ“ (1789 г.), „Зрителѣ“ и „С.-Петербургскомъ Меркуріи“, я бы позволилъ себѣ назвать обширнымъ прологомъ къ художественнымъ его баснямъ, прибавивъ къ нему и двѣ комедіи, которыя, сравнительно съ другими, можно назвать лучшими („Модная лавка“, „Урокъ дочкамъ“). Эти прозаическія статьи почти всѣ до одной характера сатириче-

скаго; въ нихъ, изучающій Крылова, прежде всего желаетъ знать, какъ авторъ двухъ трагедій, принимаясь за сатирическіе журналы, смотритъ на поэзію положительнаго (важнаго) и отрицательнаго характера. Посѣщая, какъ страстный любитель, недавно открытый народный театръ, Крыловъ, вѣроятно, обращалъ вниманіе на ту надпись, которую зрители могли читать на занавѣсѣ: „Польза отъ слезъ и смѣха“. Не изъ подражанія, разумѣется, а по сходству въ пониманіи и Крыловъ также думалъ: и онъ высказывалъ такой же положительный, чисто русскій взглядъ на искусство и на трагедію и на комедію въ особенности. Иронически потакая свѣтскому предразсудку, въ одномъ разговорѣ онъ выводитъ актера, какъ шута, и вотъ какъ надѣляетъ его своимъ оригинальнымъ умомъ и остроумными замѣчаніями:

— Быть народнымъ шутомъ! Это очень тягостно!

— Напротивъ того весело. Лучше заставлять народъ смѣяться или принимать участіе въ мнимой своей печали, нежели заставлять его плакать худыми съ нимъ поступками. Есть шуты, которые очень дорого стоятъ народу, но мало его забавляютъ; а мы изъ числа тѣхъ, которымъ цѣна назначается отъ самихъ зрителей, по мѣрѣ нашего дарованія и прилежанія, а не происками и не по знатности покровителей; сверхъ же того, мы изъ числа тѣхъ шутовъ, которые не подвержены пороку публичной лести; мы и предъ самими царями говоримъ, хотя не нами выдуманную, однакожъ истину; между тѣмъ какъ вельможи, не смѣя предъ ними раскрывать философическихъ книгъ, „читаютъ только оды и надутыя записки о побѣдахъ“.

Въ томъ же разговорѣ Крыловъ выражаетъ совершенно своеобразныя понятія о сущности сатирическихъ сочиненій; особенно старается онъ поставить на видъ благотворное ихъ вліяніе на очищеніе общественной нравственности, и при этомъ высказываетъ ту справедливую мысль, что честная сатира, чуждая недостойныхъ личныхъ побужденій, самая лучшая помощница цивилизующаго правительства; она можетъ гораздо вѣрнѣе достигать своихъ благородныхъ цѣлей: „комедіантъ не имѣетъ случая сдѣлать несправедливаго суда, угнетать какимъ-нибудь откупомъ цѣлый городъ, проманивать по 20 лѣтъ бѣдныхъ просителей, не дѣлая ничего и живя ихъ имѣніемъ. Онъ можетъ поправить тѣ часто злоупотребленія, до которыхъ не достигаютъ законы, и которыя приносятъ государству болѣе вреда и разоренія, нежели самые хищные откупщики“.

Далѣе видно, что Крыловъ измѣняетъ трагедіи и явно предпочитаетъ сатирическій родъ сочиненіямъ важнаго характера; онъ самъ принимается за торжественныя оды, а между тѣмъ смотритъ на нихъ не только безъ сочувствія, но даже готовъ преслѣдовать идеальную, т.-е. реальную поэзію. Писать сатиру значитъ, по его мнѣнію, уловлять порокъ, и даже указывать на мелочи, чтобъ порицаемый могъ узнать себя; въ одѣ, напротивъ, можно нанизать сколько угодно похвалъ и поднести любому изъ вельможъ, „и нѣтъ визиря, который бы описанія всѣхъ возможныхъ достоинствъ не принялъ сколкомъ съ своей

высокой особы. Ода, какъ шелковый чулокъ, который всякій старается растягивать на свою ногу". Точно также нападаетъ онъ и на идиллію, ставя противъ вымышленнаго пастуха золотого вѣка дѣйствительнаго пастуха, горькаго бѣдняка, загорѣлаго отъ солнца, заметаннаго грязью, безъ свирѣли и безъ пастушки, потому что дѣйствительная-то пастушка, т.-е. жена этого горемыки, отправилась въ городъ продать возъ дровъ и послѣднюю курицу, чтобы прикрыть себя чѣмъ-нибудь и не замерзнуть отъ холода. Въ заключеніе авторъ даетъ себѣ слово не судить о счастіи поселянъ „по описанію стихотворцевъ".

Ясно показываютъ приведенныя мѣста, что прежняго трагика Крылова ужъ не видно; прочитавши „Филомелу", никто не скажетъ, чтобы онъ былъ истинный талантъ, и какъ будто у себя дома: откуда взялась необыкновенная для возраста наблюдательность (ему еще только 21 годъ), тонкій умъ и такой колкій сарказмъ. И читатель видитъ, что онъ, долго бродивши ощупью, выходитъ, по крайней мѣрѣ, на настоящую дорогу, хотя до мѣста истиннаго назначенія надо еще пройти необозримое пространство.

Ознакомившись съ положительнымъ, фактическимъ взглядомъ на искусство, замѣтивъ его явную симпатію къ поэзіи отрицательнаго характера, доходящую до несправедливаго пристрастія къ литературѣ противоположнаго направленія, посмотримъ, что онъ нашелъ дурного въ современномъ обществѣ.

Во-первыхъ. Онъ видитъ, что лучшее, или такъ называемое высшее образованное общество — совсѣмъ не русское; оно рабски благоговѣетъ предъ иностранцами, особенно передъ французами, и старается болѣе всего о томъ, какъ бы уподобиться этимъ благодѣтелямъ Россіи[1]):

„Французы растолковали намъ, что у насъ нѣтъ ничего необходимаго, и мы устыдились своего невѣжества. Насъ стали возить въ ящикѣ, какъ деревенскіе мужики возятъ куръ на продажу; мы посыпали голову мукой и думаемъ, что стали просвѣщеннѣе европейцевъ. Насъ посвятили въ тайны — превращать куля четыре муки въ посредственную англійскую шляпку и не менѣ кулей 10 на простыя серебряныя на ногахъ пряжки. Этого мало, насъ научили и людей превращать въ модные товары. Вельможа, украшенный драгоцѣнными бездѣлицами, внушаетъ великое о себѣ мнѣніе иностранцамъ; правда, отъ этого русскіе мужики умираютъ иногда съ голоду, но это бездѣлица... вотъ французъ — другое дѣло: что бы онъ ни натворилъ, не потеряетъ въ Россіи уваженія; за что тамъ пошлютъ его на галеры, за то у насъ назовутъ острякомъ. Особенно хорошо танцмейстеру: его принимаютъ лучше, чѣмъ заслуженнаго офицера... да и такъ и слѣдуетъ, потому что въ просвѣщенномъ свѣтѣ хорошія ноги въ бо́льшомъ уваженіи, нежели головы. Французы — истинные мастера разорять Россію модными товарами, рукодѣльемъ, особенно чесаніемъ волосъ и учитель-

---

[1]) Примѣры эти сведены изъ разныхъ мѣстъ.

ствомъ. Они воспитываютъ нашихъ дѣтей не для отечества, а собственно для себя, и плоды прекрасные: съ тѣхъ поръ какъ взяли подъ свое покровительство наше юношество, всякая наша дѣвушка въ 15 лѣтъ становится хитрѣе своей матушки и, смѣясь надъ скучнымъ предразсудкомъ бабушекъ, не останавливается передъ совѣстію.

Нарочно останавливаюсь на послѣднемъ тяжеломъ мѣстѣ: соціальный порокъ и та правда, которая слишкомъ больно колетъ глаза родителямъ и, надо признаться, смущаетъ читателя, далеко не такъ ядовита, а между тѣмъ еще поразительнѣе будетъ изображена въ оригинальной баснѣ, въ высшей степени художественной: „Кукушка и Горлинка“. Въ этой аллегорической картинѣ превосходно объяснены непочтеніе и нелюбовь дѣтей къ родителямъ, ввѣрявшимъ ихъ наемникамъ: Горлинка на жалобу Кукушки, которая клала яйца въ чужія гнѣзда, отвѣчаетъ:

Какой же хочешь ты и ласки отъ дѣтей?

Едва ли есть у Крылова другая басня, которая была бы исполнена такой неподражаемой граціи, и притомъ задумана такъ творчески-вѣрно, какъ „Горлинка и Кукушка“. Кто найдетъ въ природѣ, особенно въ царствѣ животномъ, настоящей родинѣ басни, другой лучшій примѣръ для изображенія безпечности родителей? Крыловъ, вскормленный народными поэтическими преданіями, указалъ именно на ту птицу, которая и гнѣзда для дѣтей не имѣетъ!

Всѣ эти плачевные образцы невѣжества, грубаго понятія о воспитаніи, неумѣнья уважать свое нравственное достоинство, вызывавшіе глубокое негодованіе честнаго писателя, превратятся потомъ въ самыя художественныя картины. Онъ олицетворитъ потомъ тѣ же самыя мысли въ образѣ „Змѣи“, которая приползла къ крестьянину съ предложеніемъ нянчить дѣтей. Въ другой баснѣ наглядным и вѣрнымъ сравненіемъ Крыловъ представляетъ слѣдствія дурныхъ внушеній: если разъ не усмотришь, какъ что-нибудь вредное войдетъ въ душу питомца, то послѣ, хватай онъ звѣзды съ неба, а въ поступкахъ и дѣлахъ будетъ отзываться, какъ „Бочка“ виномъ. Воспитаніе льва есть живописное изображеніе главной науки государей — знать свойства управляемаго народа и блюсти выгоды отечества. Сюда же можно отнести басню: „Червонецъ“, который отъ слишкомъ усерднаго тренія о кирпичъ и всякія полирующія вещи теряетъ свой природный вѣсъ и цѣнность.

Во-вторыхъ. Въ современномъ обществѣ русскомъ Крыловъ выставляетъ на видъ и неумолимо преслѣдуетъ неуваженіе къ человѣческому достоинству, непризнаніе истинныхъ заслугъ, величаніе знатностію рода, высокомѣріе и барскую спесь. „Сколько ни бредятъ философы, что мы братья и дѣти одного Адама, но благородный человѣкъ долженъ стыдиться такой философіи. Пусть кричатъ ученые, что вельможа и нищій имѣютъ подобное тѣло, душу, страсти, слабости и добродѣтели; если это правда, то тутъ не вина благородныхъ, а вина природы. Къ стыду ея и сожалѣнію нашему, не выдумала она ничего,

чѣмъ бы отличался нашъ братъ, дворянинъ, отъ мужика, и не прибавила намъ ни одного пальца, въ знакъ нашего преимущества предъ крестьяниномъ? Неужели она болѣе печется о бабочкахъ, нежели о дворянахъ? И мы должны привѣшивать шпагу, съ которою бы, кажется, надлежало намъ родиться. Вотъ болѣе 300 лѣтъ прошло, какъ въ родѣ Звениголова появился добродѣтельный и разумный человѣкъ, который надѣлалъ такъ много прекрасныхъ дѣлъ, что въ поколѣніи его не были уже болѣе нужны такія явленія... наконецъ появился Звениголовъ; онъ еще не зналъ, что̀ онъ такое, но уже благородная душа его чувствовала выгоды своего рожденія, и онъ на второмъ году началъ царапать глаза и кусать уши своей кормилицѣ. Въ этомъ ребенкѣ будетъ путь, сказалъ восхищенный отецъ, онъ еще не знаетъ толкомъ приказывать, но учится уже наказывать; по этому можно отгадать, что онъ благородной крови!“

Сколько такихъ встрѣчъ понадобилось автору, сколько ощущеній нужно было ему пережить, сколько образовъ лелѣяла его фантазія пока, наконецъ (1811) цѣлое поколѣніе, пораженное блестящимъ живописнымъ разсказомъ и худбжествомъ драматизма не начало повторять въ слѣдъ за Крыловымъ.

Предлинной хворостиной
Мужикъ гусей гналъ въ городъ продавать.

Въ-третьихъ. Крыловъ обнажаетъ и безпощадно преслѣдуетъ взяточничество, порокъ еще старой Руси, но и при немъ повсемѣстный, и при томъ едва ли не болѣе всѣхъ ему знакомый, потому что съ ранняго возраста онъ встрѣчался съ нимъ лицомъ къ лицу въ землѣ нашей, великой и обильной, въ самыхъ мелкихъ и въ самыхъ крупныхъ видахъ и во всемъ разнообразіи, въ соединеніи съ заискиваніемъ у низшихъ и съ угодливостію высшимъ. Вотъ письмо взяточника — судьи: онъ журитъ племянника за слишкомъ частое употребленіе буквы ѣ, двоеточій, запятыхъ и точекъ, пожалуй, скажутъ, не кстати умничаетъ. „Съ чего ты взялъ бросать службу. Да знаешь ли, что твой дѣдъ нажилъ болѣе 40.000 рублей; твой отецъ пріобрѣлъ большой каменный домъ въ четыре этажа. Да и ты, мой свѣтъ, доколѣ я тебя изъ этой службы не вытащу, или не будь надъ тобой мое благословеніе; а ты знаешь, что этимъ шутить дурно“.

„Низко ходить на поклонъ къ своему судьѣ! Да я, братъ, да и выросъ въ прихожей у своихъ командировъ; зато теперь и у себя въ прихожей людей выращиваю. Учтивость, мой другъ, шеи не вывихнетъ, а гордымъ и Богъ противится. Велика бѣда въ праздникъ сходить на поклонъ. Къ обѣднѣ, скажешь ты мнѣ. — Къ обѣдни, другъ мой, успѣешь и отъ начальника, а если некогда будетъ, то Богъ не взыщетъ: Онъ до насъ милостивъ и не прогнѣвается, если иногда прогуляешь обѣдню; а совѣтникъ станетъ сердиться, и можетъ за это отомстить“.

Весьма замѣчательно, что на обличеніе этого закоренѣлаго порока Крыловъ написалъ самое большое количество басенъ. Если взять всѣ

эти басни, поставить ихъ цѣлымъ рядомъ картинъ, отнять у нихъ забавный тонъ и веселую, игривую форму, уничтожить всѣ аллегоріи, превратить дѣйствующія лица въ людей, то невозможно будетъ смѣяться; внезапно вы будете поражены ужасною картиною неправосудія, грабительства, безправій, продажности, обмановъ: вотъ бѣдные крестьяне пришли къ „Большой рѣкѣ“ съ жалобой на ручьи и ручейки, и вдругъ видятъ, что половину расхищеннаго ихъ добра нáбольшая-то Рѣка несетъ на себѣ; а тамъ могучій Левъ разрываетъ на части добычу, налагаетъ лапу на всѣ четыре и грозитъ смертію тому, кто посмѣетъ итти противъ его силы. Посмотрите на этого беззащитнаго Ягненка, котораго сейчасъ растерзаютъ: онѣ виноватъ даже тѣмъ, что Волку захотѣлось кушать. Всѣмъ извѣстно, что овцы не ѣдятъ мясного, но послушайте, какъ судья-Лиса, наведя справки, читаетъ приговоръ за съѣденіе куръ:

Казнить овцу
И мясо въ судъ отдать, а шкуру взять истцу.

Тамъ благодушный Слонъ-воевода строго-на-строго приказываетъ всѣмъ... что же? Не брать съ овецъ больше одной шкуры! Здѣсь звѣри собрали дань Льву, и каждый сумѣлъ сдѣлать изъ ней запасъ на зиму. Какая горькая иронія слышится въ рѣшеніи закона: Овца властна схватить за шиворотъ обидчика Волка и представить его въ судъ! Здѣсь плотоядные звѣри, каясь въ грѣхахъ во время чумы, приговариваютъ Вола къ сожженію на кострѣ, а онъ согрѣшилъ меньше всѣхъ: только взялъ у попа съ воза небольшой клокъ сѣна. Тутъ слабая власть въ лицѣ повара безъ умолку разглагольствуетъ и увѣщеваетъ вора-Кота, а онъ подъ эту брань успѣлъ уже съѣсть все жаркое. Вотъ бѣжитъ Лиса и жалуется, что ее прогнали за взятки, тогда какъ она отъ усердія къ службѣ и не доѣдала и не досыпала; а въ этой теплой берлогѣ сосетъ лапу Медвѣдь, падкій къ меду и ждетъ погоды. Здѣсь строгіе судьи приговорили вора къ позорной казни; „этого мало“, говоритъ прокуроръ-Лиса, „утопить Щуку и бросить ее въ рѣку!“ Такъ раздается крикъ: это Волкъ, скликающій народъ: онъ увидѣлъ мышенка, утащившаго косточку, и кричитъ „караулъ“, а самъ съѣлъ почти цѣлую овцу. Савва, пастухъ изъ опальныхъ поваренковъ, въ горькой кручинѣ жалуется міру на страшнаго волка, который терзаетъ овецъ, а потомъ оказалось, что овецъ-то ѣлъ Савва. Всѣ хвалятъ Лису-строителя за огражденіе отъ воровъ, а куры между тѣмъ исчезаютъ. Тутъ самъ левъ поймалъ похитителя на мѣстѣ преступленія: онъ жарилъ рыбъ, и тѣ прыгаютъ на сковородѣ, но виновникъ нагло увѣряетъ: „Рыбы пляшутъ отъ радости, что видятъ царя звѣрей!“ Кажется, очевидно, что отъ такихъ объективныхъ описаній, аллегорическихъ картинъ и забавныхъ разсказовъ становится гораздо страшнѣе, нежели отъ всей „Почты Духовъ“, отъ „Зрителя“, отъ „С.-Петербургскаго Меркурія“ и отъ всѣхъ комедій Крылова. Чтобы сколько-нибудь успокоить возмущенное нравственное чувство, невольно спрашиваете вы: кто же спасется въ этой кромѣшной тьмѣ

беззаконій и войдетъ въ рай? Только одинъ нищій духомъ, тотъ сатрапъ, который жилъ растительною жизнію: пилъ, ѣлъ и спалъ и только подписывалъ все, что ни подавалъ ему секретарь!

Наконецъ, сатирическія статьи, названныя нами прологомъ къ баснямъ, сами по себѣ, какъ съ внутренней, такъ и съ внѣшней стороны представляютъ фазисы въ развитіи поэтическаго таланта Крылова. Въ первомъ значеніи онѣ отличаются крайне рѣзкимъ тономъ, безпощадностію обличенія и очевиднымъ преувеличеніемъ. На первомъ планѣ личное чувство автора: онъ не столько занятъ изображеніемъ предметовъ, сколько изліяніемъ собственныхъ ощущеній, которыя они возбуждаютъ въ немъ; читателя не столько поражаетъ вѣрная картина пороковъ, сколько негодованіе самого сатирика, ѣдкая его насмѣшка, иногда аттическая иронія и ядовитый сарказмъ: „Чѣмъ болѣе живу между людьми, тѣмъ больше кажется мнѣ, будто я окруженъ безчисленнымъ множествомъ куколъ, которыхъ самая малая причина заставляетъ прыгать, кричать, плакать и смѣяться. Знатная барыня заплачетъ — и въ ту же минуту всѣ лица вокругъ нея сморщатся; большой баринъ улыбнется — и вдругъ собранныя вокругъ его машинки на красивыхъ каблучкахъ зачинаютъ хохотать во все горло. Никто не дѣлаетъ ничего по своей волѣ, но всѣ какъ будто на пружинахъ, которыми движутъ такія же машины: „свѣтская благопристойность, щекотливая честь, обряды и моды“. Воззрѣнія эти на жизнь и людей возвышаются иногда до мрачнаго трагическаго паѳоса: „всѣ жалуются, всѣ толкуютъ, что жить нечѣмъ: у всѣхъ недостатокъ въ необходимости“, и всѣ говорятъ, что будто приближается послѣдній вѣкъ; а я такъ думаю, что свѣта преставленіе давно уже было, и что люди всѣ померли, а остались однѣ только машины, которыя думаютъ, будто онѣ дѣйствуютъ“...

Въ 1792 г. Крыловъ почти отступается отъ сатиры, точно такъ какъ нѣкогда оставилъ онъ трагедію; вотъ почему нельзя не обратить вниманія на высказанную имъ мысль: „пиши такъ, чтобы всякій улыбался, читая твои писанія, иные бы краснѣли, но чтобы на тебя не сердился никто: это-то и есть искусство сатиры“. Здѣсь Крыловъ начинаетъ уяснять собственный свой талантъ: вмѣсто личныхъ чувствъ — осмѣянія слабостей и негодованія къ пороку — что и составляетъ сущность сатиры — онъ уже стремится стать въ положеніе живописца, котораго бы не видно было за картиной, требуетъ описанія, т.-е. вѣрнаго изображенія дѣйствительности, а не изліяній душевныхъ. Итакъ, съ внутренней стороны, мы видимъ не только переходъ отъ лирическаго вдохновенія, отъ выраженія личныхъ чувствъ къ эпическому изображенію явленій жизни, но и постепенное движеніе таланта къ уразумѣнію истиннаго своего назначенія. Уже въ басняхъ, и только тамъ, Крыловъ высказываетъ съ совершенною ясностію, какое настроеніе души необходимо ему для того, чтобы геній его могъ принять смѣлый полетъ и явиться во всей полнотѣ, во всей силѣ поэтическаго творчества. Это сознаніе онъ высказалъ, когда уже написалъ почти 90 басенъ и

когда онъ, можно сказать, царствовалъ уже въ этой области поэзіи, именно — въ трехъ знаменательныхъ словахъ аполога „Волкъ и Лисица“ (1816 г.):

Истина сноснѣе вполоткрыта.

Не даромъ ихъ написалъ на портретѣ профессоръ Волковъ, изобразившій Крылова на 44-мъ году жизни, въ моментъ эпическаго вдохновенія, глубоко спокойнаго созерцанія явленій жизни, которыя шумною, разнообразною толпою несутся мимо, отражаясь на зеркальной поверхности его невозмутимой фантазіи. На этомъ лицѣ, вдохновленномъ олимпійски-спокойно, художникъ изобразилъ всю сущность, весь характеръ поэзіи Крылова, изобразилъ именно такъ, какъ долженъ опредѣлить ихъ ученый критикъ.

Съ другой, внѣшней стороны, невольно обращаетъ на себя вниманіе мѣняющаяся разнообразная форма сатирическихъ сочиненій: то повѣствовательная, то драматическая: или оживленный разсказъ, или группа разговаривающихъ лицъ. У богатаго именинника ведутъ бесѣду случайные пріятели: вельможа Припрыжкинъ, съ головы до ногъ офранцуженный, горой стоитъ за отечество и превозноситъ любовь къ нему, купецъ Плуторѣзъ хвалитъ безкорыстіе; судья Тихокрадовъ выше всего ставитъ честь, но всѣ, въ томъ числѣ и капитанъ Рубакинъ, желаютъ ослабить законы, уже слишкомъ строгіе къ мошенникамъ.

Итакъ Крыловъ, подмѣчая общественные пороки, облекалъ ихъ въ прозрачные имена и характеры; отсюда Вѣтродумы, Промоты, Подлоны и т. д.; этого мало, въ первомъ своемъ журналѣ онъ уже начинаетъ переходить въ тотъ видъ поэзіи, который далъ ему безсмертіе, т.-е. въ басню: забравшись невидимкой гномъ слышитъ разговоръ: наперерывъ хвалятся преимуществами и знаніемъ житейскихъ тайнъ англійская шляпка, французскій токъ, покоевый чепчикъ и блондовая косынка. Въ той же „Почтѣ Духовъ“ у Крылова выводятся на сцену хвастливое полотно, на которомъ изображена Венера, и насмѣшливый паукъ, раскинувшій на немъ свою сѣть. Для меня это явленіе въ литературной жизни Крылова въ высшей степени замѣчательное: случайно напасть на свою дорогу на 22-мъ году жизни, потомъ сойти съ ней, и около 40 лѣтъ отъ роду не снова попасть, а быть поставленнымъ на ней, и уже не сходить съ нея! Поэтъ какимъ-то художественнымъ инстинктомъ обнаружилъ свою природу: еще тогда талантъ его изъ оковъ школы пробивался на вольный воздухъ, стоялъ у самаго входа въ міръ аллегорій, разнообразнаго царства растеній и животныхъ, откуда Крыловъ переселитъ ихъ всѣхъ въ русскую своеобразную землю, надѣлитъ свойствами русскаго человѣка и одаритъ народной русской рѣчью. *Селинъ.*

„Почта Духовъ“.

Въ концѣ 1788 г. прочли въ „Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“, что въ книжной лавкѣ на Милліонной раздаются безденежно подробныя печатныя объявленія о вновь предпринятомъ ежемѣсячномъ изданіи: „Почта Духовъ“, или ученая, нравственная и критическая переписка арабскаго философа Маликульмулька съ водяными, воздушными и подземными духами“. Дѣйствительно, съ слѣдующаго года Крыловъ сталъ ежемѣсячно издавать по книжкѣ этого журнала, который, впрочемъ, какъ и всѣ другіе тогдашніе сборники этого рода, только по своему періодическому появленію и можетъ заслужить такое названіе. Въ содержаніи ничего свойственнаго журналу не было, кромѣ развѣ повторявшихся довольно часто выходокъ противъ того или другого современнаго сочиненія или автора.

Въ концѣ извѣщенія, приложеннаго къ 1-й книжкѣ сборника Крыловъ извиняется, что она вышла не въ срокъ. „Слухъ-де носится— говоритъ онъ — что нѣкоторые изъ издателей собираютъ по подпискамъ деньги и прячутся съ ними, не издавая обѣщанныхъ книгъ, или когда и выдаютъ, то въ теченіе изданія прерываютъ оныя, нимало не страшася справедливаго порицанія публики; а потому-де онъ, издатель сихъ листовъ,... паче тѣмъ, что по обѣщанію своему не выдалъ перваго сего мѣсяца (т.-е. первой книжки) къ 1 числу января и очень можетъ быть подозрителенъ; то въ оправданіе себя увѣряетъ, что онъ... не на корыстолюбіи основалъ свое предпріятіе, но къ удовольствію, а если можно, и къ пользѣ своихъ соотечественниковъ. Неисполненіе же обѣщанія случилось по непривычному еще его искусству въ Гадательной Наукѣ, отъ чего не могъ онъ предузнать послѣдовавшихъ обстоятельствъ, намѣренію его воспрепятствовавшихъ; но впредь обѣщается въ исходѣ каждаго мѣсяца во все теченіе года выдавать изданія сего по одной книжкѣ, переплетенной въ бумажку“.

Если „Почта Духовъ“ Крылова съ внѣшней стороны отзывалась подражаніемъ, то, спрашивается, не было ли того же и въ содержаніи? Важно и любопытно опредѣлить внутреннее отношеніе ея къ прежнимъ сатирическимъ журналамъ. Сравнивая съ ними „Почту Духовъ“, мы находимъ, что она часто преслѣдовала тѣ же недостатки, на которые они нападали, напр. французское воспитаніе, пустоту и мотовство щеголей, или, какъ ихъ тогда называли, „петиметровъ“, спесь и невѣжество дворянъ, взяточничество и казнокрадство, порочность судей, произволъ и т. п. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, нельзя не замѣтить, что тогда какъ прежніе журналы, выставляя, главнымъ образомъ, бытовую сторону общества, ограничивались описаніемъ существовавшихъ золъ, Крыловъ заглядывалъ въ ихъ причины, обнажалъ нравственныя язвы, изъ которыхъ они проистекали. У него сатира глубже, рѣзче и разнообразнѣе. Она обнимаетъ всѣ слои общества, всѣ сословія и потому принимаетъ характеръ вполнѣ общественный. Къ этому надобно прибавить и то, что̀ зависитъ собственно отъ таланта писателя: Козицкій,

Новиковъ, Эминъ и др. были только умными наблюдателями, Крыловъ является уже возникающимъ художникомъ. Въ немъ уже виденъ эпическій разсказчикъ, часто облекающій мысль въ выпуклый или яркій образъ. „Почта Духовъ“ представляетъ намъ пеструю картину свѣта, въ которой сцена безпрестанно мѣняется, и передъ нами проходятъ всѣ страсти, всѣ темныя и смѣшныя слабости человѣчества.

Во „Вступленіи“ къ „Почтѣ Духовъ“ Крыловъ разсказываетъ, будто онъ, однажды, въ ненастный осенній день, возвращался разсерженный отъ его превосходительства г. Пустолоба, къ которому восемь мѣсяцевъ ходилъ по одному дѣлу и который въ 115-й разъ очень учтиво просилъ его пожаловать завтра (черта нравовъ, которую вообще любитъ выставлять наша старинная сатира). Тутъ является вдругъ волшебникъ, ученый и знатный Маликульмулькъ; онъ беретъ автора къ себѣ въ секретари, превращаетъ полуразвалившійся домъ въ богатыя хоромы и даритъ ихъ новому своему знакомцу, но вмѣстѣ объявляетъ, что только самъ жилецъ будетъ наслаждаться ихъ пышностью; всѣмъ же гостямъ его эти комнаты будутъ казаться такими же какъ были, т.-е. пустыми сараями. „Оставь, другъ мой, думать людей“, говоритъ волшебникъ, „что ты бѣденъ, и наслаждайся своимъ богатствомъ: истинное состояніе человѣка не потому называется богатымъ или бѣднымъ, какъ другіе о томъ думаютъ, но потому, какъ онъ самъ себя почитаетъ“. Авторъ, поразмыслявъ, согласился съ этимъ мнѣніемъ. „Итакъ“, говоритъ онъ, „я рѣшился остаться въ томъ домѣ: пусть люди будутъ меня почитать бѣднымъ; что мнѣ до того за нужда! Довольно, если я для себя кажусь богатымъ“. Здѣсь уже выразилась сущность практической философіи Крылова, реализмъ его житейской мудрости, которому онъ навсегда остался вѣренъ.

Мы не послѣдуемъ за Крыловымъ въ письмахъ невидимыхъ корреспондентовъ Маликульмулька; но извлечемъ изъ нихъ, въ сокращенномъ видѣ, нѣсколько характеристическихъ разсказовъ, которые познакомятъ насъ со взглядами молодого писателя на русское общество. Увидимъ при этомъ, что притча уже тогда была любимой формой сатиры Крылова. Но мы не должны забывать, что его сатира относится къ давнопрошедшему времени: если она не всегда примѣнима къ настоящему, тѣмъ лучше для насъ, потомковъ сатирика. Его современники, находя въ ней личные намеки, могли оскорбляться ею: для насъ она утратила эту сторону своей язвительности.

Богатый купецъ Плуторѣзъ[1]) угощаетъ на своихъ именинахъ вельможу, трехъ придворныхъ и нѣсколькихъ начальниковъ города. За роскошнымъ обѣдомъ вельможа выхваляетъ любовь къ отечеству, судья ставитъ выше всего честь, купецъ хвалитъ безкорыстіе; всѣ же согласны въ томъ, что законы слишкомъ строго наказываютъ за плутовство и что надобно смягчить ихъ жестокость. Вельможа обѣщаетъ

[1]) „Почта Духовъ“ ч. I, стран. 107 (письмо 11). Представляя здѣсь сокращенно содержаніе нѣкоторыхъ писемъ, удерживаю языкъ подлинника только въ той мѣрѣ, въ какой это соединимо съ моей цѣлью.

подать голосъ объ уничтоженіи увѣчныхъ и смертныхъ наказаній, которымъ подвергаются плуты и грабители, за что многіе изъ гостей, а особенно судья Тихокрадовъ и самъ хозяинъ Плуторѣзъ, очень его благодарятъ. Потомъ рѣчь заходитъ о хозяйскомъ сынѣ и выборѣ ему рода службы. Каждый изъ гостей предлагаетъ вывести его въ люди въ томъ званіи, къ которому самъ принадлежитъ. „Другъ мой“, сказалъ придворный, „оставь это на мое попеченіе: изъ дружбы къ тебѣ я не совѣщусь занимать у тебя деньги и быть должнымъ, а потому ты не можешь сомнѣваться въ участіи, какое я принимаю въ судьбѣ твоего сына. Дѣло только въ томъ, чтобъ ты далъ мнѣ въ руки 20 т., которыя будутъ употреблены въ его пользу: я помѣщу его имя въ списокъ отборнаго военнаго корпуса, сдѣлаю его дворяниномъ и потомъ пристрою его ко двору... Сколько же такое состояніе блистательно, ты самъ это знаешь, и надобно только имѣть глаза, чтобы видѣть насъ во всемъ великолѣпіи, на усовершеніе котораго портные, брильянтщики и др. художники истощаютъ все свое искусство, чтобы тѣмъ показать цѣну нашихъ достоинствъ и дарованій. Богатыя одежды, сшитыя по послѣднему вкусу, прическа, пристойная сановитость, важность и уклончивость, соразмѣрныя времени, мѣсту и случаю, возвышеніе и пониженіе голоса, походка, пріемы и тѣлодвиженія отличаютъ насъ въ нашихъ заслугахъ и составляютъ нашу службу. Грамоты предковъ нашихъ явно всѣмъ доказываютъ, что кровь, текущая въ нашихъ жилахъ, издавна преисполнена была усердіемъ къ пользѣ отечества, а наши ливреи и экипажи неложно свидѣтельствуютъ о важности нашихъ чиновъ въ государствѣ. Правда, что философы почитаютъ насъ мучениками, однакожъ это несправедливо, зато и мы ихъ считаемъ безумцами, которые пустою тѣнью услаждаютъ горестную и бѣдную свою жизнь. Итакъ, другъ любезный, что тебѣ стоитъ 20 т.? Не сущая ли бездѣлка въ сравненіи съ тѣмъ счастіемъ твоего сына, которое я сильнѣйшимъ своимъ предстательствомъ обѣщаю ему доставить, а знакомые мои танцмейстеръ, актеръ, портной и парикмахеръ, въ короткое время пособятъ мнѣ сдѣлать изъ твоего сына блистательную особу въ большомъ свѣтѣ!“ Въ свою очередь другой гость, драгунскій капитанъ Рубакинъ, совѣтуетъ Плуторѣзу записать сына въ военную службу. По его мнѣнію, это первѣйшее въ свѣтѣ состояніе: военному человѣку нѣтъ ничего непозволеннаго; ему нуженъ больше лобъ, нежели мозгъ, а иногда больше нужны ноги, нежели руки. Затѣмъ въ разговоръ вмѣшивается судья Тихокрадовъ и, улыбаясь, возражаетъ Рубакину: „Я могу коротко сказать, что службѣ моей обязанъ я знатнымъ доходомъ, состоящимъ изъ 10 т.; вступая же въ нее, не имѣлъ я ни полушки, итакъ, одно это довольно могло бы доказать, что перо гораздо полезнѣе шпаги... Статскій человѣкъ имѣетъ еще то преимущество, что, не подвергая себя видимой опасности, какой подвергается воинъ, можетъ ежедневно обогащать себя и присвоивать вещи съ собственнаго согласія ихъ хозяевъ, которые за немалое еще удовольствіе себѣ поставляютъ служить ими

и почитаютъ за отмѣнную къ нимъ благосклонность, если отъ нихъ такія вещи принимаешь. Сверхъ того, статскій человѣкъ можетъ производить торгъ своими рѣшеніями точно такъ же, какъ и купецъ, съ тою только разницею, что одинъ продаетъ свои товары по извѣстнымъ цѣнамъ на аршины или на фунты, а другой измѣряетъ продажное правосудіе собственнымъ своимъ размѣромъ и продаетъ его, сообразуясь съ обстоятельствами. Если вы скажете, что все это не позволено законами, то, по крайней мѣрѣ, должны признаться, что въ свѣтѣ обыкновенія столь же сильны, какъ и самые законы". Наконецъ, рѣчь заводитъ находящійся тутъ же въ числѣ гостей художникъ Трудолюбовъ. „Любезный Плуторѣзъ", говоритъ онъ хозяину, „если ты хочешь доставить сыну своему счастіе какимъ-нибудь художествомъ, то или пошли его для работы въ чужіе краи, или не вели ему ни за что приниматься, потому что здѣшніе жители своихъ художниковъ и ихъ работу ни за что почитаютъ, а уважаютъ одно привозимое изъ-за-моря". — „Нѣтъ, милостивые государи", сказалъ хозяинъ, „я свое состояніе всѣмъ прочимъ предпочитаю и оставлю навсегда въ немъ своего сына. Правда, я не дворянинъ, но деньги все мнѣ замѣняютъ!" Я увидѣлъ, заключаетъ сатирикъ, что онъ говоритъ правду; потому что, процвѣтая въ избыткѣ, живетъ онъ какъ маленькій царёкъ!

Мы видѣли, что одинъ изъ гостей выразилъ глубокое презрѣніе къ философамъ, т.-е. къ людямъ мысли и слова. Какъ, впослѣдствіи, въ своихъ басняхъ, такъ уже и въ прозаической сатирѣ, Крыловъ является горячимъ поборникомъ просвѣщенія. Но хотя онъ и часто съ ироніей отзывается о незавидномъ положеніи писателя въ тогдашнемъ обществѣ, о неуваженіи дворянъ, военныхъ и вельможъ къ умственному труду, однакожъ не надобно думать, чтобъ онъ оставлялъ въ покоѣ тотъ классъ людей, къ которому самъ принадлежалъ, т.-е. пишущую братью вообще, разумѣя и литераторовъ и ученыхъ. Если бъ, говоритъ онъ, авторы, вмѣсто изслѣдованія различныхъ состояній, захотѣли вникнуть только въ состояніе ученыхъ и философовъ, то и тогда могли бы примѣтить, какъ далеко простирается слабость человѣческаго разума[1]). Онъ жалѣетъ, что большая часть ученыхъ руководствуются болѣе тщеславіемъ и славолюбіемъ, нежели искреннимъ желаніемъ распространять добро и истину. Особенно же упрекаетъ онъ ихъ въ томъ, что каждый старается превозносить до небесъ ту науку, которою самъ занимается, и желалъ бы при прославленіи ея помрачить всѣ другія науки. Ученые думаютъ, продолжаетъ онъ, что если люди будутъ болѣе уважать ту науку, въ которой они себя отличили, то чрезъ то и къ нимъ самимъ будутъ имѣть больше почтенія; философъ увѣренъ, что чѣмъ болѣе философія будетъ въ почетѣ, и онъ болѣе будетъ уважаемъ. Историкъ, стихотворецъ и риторъ такія же имѣютъ мысли. Однакожъ, въ заключеніе, Крыловъ проситъ снисхож-

[1]) „П. Д." ч. II, письмо 40.

денія къ ученымъ, потому что соревнованіе, которое они одинъ противъ другого чувствуютъ, поощряетъ ихъ производить многія прекраснѣйшія творенія. А притомъ, прибавляетъ онъ, надобно сказать и то, что не всѣ ученые люди любовь къ славѣ и странное желаніе, чтобъ о нихъ съ похвалою говорили, простираютъ до крайности. Хотя совершенная правда, что всѣ жаждутъ безсмертія, однакожъ не всѣ къ достиженію его употребляютъ одинакіе способы, и не всѣ желаютъ его купить за одинаковую цѣну.

Въ современной ему литературѣ Крыловъ не разъ клеймитъ насмѣшкою тѣхъ мнимыхъ сочинителей, которые, въ сущности, не что иное, какъ плохіе переводчики[1]). Описывая сцену въ книжной лавкѣ, критикъ, послѣ ухода дѣйствующихъ лицъ, спрашиваетъ книгопродавца, который жаловался на худой сбытъ своего товара: „Отчего же здѣсь мало хорошихъ книгъ?“ — „Оттого, сударь, отвѣчалъ тотъ, что здѣсь множество авторовъ занимаются не тѣмъ, чтобъ что-нибудь написать, но чтобы что-нибудь напечатать и поспѣшить всенародно объявить, что они невѣжи. Страсть къ стихотворству здѣсь сильнѣе нежели въ другихъ мѣстахъ, но страсти къ истинѣ и къ красотамъ очень мало въ сочинителяхъ; оттого-то здѣсь нѣтъ хорошихъ книгъ, но множество лавокъ завалено бреднями худыхъ стихотворцевъ!“

Между своими собратьями-писателями Крыловъ бичуетъ не только бездарныхъ одописцевъ и вообще пристрастныхъ льстецовъ, скрывающихъ пороки своихъ единоземцевъ, но и тѣхъ, по его словамъ, гнусныхъ сатириковъ, которые бранятъ свое отечество безъ всякой другой причины, кромѣ желанія показать остроту своего пера[2]). То же патріотическое чувство, которое выразилось въ этихъ словахъ, заставляло Крылова преслѣдовать съ особенною настойчивостью то легкомысліе, съ какимъ русское общество, прельстясь обманчивымъ лоскомъ французскаго образованія, надолго отдалось въ руки западно-европейскихъ выходцевъ. Извѣстно, какое значеніе французы пріобрѣли у насъ тогда въ общежитіи, въ воспитаніи и въ торговлѣ. Эта сторона русскихъ нравовъ сдѣлалась одною изъ любимыхъ темъ Крылова во всѣхъ его сатирическихъ сочиненіяхъ. Къ моднымъ лавкамъ, часто служившимъ притонами порчи нравовъ и всякаго обмана, возвращался онъ часто и, наконецъ, посвятилъ этому предмету извѣстную комедію. Послѣдствія французскаго воспитанія выставлены имъ въ комедіи „Урокъ дочкамъ“, а позже и въ нѣкоторыхъ изъ лучшихъ его басенъ. Противъ этого зла направлены также многія мѣста „Почты Духовъ“. Французы, по его замѣчанію[3]), удивляются просвѣщенному вкусу туземцевъ, но смѣются имъ въ глаза и собираютъ съ нихъ деньги; они принудили здѣшнихъ писателей, не объявляя имъ войны и не имѣя никакихъ къ тому правъ, платить себѣ столь тяжкую подать, какой не собиралъ Римъ съ своихъ подвластныхъ народовъ во время коры-

[1]) „П. Д.“ ч. II, письмо 30.
[2]) „П. Д.“ ч. I, п. 9.
[3]) „П. Д.“ ч. II, п. 39.

столюбивѣйшихъ своихъ правителей. Это политическое покореніе туземцевъ французами, пишетъ Крыловъ, такъ хитро произведено въ дѣйство, что я не могу этого разобрать подробно. Образчикомъ ихъ нахальства и болтовни выставленъ парикмахеръ[1]). „Едва успѣлъ онъ взять въ руки гребенку, какъ заговорилъ о политикѣ. Онъ перебиралъ правительства разныхъ народовъ, дѣлалъ заключенія, давалъ рѣшенія и съ такою же легкостію вертѣлъ государствами, какъ пудреною кистью. Вся министерія была ему открыта; и когда дѣло доходило до утвержденія какихъ-нибудь изъ его рѣшеній, тогда этотъ незастѣнчивый человѣкъ, нимало не краснѣя, говорилъ, что съ такимъ и такимъ его мнѣніемъ согласенъ такой-то министръ, такой-то сенаторъ и такой-то генералъ, которымъ онъ чешетъ головы. Онъ увѣрялъ о себѣ безстыднымъ образомъ, что многіе вельможи, производя при немъ ежедневно сокровеннѣйшія дѣла государства, нерѣдко совѣтуются съ нимъ о важнѣйшихъ пунктахъ министеріи и часто дѣлаютъ свои рѣшенія по его мнѣніямъ".

Достойнымъ ученикомъ подобныхъ господъ, изъ которыхъ многіе попадали въ Россію съ галеръ или изъ-подъ висѣлицы, является въ „Почтѣ Духовъ" русскій салонный щеголь графъ Припрыжкинъ[2]). Этотъ 20-лѣтній повѣса проводитъ всю свою жизнь въ шалостяхъ, которыми утѣшаетъ своихъ родителей, плѣняетъ женщинъ, разоряетъ легковѣрныхъ заимодавцевъ и т. д. Тѣмъ не менѣе, во многихъ знатныхъ домахъ его уважаютъ и удивляются его разуму, учености и дарованіямъ; часто ничего не значащее привѣтствіе, сказанное имъ, почитаютъ за острое слово, и если онъ улыбается, то всѣ начинаютъ хохотать во все горло, ожидая терпѣливо, когда онъ откроетъ причину своей улыбки. Съ такими качествами Припрыжкину легко было сдѣлаться женихомъ богатой невѣсты. Онъ отправляется за покупками къ свадьбѣ; его сопровождаетъ сатирикъ, который и разсказываетъ объ этой прогулкѣ по Гостиному двору. Одинъ купецъ объясняетъ имъ причину дороговизны, въ которой полагается главное достоинство товара: Его сіятельство, говоритъ онъ, вздумалъ жениться: ему необходимо запастись множествомъ мелочей; деньги на нихъ онъ долженъ взять съ своихъ 400 душъ крестьянъ. Въ одну минуту посылаетъ онъ приказъ: собрать съ нихъ къ будущему году 80 тыс. руб. Мужики, не надѣясь хлѣбопашествомъ доставить своему господину такую сумму, оставляютъ свои селенія и бредутъ въ города, гдѣ, обыкновенно, можно выработать болѣе денегъ; вмѣсто сохи и бороны, берутъ они лопаты и топоры, становятся каменщиками, плотниками и разносчиками, днемъ работаютъ, а по ночамъ, чтобъ лучше собрать свой оброкъ, взыскиваютъ его съ прохожихъ... Отъ такихъ-то гостей становится все дорого. Мужики стараются вымещать это на ремесленникахъ, ремесленники на купцахъ, купцы на господахъ, а господа опять принимаются за своихъ крестьянъ. Къ концу

---

[1]) „П. Д." ч. I, п. 9.
[2]) „П. Д." ч. I, п. 9 и 17.

года крестьяне возвращаются въ свои жилища съ деньгами, отдаютъ 80 тыс. руб. господину, а на остальные 10 тыс. посылаютъ въ городъ купить себѣ хлѣба, котораго становится мало до будущаго года. Итакъ, города терпятъ недостатокъ, деревни голодъ, граждане дороговизну, а его сіятельство остается при новомодныхъ галантерейныхъ вещахъ, и празднуетъ нѣсколько дней великолѣпно свадьбу съ своею почтенною невѣстою, которая, съ своей стороны, щегольствомъ такую же приноситъ пользу государству".

Отыскивая всему мѣсто въ движеніи общественнаго строя, сатирикъ не забываетъ и значенія женщинъ. „Женщины играютъ въ политикѣ не малое лицо: онѣ движутъ всѣми пружинами правленія и черезъ нихъ дѣлаются самыя большія и малыя дѣла. Хотя ты съ перваго взгляда и подумаешь, что мужчины всѣмъ правятъ, а женщины ничего не значатъ, но очень ошибешься и, посмотря хорошенько, увидишь, что мужчины не что иное, какъ ходатаи и правители ихъ дѣлъ и исполнители ихъ предпріятій"[1]). Эти слова взяты изъ разговора Плутона съ Прозерпиной. Калигула — говоритъ она между прочимъ — сдѣлалъ свою лошадь сенаторомъ, и всѣ римляне оказывали ей наивозможнѣйшее уваженіе. Теперь этому смѣются, не примѣчая, что потомки калигулина коня, не теряя своей знатности, размножаются по свѣту. Можетъ-быть, будущіе вѣка будутъ также смѣяться нынѣшнему вѣку, какъ этотъ прошедшему. Обыкновенно, такимъ образомъ, новые вѣка хохочутъ надъ дурачествами старыхъ, получая оныя отъ нихъ себѣ въ наслѣдство; послѣдній вѣкъ только одинъ можетъ похвалиться, что не будетъ осмѣянъ.

Чтобы показать, какъ Крыловъ смотрѣлъ на извѣстныя стороны нравовъ современнаго ему русскаго общества, и въ то же время дать понятіе, какъ онъ разрабатывалъ однѣ и тѣ же темы въ сатирѣ и въ баснѣ, приведу изъ „Почты Духовъ" еще одну замѣчательную притчу[2]). Въ судейскую залу толстый купецъ втащилъ бѣдняка, крича, что тотъ укралъ у него платокъ, и требуя, чтобъ его судили по всей строгости законовъ. Судьи опредѣлили бѣдняка повѣсить. Приговоренный объясняетъ, что онъ, умирая съ голоду, дѣйствительно, укралъ платокъ. Имѣя врожденный талантъ въ живописи, онъ усовершенствовался въ чужихъ краяхъ и надѣялся найти въ отечествѣ безбѣдное содержаніе. Что жъ вышло? „Мои картины, — говоритъ онъ — хотя всѣми были здѣсь одобряемы, но ихъ порочили тѣмъ, что онѣ не были Апеллесовы, Рубенсовы, Рафаэлевы, или, по меньшей мѣрѣ, не были иностранной работы, и потому никто не хотѣлъ имѣть ихъ въ своихъ галлереяхъ. Это лишило меня бодрости и повергло въ отчаяніе и нищету... Итакъ, разсмотрите теперь, я ли виновенъ, что по необходимости прибѣгнулъ къ пороку, или вы, гнушающіеся талантами своихъ соотечественниковъ?" Между судьями завязался споръ. Вдругъ отворились двери залы,

---

[1]) „П. Д." ч. II, п. 24.
[2]) „П. Д." ч. 1, п. 21.

и вошелъ богато одѣтый господинъ; всѣ судьи передъ нимъ встали и просили его сѣсть. Этотъ богачъ, узнавъ предметъ спора, далъ выкупъ за живописца и предложилъ ему размалевать паркетъ въ своей прихожей. Живописца выпустили, и этотъ рѣдкій художникъ, который могъ бы сдѣлать честь своему отечеству, дожидался своего избавителя, чтобъ итти за нимъ рисовать холстъ для обтиранія ногъ пьяныхъ служителей. „Кто это, — спросилъ сатирикъ у одного изъ стоящихъ вблизи, — кто это такъ щедро выкупилъ живописца и передъ кѣмъ судьи такъ благоговѣютъ?“ — Это одинъ преступникъ, — отвѣчалъ ему тотъ на ухо, — который судится въ похищеніи и грабительствѣ, и вотъ уже лѣтъ двадцать, какъ это дѣло тянется... На него донесено, что онъ покралъ изъ государственной казны нѣсколько милліоновъ и разграбилъ цѣлую врученную ему область. — „Пропадшій же онъ человѣкъ, сказалъ сатирикъ, — его, конечно, уже замучаютъ жесточайшими казнями“. — „Напротивъ того, былъ отвѣтъ: онъ уже оправдался передъ правосудіемъ, и это ему стоитъ одного милліона, а чтобъ оправдаться въ глазахъ народа, онъ дѣлаетъ такіе выкупы, какимъ освобожденъ живописецъ, и взноситъ на содержаніе сиротъ не малыя суммы денегъ, и чрезъ то въ мысляхъ нѣкоторыхъ людей почитается честнымъ, сострадательнымъ и правымъ человѣкомъ... Но я вижу, продолжалъ онъ, что вы недавно пріѣхали на нашъ островъ; поживите-тко у насъ подолѣ, такъ и увидите всего поболѣ“.

Кто не узнаетъ въ этой притчѣ почти то же содержаніе, какъ въ баснѣ о Вороненкѣ, который, по примѣру орла, хотѣлъ украсть лучшаго барана въ стадѣ, но запутался когтями въ его шерсти —

И кончилъ подвигъ тѣмъ, что самъ попалъ въ полонъ; —

изъ чего баснописецъ выводитъ такое заключеніе:

Нерѣдко у людей то жъ самое бываетъ,
Коль мелкій плутъ
Большому плуту подражаетъ:
Что сходитъ съ рукъ ворамъ, за то воришекъ бьютъ.

Но сатирикъ освѣщаетъ свою мысль еще болѣе общимъ выводомъ, обнаруживающимъ любопытный, хотя и не радостный взглядъ Крылова на духъ всего тогдашняго общества. Это ясно изъ продолженія приведеннаго разговора въ судейской палатѣ. Посѣтитель суда удивлялся тому, что̀ видѣлъ. Новый знакомецъ его, объяснивъ, что только грубое воровство запрещено закономъ и подвергаетъ наказанію, разсказалъ ему слышанное отъ дѣда: „Пристрастіе къ плутовству есть природное свойство здѣшнихъ жителей, и мои земляки уже давно имъ промышляютъ. Въ старину оно было во всей своей силѣ; но какъ просвѣщеніе на̀чалось умножаться, то наши промышленники приняли на себя разныя имена: первостатейные сдѣлались старшинами и законниками, другіе купцами, а третьи ремесленниками и поселянами; но перемѣняя званія, жители не перемѣнили своихъ склонностей, и плутовство никогда столько не владычествовало надъ ними, какъ послѣ сей перемѣны, такъ что, наконецъ, оно превратилось въ совершенный

грабежъ, которому однакожъ даны самые честные виды; одно только старое воровство запрещено, а впрочемъ, кто чѣмъ болѣе крадетъ, тѣмъ онъ почтеннѣе. Опасно лишь тому, кто въ семъ хранитъ умѣренность, украденное яблоко можетъ стоить головы, а милліоны золота принесутъ уваженіе".

Этотъ взглядъ не вполнѣ измѣнился у Крылова и въ старости. Доказательство тому можно видѣть въ небольшой его баснѣ „Купецъ" (1830 г.), для которой выписанный сейчасъ разговоръ можетъ служить лучшимъ комментаріемъ. Вотъ эта басня, или, вѣрнѣе, поэтическая притча:

Поди-ка, братъ Андрей!
Куда ты тамъ запалъ? Поди сюда скорѣй
Да подивуйся дядѣ!
Торгуй по моему, такъ будешь не въ накладѣ —
Такъ въ лавкѣ говорилъ племяннику купецъ,
Ты знаешь польскаго сукна конецъ,
Который у меня такъ долго залежался,
Затѣмъ, что онъ и старъ, и подмочёнъ, и гнилъ.
Вѣдь это я сукно за англійское сбылъ!
Вотъ, видишь, сей лишь часъ взялъ за него сотняжку:
Богъ блушка послалъ.
— Все это, дядя, такъ, племянникъ отвѣчалъ:
Да въ олухи-то, я не знаю, кто попалъ;
Вглядись-ко: ты вѣдь взялъ фальшивую бумажку. —
Обманутъ, обманулъ купецъ! въ томъ дива нѣтъ,
Но если кто на свѣтъ
Повыше лавокъ взглянетъ, —
Увидитъ, что и тамъ на ту же стать идетъ,
Почти у всѣхъ въ умѣ одинъ разсчетъ;
Кого кто лучше проведетъ
И кто кого хитрѣй обманетъ.

Такимъ образомъ, сатира Крылова часто развиваетъ съ большею полностью и ясностью тѣ же мысли, которыя мы позднѣе встрѣчаемъ въ его басняхъ. Иногда въ послѣднихъ попадаются образы или черты, уже знакомые намъ изъ его сатирическихъ сочиненій. Такъ, въ „Почтѣ Духовъ"[1]) и въ „Мысляхъ философа по модѣ"[2]) мы находимъ первообразъ „Слона и Моськи". Представляя въ смѣшномъ видѣ блистательнаго молодого человѣка, который шутитъ надъ важными истинами, не понимая ихъ, Крыловъ говоритъ: „При всей мелкости своего ума, онъ тогда такъ милъ, какъ болонская собачка, которая бросается на драгунскаго рослаго капитана и хочетъ разорвать его, между тѣмъ какъ онъ равнодушно куритъ трубку, не занимаясь ея гнѣвомъ. Какъ мила и забавна смѣлость этой собачонки, такъ точно забавна смѣлость вашего ума, когда огрызается она на вещи, передъ коими онъ менѣе, нежели болонская собачка передъ драгунскимъ капитаномъ". Идея

---

[1]) Ч. I, п. 9.
[2]) „Зритель", ч. II, стран. 288.
[3]) „Зритель", ч. I, стран. 149.

басни, сравнивающей мѣшокъ, наполненный червонцами, съ откупщиками или игроками, разбогатѣвшими съ грѣхомъ пополамъ, высказана первоначально въ слѣдующемъ размышленіи Ночи[1]): „Многіе поселяне, оставляя нивы, стали подъ покровительствомъ моимъ собирать съ проѣзжихъ оброкъ, а потомъ переселялись совсѣмъ въ города, и тамъ, воруя сперва въ присутствіи моемъ, наконецъ, подъ названіемъ откупщиковъ и подрядчиковъ, стали безопасно уже воровать и днемъ, не помышляя ни о серпѣ ни о нивѣ". Первое начертаніе басни о гусяхъ, хвалящихся, что предки ихъ спасли Римъ, встрѣчается въ слѣдующихъ строкахъ „Почты Духовъ"[2]): „Мѣщанинъ добродѣтельный и честный крестьянинъ для меня въ сто разъ драгоцѣннѣе дворянина, счисляющаго въ своемъ родѣ до 30 дворянскихъ колѣнъ, но не имѣющихъ никакихъ достоинствъ, кромѣ того счастія, что родился отъ благородныхъ родителей, которые также, можетъ быть, не болѣе его принесли пользы своему отечеству, только умножая число безплодныхъ вѣтвей своего родословнаго дерева".

Въ примѣръ образовъ, повторяющихся въ сатирѣ и въ басняхъ Крылова, можно также привести обезьяну, кривляющуюся передъ зеркаломъ[3]). Тема басни „Вельможа", направленной, такъ какъ и многія изъ прежнихъ его басенъ, противъ дурныхъ судей и ихъ секретарей, часто занимаетъ его уже въ „Почтѣ Духовъ". Одно цѣлое письмо[4]) посвящено изображенію примѣрнаго судьи и такого же секретаря. Мы видимъ, какъ рано возникли въ душѣ Крылова и какъ долго носились въ ней многіе изъ тѣхъ идей и образовъ, которымъ онъ далъ окончательное развитіе въ послѣдній періодъ своей дѣятельности; можно сказать, что нѣкоторые изъ нихъ онъ воспитывалъ въ себѣ съ тѣхъ поръ, какъ помнилъ себя. Оттого для многихъ его басенъ мы напрасно стали бы искать источника въ современныхъ событіяхъ и лицахъ; происхожденіе ихъ часто объясняется гораздо проще: малѣйшій поводъ, ничтожный случай пробуждалъ въ его душѣ давно устоявшіеся въ ней наблюденія и выводы, которые творческая фантазія его легко одѣвала въ новые образы. Вотъ чѣмъ объясняются та естественность и зрѣлость, которыя такъ изумляютъ насъ въ смыслѣ и формѣ басенъ Крылова. — Въ „Почтѣ Духовъ" и другихъ сатирическихъ сочиненіяхъ его какъ бы предчувствуется уже будущій баснописецъ; онъ проглядываетъ и въ любимой формѣ крыловскаго разсказа, часто принимающаго характеръ то сказки, то притчи. Таковъ, напримѣръ, весь его разсказъ: „Ночи"; такова и восточная повѣсть „Каибъ", гдѣ мастерски обрисованы отношенія раболѣпнаго дивана и народа къ своему калифу; въ этой сказкѣ уже встрѣчается и басенка, — первый опытъ Крылова въ этомъ родѣ: полотно, на которомъ написана картина, вздумало приписать себѣ ея успѣхъ; паукъ гово-

[1]) „Зритель", ч. I, стр. 149.
[2]) „П. Д.", ч. II, п. 37.
[3]) „П. Д.", ч. I, п. 10.
[4]) Ч. I, п. 18.

ритъ ему: — Ты напрасно гордишься; если бъ не вздумалось славному художнику покрыть тебя блестящими красками, то ты давно бы истлѣло, бывъ употреблено на обтирку посуды. — Въ „Мысляхъ философа по модѣ“ неисправимость людей наперекоръ сатирѣ сравнивается съ упорствомъ стараго осла, который съ терпѣніемъ слушаетъ понуканія и брань своего хозяина, зная, что это одинъ пустой звукъ и продолжаетъ свой путь попрежнему тихимъ шагомъ, оставляя хозяина въ надеждѣ, что онъ когда-нибудь его уговоритъ. Но всего замѣчательнѣе, какъ отдаленное предзнаменованіе перехода Крылова къ баснѣ, слѣдующія строки одной изъ послѣднихъ страницъ „Почты Духовъ“[1]); „Нравоучительныя правила должны состоять не въ пышныхъ и высокопарныхъ выраженіяхъ, а чтобъ въ короткихъ словахъ изъяснена была самая истина. Люди часто впадаютъ въ пороки и заблужденія не оттого, чтобъ не знали главнѣйшихъ правилъ, по которымъ должны они располагать свои поступки, но оттого, что они ихъ позабываютъ, а для сего-то и надлежало бы поставлять въ число благотворителей рода человѣческаго того, кто главнѣйшія правила добродѣтельныхъ поступковъ предлагаетъ въ короткихъ выраженіяхъ, дабы они глубже впечатлѣвались въ памяти“.

Несмотря на талантъ, выказанный Крыловымъ въ „Почтѣ Духовъ“, изданіе это не имѣло успѣха. Судя по припечатаннымъ при немъ именамъ подписчиковъ, оно расходилось только въ числѣ 80 экземпляровъ. Это и не удивительно: молодой издатель не имѣлъ еще никакой извѣстности, а охотниковъ даже и на книги, которыхъ авторы успѣли пріобрѣсти громкое имя, было не много. О равнодушіи публики къ литературѣ часто говорится въ „Почтѣ Духовъ“; напр. въ одномъ мѣстѣ[2]) замѣчено, что въ большомъ свѣтѣ почитается невѣжествомъ не знать по названіямъ вновь выходящихъ сочиненій или не знать именъ современныхъ писателей; но читать ихъ произведенія считается потерею времени, а имѣть знакомство съ авторами — униженіемъ; ибо въ такихъ случаяхъ сравниваются они съ ремесленниками, которые, однакожъ, несравненно болѣе выигрываютъ въ своей жизни, нежели ученые. Если „Почта Духовъ“ и не достигла своей нравоучительной цѣли, не оставила плодотворнаго слѣда ни въ общественной жизни ни въ литературѣ, зато она имѣла великое образовательное значеніе для самого автора: она была школой его наблюдательности и сатирическаго таланта, важною для его будущей литературной дѣятельности.

Недостатокъ подписчиковъ на „Почту Духовъ“, вѣроятно, и былъ причиною того, что это изданіе не дожило даже до конца года; оно прекратилось 8-ю, августовскою книжкой, и въ томъ же году уже продавалось какъ книга по 1 р. 80 к. за два томика, тогда какъ годовая цѣна при подпискѣ была прежде объявлена въ 5 р.[3]). Но какъ ни мало читался журналъ Крылова, изъ разныхъ его мѣстъ

[1]) Ч. II, п. 49.
[2]) „П. Д.“, ч. I, п. 9.
[3]) „С.-Пб.Вѣд.“ 1789 г., окт. 2, № 79.

можно заключить, что стрѣлы его сатиры не пропадали даромъ, что были люди, которые принимали ихъ на свой счетъ и обвиняли его въ личностяхъ. Что Крыловъ однакожъ не имѣлъ серіозныхъ непріятностей за „Почту Духовъ“, доказывается тѣмъ, что онъ черезъ 2 года выступилъ опять сатирикомъ въ журналѣ „Зритель“ и, подписывая свои статьи полнымъ своимъ именемъ, сталъ иногда высказывать еще болѣе рѣзкія истины, нежели прежде. Дѣло въ томъ, что, при возвышенности исповѣдуемой имъ морали, при чистотѣ своихъ политическихъ воззрѣній, своихъ понятій о гражданскомъ долгѣ, Крыловъ и не могъ, безъ несправедливости, подвергнуться гоненію. Свидѣтельствомъ, что „Почта Духовъ“ не осталась незамѣченною въ нашей литературѣ, служитъ то, что въ началѣ нынѣшняго столѣтія, въ 1802 г., она была, съ позволенія цензуры, перепечатана вторымъ изданіемъ, безъ всякихъ сокращеній. Менѣе счастливъ былъ этотъ сатирическій сборникъ въ 40-хъ годахъ, когда въ такъ называемое „Полное собраніе сочиненій Крылова“, изданное вскорѣ послѣ его смерти, вошла далеко не вся „Почта Духовъ“, даже не вся та часть ея, которая въ этомъ изданіи признана несомнѣнно принадлежащею перу Крылова. Это тѣмъ неожиданнѣе, что еще незадолго до того вполнѣ безукоризненное направленіе всѣхъ сочиненій Крылова было торжественно засвидѣтельствовано тогдашнимъ министромъ народнаго просвѣщенія, графомъ С. С. Уваровымъ. Но извѣстно, въ какихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ находилась въ 40-хъ годахъ наша литература. Тогда почти повторилось то отношеніе ея къ цензурѣ, которое Крыловъ въ 1824 г. сравнилъ съ положеніемъ соловья подъ лапами кошки, въ баснѣ, поясненной нравоученіемъ:

Худыя пѣсни соловью
Въ когтяхъ у кошки.

Гротъ.

„Почта Духовъ“, „Зритель“, „С.-Петербургскій Меркурій“ и общественный характеръ ихъ сатиры.

„Что есть достойнаго человѣка? Что можетъ онъ произвести не подверженное разрушенію вѣковъ? Его слово, его мысли, вотъ одно твореніе, дающее цѣну человѣку и избавляющее его отъ совершеннаго разрушенія; вотъ одно произведеніе, которое борется съ вѣками“.
„Зритель“, 1792 года, ч. I.

Съ именемъ Крылова для каждаго изъ читателей связано представленіе о знаменитомъ русскомъ баснописцѣ, который, по словамъ князя Вяземскаго:

Забавою людей исправилъ,
Сметая съ нихъ пороковъ пыль.

И въ самомъ дѣлѣ, своими баснями Крыловъ поднялся на такую высоту, что біографъ его, Плетневъ, имѣлъ полное право замѣтить: „Крыловъ родился для насъ только въ сорокъ лѣтъ“. И наша критика, не разъ касаясь литературной дѣятельности баснописца, останавлива-

лась преимущественно на его позднѣйшемъ творчествѣ — басняхъ. А между тѣмъ, простая сообразительность заставляла бы, кажется, подумать, что писатель не можетъ въ сорокъ лѣтъ до такой степени переродиться, чтобы начать новую дѣятельность, не имѣющую ничего общаго съ предшествующей. Другими словами: для уясненія мотивовъ басенъ необходимо обратиться къ его предшествующимъ трудамъ, тѣмъ болѣе, что сатира была его конькомъ, той красной нитью, которая съ ранняго дѣтства до поздней старости отцвѣчивала его произведенія. Можно сказать, что онъ только мѣнялъ форму ея. Начавъ съ аллегоріи въ прозѣ, съ журнальныхъ статей, онъ переходитъ къ комедіи и, наконецъ, къ баснѣ. Само собой разумѣется, что ранніе его труды — въ журналахъ — всего болѣе интересны, и къ нимъ мы, пользуясь удобнымъ случаемъ, и обратимся.

XVIII в. представляетъ небывалое явленіе по части журналистики. А. Н. Неустроевъ въ своемъ извѣстномъ трудѣ[1]) насчитываетъ и описываетъ 119 журналовъ, относящихся къ XVIII в. Неудивительно, что молодой, увлекающійся Крыловъ, чувствовавшій призваніе къ литературѣ, охваченъ былъ, такъ сказать, журнальнымъ духомъ и, не находя притомъ никакого удовлетворенія въ скромной канцелярской работѣ, рѣшилъ посвятить себя дѣлу журнальному. Это рѣшеніе тѣмъ легче было привести въ исполненіе, что нашему писателю въ это время было не болѣе 20 лѣтъ. Познакомившись съ Рахманиновымъ[2]), содержателемъ типографіи и издателемъ журнала „Утренніе Часы“, Крыловъ, принимавшій участіе въ этомъ изданіи, порѣшилъ выступить, наконецъ, и съ собственнымъ журналомъ. Примѣръ Новикова былъ еще свѣжъ въ памяти, не забытъ былъ еще и „Собесѣдникъ“ Дашковой, въ которомъ принимала участіе сама Екатерина, но общій тонъ журнальной сатиры сталъ понижаться, и Крыловъ рѣшился насколько возможно его приподнять. Можетъ быть, сюда присоединились и меркантильныя соображенія, хотя ими довольно трудно было руководиться издателямъ журналовъ прошлаго вѣка, въ виду незначительнаго числа охотниковъ до чтенія.

Какъ бы то ни было, но въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ 1788 г. отъ 15 декабря было помѣщено слѣдующее объявленіе[3]): „Въ книжной лавкѣ книгопродавца Миллера, состоящей въ луговой Милліонной подъ № 77, *раздаются безденежно печатныя объявленія* съ подробнымъ объясненіемъ о предметѣ и расположеніи вновь выходящаго ежемѣсячнаго изданія, подъ заглавіемъ „Почта Духовъ“, или ученая, нравственная и критическая переписка арабскаго философа Маликульмулька съ воздушными, водяными и подземными духами, на которое началась нынѣ въ той лавкѣ подписка и будетъ продолжаться по февраль мѣсяцъ будущаго 1789 г.“. „Печатное объявленіе“ было приложено впослѣдствіи къ первой книжкѣ новаго журнала, вышед-

---

1) Историческое розысканіе др. поврем. изд., С.-Пб., 1875 г.
2) О немъ Жихарева „Дневникъ чиновника“, „Отеч. Зап.“, 1855 г., 101, стр. 133.
3) „С.-Пб. Вѣд.“, 1788 г., № 100.

шей въ январѣ 1789 г., и въ немъ издатель объяснялъ читателямъ свое profession de foi въ такихъ выраженіяхъ. „Секретарь недавно пріѣхавшаго сюда арапскаго волшебника Маликульмулька.... симъ объявляетъ, что онъ по намѣренію и обѣщанію своему началъ выдавать переписку сего знатнаго въ своемъ родѣ господина съ водяными, подземными и воздушными духами. Изданіе сіе будетъ очень любопытно для тѣхъ, кои не путешествовали подъ водою, подъ землею и по воздуху. Онъ увѣряетъ, что сочинители сихъ писемъ духи очень знающіе; *но только иные не любятъ крючкотворцевъ, ростовщиковъ и лицемѣровъ; а иные не жалуютъ щегольства, волокитства и мотовства*“. Уже изъ послѣднихъ словъ видно, какова должна быть программа новаго журнала, но читатель ошибся бы, если бы предположилъ, что Крыловъ только и расчитывалъ повторять избитыя темы, наводнявшія изданія его литературныхъ предшественниковъ. Изъ слѣдующихъ словъ видно, что Крыловъ понималъ свою задачу гораздо шире, очевидно забывая совѣтъ Новикова, который, умудренный опытомъ, рекомендовалъ своимъ собратьямъ по перу — не разлучаться съ „женщиной, которая называется — Осторожностью“ [1]). Двадцатилѣтній писатель проектировалъ слѣдующее: „духи бываютъ такъ дерзки, что посѣщаютъ въ самые критическіе часы комнаты щеголихъ, *присутствуютъ въ кабинетахъ вельможъ, снимаютъ очень безбожно маски съ лицемѣровъ*“ и т. д. Правда, Крыловъ укрылся за гномовъ и сильфовъ, которые писали ему письма о Плутонѣ, Прозерпинѣ, о ихъ любимцахъ и министрахъ, но эта аллегорія, вызванная условіями времени, не притупляла, какъ увидимъ, ни на волосъ сатирическаго острія молодого писателя. Да и самая форма Крыловской аллегоріи была для читателя довольно прозрачна, такъ какъ практиковалась еще 20 лѣтъ назадъ. Въ 1769 году, въ самый разгаръ журнальной сатиры, Ѳедоръ Эминъ выступилъ съ „Адской Почтой“, гдѣ помѣщались quasi-адскія вѣдомости и переписка хромоногаго бѣса съ кривымъ. Въ свою очередь Эминъ былъ увлеченъ успѣхомъ во Франціи извѣстнаго романа Лесажа: „Le Diable Boiteux“ (Хромой бѣсъ). Что же касается до вопроса, почему Крыловъ взялъ за образецъ — по крайней мѣрѣ съ внѣшней стороны — произведеніе очень посредственнаго писателя, то онъ рѣшается весьма просто. Во-первыхъ, Крыловъ былъ друженъ съ сыномъ Эмина [2]), во-вторыхъ, въ 1788 году „Адская Почта“ вышла 2-мъ изданіемъ [3]), и, наконецъ, въ-третьихъ, немаловажнымъ поводомъ къ этому подражанію могло служить то обстоятельство, что Крыловъ съ раннихъ лѣтъ чувствовалъ, помимо условій времени, тяготѣніе къ аллегоріи.

Но если Крыловъ подражалъ внѣшности Эминскаго изданія, то содержаніемъ своего журнала онъ далеко выдвигается изъ ряду литературныхъ соратниковъ. Онъ уже не ограничивается картинкой нравовъ, указаніемъ людскихъ пороковъ и недостатковъ, онъ идетъ дальше,

---

[1]) „Живописецъ“, л. 2, изд. 1864 г.
[2]) Сборн. ст., чит. въ Акад. Н., 1869 г., т. 6.
[3]) „На иждивеніе П. Б.“ (Петра Богдановича).

заглядываетъ глубже въ общественный организмъ и безбоязненно обнаруживаетъ тѣ причины, которыя ихъ вызывали. Эта черта Крыловской сатиры становится со временемъ все ярче, достигая, напр. въ „Зрителѣ“, своей твердости и полной рельефности.

Прежде всего Крыловъ является въ своемъ журналѣ горячимъ поборникомъ истиннаго просвѣщенія, благодѣтельную силу котораго онъ не разъ доказывалъ потомъ въ своихъ басняхъ. Отзываясь иногда съ иронією о незавидномъ положеніи въ обществѣ пишущей братіи, онъ указываетъ недостатки самихъ писателей, которые зачастую забываютъ свои обязанности — сѣять добро и правду. Онъ искренно сожалѣетъ, что большинство ученыхъ руководится не прямыми цѣлями, а тщеславіемъ и славолюбіемъ. Особенно возстаетъ онъ противъ обычая спеціалистовъ выхвалять и превозносить свою излюбленную науку и порицать и даже игнорировать всѣ другія отрасли знанія. „Ученые думаютъ — говоритъ Крыловъ — что если люди будутъ болѣе уважать ту науку, въ которой они себя отличили, то черезъ то и къ нимъ самимъ будутъ имѣть большее почтеніе“. Въ заключеніе своей справедливой тирады, Крыловъ, однако, проситъ снисхожденія къ ученымъ, потому что ихъ соревнованіе поощряетъ ихъ производить многія прекраснѣйшія творенія [1]), притомъ же не всѣ ученые простираютъ свое рвеніе до крайнихъ предѣловъ.

Затронувъ вопросъ о сочинителяхъ, Крыловъ поднимаетъ завѣсу съ тѣхъ сочинителей, которые чужія произведенія выдаютъ за свои, напр. переводы съ иностранныхъ языковъ приписываютъ себѣ въ качествѣ оригинальныхъ произведеній. Критикъ спрашиваетъ у книгопродавца, отчего такъ мало хорошихъ книгъ? „Оттого, сударь — отвѣчаетъ тотъ — что здѣсь множество авторовъ занимаются не тѣмъ, чтобы написать что-нибудь, но чтобы что-нибудь напечатать и поспѣшить всенародно объявить, что они невѣжды. Оттого-то здѣсь нѣтъ хорошихъ книгъ, но множество лавокъ завалено бреднями худыхъ стихотворцевъ“ [2]).

Трезвый умъ Крылова трудно уживался съ различными „бреднями“ современныхъ ему лжеклассическихъ поэтовъ, воспѣвавшихъ въ своихъ бездарныхъ „риѳмачествахъ“ и „райскій кринъ“, и „небеса отверсты“, и опъ не щадитъ тѣхъ одописцевъ, которые изъ личныхъ выгодъ щедро сыпали лестью знатнымъ, тщательно закрывая глаза на бьющіе своей наготой пороки. Тѣ же недостатки замѣчаетъ Крыловъ и въ трагедіи, которую осмѣиваетъ довольно ядовито: „авторъ, который имѣетъ терпѣніе набрать изъ разныхъ мѣстъ большую тетрадь стиховъ, думаетъ — говоритъ „неугомонный критикъ“ — что онъ уже исполнилъ всѣ правила, если поставилъ надъ этимъ собраніемъ стиховъ въ красной строкѣ: „Трагедія“ и потомъ раздѣлилъ на пять разныхъ долей, которыя назвалъ „дѣйствіями“ [3]). Надо признаться,

---

[1]) „Почта Духовъ“, ч. II, письмо 40.
[2]) Ibid., п. 30.
[3]) „Поч. Дух.“, ч. II, стран. 128.

что врядъ ли можно сыскать болѣе рѣзкій и въ то же время болѣе правдивый приговоръ лжеклассической пятиактной трагедіи, которой такъ гордился, напр. Сумароковъ, гордо заявлявшій, что онъ „Расиновъ театръ явилъ Россамъ“.

Если въ литературѣ возможны были такія явленія, какъ плагіатъ, и появленіе бездарныхъ произведеній въ печати и на сценѣ, которымъ иногда публика аплодировала „метаніемъ кошельковъ“, то, очевидно, общество было довольно беззаботно относительно литературы. А тамъ, гдѣ отсутствуетъ умственное развитіе, и нравственность не должна быть особенно высока. Крыловъ и указываетъ намъ два-три портрета, которые, встрѣчаясь и ранѣе въ журналахъ, являются въ „Почтѣ Духовъ“ гораздо отчетливѣе и яснѣе, чѣмъ прежде. Одна изъ „щеголихъ“, не забытыхъ Крыловымъ, говоритъ слѣдующее: „каковъ бы женихъ невѣстѣ ни казался, но недѣлю спустя послѣ свадьбы, навѣрное, всякій мужчина въ глазахъ ея будетъ казаться пріятнѣе мужа“ [1]). Неудивительно, что, при такихъ воззрѣніяхъ на мужа, молодыя „вѣтреницы“ — *Безстыды* да *Неотказы* — заботятся о пріисканіи себѣ такихъ простачковъ, „которые бы назывались мужьями, но отнюдь не вмѣшивались въ ихъ дѣла“. Чтобы сатира была яснѣе, Крыловъ заключаетъ обрисовку портретовъ собственными разсужденіями о послѣдствіяхъ, къ которымъ приведутъ въ недалекомъ будущемъ подобные браки.

Не меньшей яркостью отличается и портретъ „петиметра“, прошедшаго полный курсъ салонной педагогики у господъ французовъ, собирающихъ съ „просвѣщенныхъ туземцевъ“ такую тяжкую дань, „какой не сбиралъ Римъ съ своихъ подвластныхъ народовъ во время корыстолюбивѣйшихъ своихъ правителей“. Таковъ, напр., графъ Припрыжкинъ.

Этотъ 20-лѣтній повѣса проводитъ всю свою жизнь въ шалостяхъ, которыми радуетъ родителей, плѣняетъ женщинъ, разоряетъ легковѣрныхъ заимодавцевъ и т. п. Тѣмъ не менѣе для него „окромя честности есть множество наградъ“: во многихъ знатныхъ домахъ его уважаютъ и удивляются его разуму, учености и дарованіямъ; часто ничтожное его словцо считаютъ за остроту; если онъ улыбается, то всѣ начинаютъ хохотать во все горло, терпѣливо ожидая, когда онъ откроетъ причину своего смѣха. Развѣ не прозорливо угадываетъ эта характеристика появленіе въ будущемъ такого петиметра новѣйшей формаціи, какъ Евгеній Онѣгинъ, о которомъ на основаніи одной внѣшности

Свѣтъ рѣшилъ,
Что онъ уменъ и очень милъ?

Но эти жанровыя картинки совершенно блѣднѣютъ передъ смѣлыми набросками общественныхъ язвъ, которыя, несмотря на аллегорическій способъ изображенія, до поразительности ясны и очевидны.

---

[1]) Ibid. стран. 103.

Мало того, Крыловъ уже тѣмъ опережаетъ своихъ собратьевъ по перу, что его сатира направлена *не на лица*, а на пороки, и его изображенія являются типическими, что составляетъ крупное превосходство писателя. Тотъ дидактизмъ, который такъ ясенъ въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Крылова — въ басняхъ — достаточно оформился и отлился и въ „Почтѣ Духовъ“. „Надлежало бы — говоритъ онъ въ концѣ изданія — поставлять въ число благотворителей рода человѣческаго того, кто главнѣйшія правила добродѣтельныхъ поступковъ предлагаетъ въ короткихъ выраженіяхъ, дабы они глубже впечатлѣвались въ памяти“. Во имя этого, сознаннаго очень рано, призванія — поучать другихъ — Крыловъ вещетъ свои обличенія общественныхъ золъ. Вотъ что говоритъ онъ по поводу неправильнаго и неправеднаго судопроизводства. „Пристрастіе къ плутовству есть природное свойство здѣшнихъ жителей, и мои земляки уже давно имъ промышляютъ. Въ старину оно было во всей силѣ; но какъ просвѣщеніе начало умножаться, то наши промышленники приняли на себя разныя имена; но, перемѣняя званія, жители не перемѣнили своихъ склонностей, плутовство никогда столько не владычествовало надъ ними, какъ послѣ сей перемѣны, такъ что, наконецъ, оно превратилось въ совершенный грабежъ, которому, однакожъ, даны самые честные виды, одно только старое воровство запрещено, а впрочемъ, кто чѣмъ болѣе крадетъ, тѣмъ онъ почтеннѣе. Опасно лишь тому, кто въ семъ хранитъ умѣренность: *украденное яблоко можетъ стоить головы, а милліоны золота принесутъ уваженіе*[1]). До такой прямоты и откровенности, надо признаться, никогда не доходила сатира Новикова, даже въ свои лучшіе дни. А вотъ какую сцену видѣлъ, напримѣръ, сатирикъ въ судѣ. Одного бѣдняка за кражу платка правдолюбивые судьи приговорили повѣсить. Несчастный объяснилъ, что онъ, имѣя врожденный талантъ къ живописи, усовершенствовался за границей въ искусствѣ, расчитывая найти на родинѣ безбѣдное существованіе. Но живопись никому не нужна, и художнику грозила голодная смерть, — онъ рѣшился на кражу. „Итакъ, разсмотрите теперь, — обращается къ судьямъ, — я ли виновенъ, что *по необходимости* прибѣгнулъ къ пороку, или вы, гнушающіеся талантами своихъ соотечественниковъ?“ Въ это время вошелъ въ залу пышно-одѣтый господинъ, передъ которымъ судьи встали и попросили его сѣсть. Этотъ господинъ, увидѣвъ, въ чемъ дѣло, выкупилъ великодушно художника и предложилъ ему *разрисовать паркетъ въ своей передней?* „Кто это?“ — спросилъ сатирикъ у одного изъ публики. — „Это одинъ преступникъ, — отвѣчалъ тотъ на ухо, — который судится въ похищеніи и грабительствѣ. На него донесено, что онъ покралъ изъ государственной казны нѣсколько милліоновъ и разграбилъ цѣлую врученную ему область“. Но бывшій воръ уже оправданъ правосудіемъ, и это ему стоило всего милліонъ, а передъ обществомъ онъ расчитываетъ оправдаться различными дѣлами милости и пожертвованіями на

---

[1]) „П. Дух“., ч. I, 12.

благотворительныя учрежденія. „Что сходитъ съ рукъ ворамъ, за то воришекъ бьютъ“, скажетъ впослѣдствіи, не обинуясь, Крыловъ въ послѣдствіи къ баснѣ „Вороненокъ“.

Другая слабая сторона Крыловскаго времени — фаворитизмъ и протекція — нашли себѣ также достойное мѣсто въ „Почтѣ Духовъ“. Сатирикъ указываетъ на ту роль, которую играли женщины при особѣ сильныхъ міра. „Женщины играютъ въ политикѣ не малую роль: онѣ движутъ всѣми пружинами правленія и черезъ нихъ дѣлаются самыя большія и малыя дѣла. Хоть ты съ перваго взгляда и подумаешь, что мужчины всѣмъ правятъ, а женщины ничего не значатъ, но очень ошибешься и, посмотри хорошенько, увидишь, что мужчины ни что иное, какъ ходатаи и правители ихъ дѣлъ и исполнители ихъ предпріятій“ [1]). Въ другомъ мѣстѣ Крыловъ выводитъ придворнаго, который довольно цинично высказываетъ, что ради денегъ онъ можетъ сдѣлать, что̀ угодно. „Другъ мой, — обращается онъ къ хозяину дома, — *изъ дружбы къ тебѣ я не совѣтуюсь занимать у тебя деньги*, а потому ты не можешь сомнѣваться въ участіи, какое я принимаю въ судьбѣ твоего сына. Дай мнѣ въ руки 20 тыс., которыя будутъ употреблены въ его пользу: я помѣщу его имя въ списокъ отборнаго военнаго корпуса, сдѣлаю дворяниномъ и потомъ пристрою его ко двору; *сколь же такое состояніе блистательно*, — заставляетъ острить вельможу Крыловъ, — ты самъ это знаешь“ [2]).

Отсутствіе нравственныхъ принциповъ, господствовавшее во всѣхъ слояхъ общества, не могло не возмущать такого серіознаго наблюдателя русской жизни, какимъ являлся и въ сатирѣ и въ басняхъ Крыловъ. Доискиваясь причинъ этого легкомыслія, онъ видитъ ихъ въ отсутствіи правильнаго взгляда на воспитаніе, въ стремленіи къ внѣшнему лоску, какъ высшему благу безпечальнаго житія. Изъ массы примѣровъ этой безпринципности, стоящей въ тѣсной связи съ отсутствіемъ правильнаго воспитанія, приведу исповѣдь судьи Тихокрадова, откровенно объясняющаго преимущества своего положенія. „Я могу сказать, — говоритъ этотъ типичный представитель русскихъ людей XVIII в., — что службѣ моей обязанъ знатнымъ доходомъ, состоящимъ изъ 10 тысячъ; вступая же въ нее, не имѣлъ я ни полушки; итакъ, одно это довольно могло бы доказать, что перо гораздо полезнѣе шпаги... Статскій человѣкъ, — продолжаетъ откровенничать судья, — имѣетъ еще то преимущество, что, не подвергая себя видимой опасности, можетъ ежедневно обогащать себя и присвоивать вещи съ собственнаго согласія ихъ хозяевъ, которые за немалое еще удовольствіе себѣ поставляютъ служить имъ, и почитаютъ за отмѣнную къ нимъ благосклонность, если отъ нихъ такія вещи примешь. Сверхъ сего статскій человѣкъ можетъ производить торгъ своими рѣшеніями точно такъ же, какъ и купецъ, съ той только разницей, что одинъ продаетъ свои

---

[1]) „П. Дух.“, ч. II, 34; сравн. „Зритель“, 1792 г., сентябрь, стран. 63.
[2]) „П. Дух.“, ч. I, письмо 11.

товары по извѣстнымъ цѣнамъ на аршины или фунты, а другой измѣряетъ продажное правосудіе собственнымъ своимъ размѣромъ и продаетъ его, сообразуясь съ обстоятельствами. Если вы скажете — заканчиваетъ сатирикъ, — что все это не позволено законами, то, по крайней мѣрѣ, должны признаться, что *въ свѣтѣ обыкновенія столь же сильны, какъ и самые законы*“ [1]). Хорошо зная общественные недостатки и пороки, Крыловъ, подобно Карамзину, полагалъ, что писатель долженъ жить въ кабинетѣ, и только заглядывать въ общество. И если его станутъ считать за это „мизантропомъ“, то онъ, по крайней мѣрѣ, убережетъ себя отъ заѣдающей человѣка пошлости и сохранитъ душу — живу, что для него должно быть дороже всего. Такой человѣкъ, не будучи связанъ никакими узами, отважно подниметъ знамя правды и смѣло рѣшится высказать въ глаза истину. „Если бы при дворахъ государей, — говоритъ Крыловъ, — находилось нѣкоторое число мизантроповъ, то какое счастіе послѣдовало бы тогда для всего народа! Каждый государь, внимая голосу ихъ, познавалъ бы тотчасъ истину... Министры, судьи, вельможи, однимъ словомъ, всѣ тѣ, коимъ ввѣрено благосостояніе народное, трепетали бы при единомъ названіи мизантропа. *Ничто*, — сказали бы они, — *не можетъ остановить сего ужаснаго провозвѣстника истины*“ [2]). Эти слова для насъ особенно дороги, потому что они указываютъ взглядъ Крылова на задачи честной печати, которая, въ своихъ лучшихъ представителяхъ, не зря на лица, должна была, — по выраженію Державина: „истину царямъ съ улыбкой говорить“. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ этой тирадѣ нельзя не видѣть скорбнаго вопля писателя на отсутствіе среди его современниковъ дѣйствительно честныхъ, правдивыхъ людей, проникнутыхъ горячей любовью къ добру и свѣту, которые бы не задумались принести свои личные интересы въ пользу общественныхъ, широко проповѣдуя въ обществѣ высокіе и гуманные принципы. Что именно такъ смотрѣлъ юношески неопытный Крыловъ на дѣло, ясно видно изъ разсужденія его: „Кто истинно честный человѣкъ въ каждомъ сословіи“ [3]).

„Великая разность, — говоритъ онъ, — между честнымъ человѣкомъ, почитающимся таковымъ между философами, и между честнымъ человѣкомъ, такъ называемымъ въ обществѣ... Послѣдній часто не что иное, какъ хитрый обманщикъ или человѣкъ, который, хотя никому не дѣлаетъ зла, однакожъ и о благодѣяніи никакого не имѣетъ попеченія. *Истинно-полезному человѣку надлежитъ быть полезнымъ обществу во всѣхъ мѣстахъ и во всякомъ случаѣ, когда только онъ въ состояніи оказать людямъ какое благодѣяніе*“. Переходя къ отдѣльнымъ сословіямъ, Крыловъ говоритъ слѣдующее: „Въ обществѣ называется честнымъ человѣкомъ тотъ судья, который, не уважая ни чьихъ просьбъ, дѣлаетъ скорое рѣшеніе дѣламъ, не входя ни мало въ ихъ подробное разсмотрѣніе“. Но съ принципіальной или, по вы-

[1]) „Поч. Дух.“, ч. I.
[2]) „П. Дух.“, ч. I, письмо 4.
[3]) „П. Дух.“, ч. II, письмо 24.

раженію Крылова, съ философской точки зрѣнія этого мало. „Судья, хотя бы былъ праводушенъ и безпристрастенъ, но производство судебныхъ дѣлъ совсѣмъ незнающій, въ глазахъ философа тогда только можетъ назваться честнымъ, когда безпристрастіе заставитъ его почувствовать, сколько онъ долженъ опасаться всякаго обмана, чтобъ по незнанію не сдѣлать неправеднаго рѣшенія, и побудить его отказаться отъ своей должности. *Ежели бы всѣ судьи захотѣли заслужить истинное названіе честнаго человѣка, то сколько бы присутственныхъ мѣстъ оставалось порожними!* И если бы для занятія сихъ мѣстъ допускались только люди совершенно достойные, то число искателей ихъ гораздо бы поуменьшилось“, заключаетъ сатирикъ, на горькомъ опытѣ извѣдавшій, какъ мало среди его современниковъ было дѣйствительно честныхъ людей, настоящихъ работниковъ на пользу общую. И въ этомъ отношеніи молодого писателя никоимъ образомъ нельзя упрекнуть въ пессимизмѣ или утрировкѣ. Надо припомнить, что Фонвизинъ лучшимъ эпитетомъ для самой Екатерины считалъ имя „честный человѣкъ“, слѣдовательно этотъ эпитетъ былъ явленіемъ довольно рѣдкимъ въ примѣненіи къ конкретному случаю.

Отсутствіемъ честности объясняетъ сатирикъ и стремленіе людей его времени жить на счетъ другихъ и беззастѣнчивое раззореніе крестьянъ любящими роскошь помѣщиками. Господину нужно жениться, а для этого необходимы расходы, которые обязаны покрыть его крестьяне. Въ одну минуту онъ посылаетъ приказъ: собрать съ 400 душъ 80 тысячъ рублей въ теченіе года. Мужички, не надѣясь на хлѣбопашество, бредутъ въ городъ, и здѣсь начинается своеобразный обмѣнъ труда и капитала. Вмѣсто бороны и сохи берутъ они лопаты и топоры, становятся каменщиками, плотниками и разносчиками; днемъ работаютъ, а чтобы лучше собрать свой оброкъ, взыскиваютъ его по ночамъ съ прохожихъ. Отъ такихъ незваныхъ гостей происходитъ постепенно повышеніе цѣнъ на разные предметы необходимости. Къ концу года крестьяне возвращаются домой и приносятъ господину 80 тысячъ, а на 10 тыс. покупаютъ хлѣба, котораго столоваться мало до будущаго года. „Итакъ, города терпятъ недостатокъ, деревни голодъ, граждане дороговизну; а его сіятельство остается при новомодныхъ галантерейныхъ вещахъ и празднуетъ нѣсколько дней великолѣпно свадьбу съ своею почтенною невѣстой, которая съ своей стороны приноситъ щегольствомъ такую же пользу государству“ [1]).

Изъ нашего бѣглаго обзора статей перваго Крыловскаго журнала читатель, думается, вполнѣ убѣдился въ сильномъ сатирическомъ талантѣ будущаго баснописца. И тѣмъ не менѣе въ разныхъ мѣстахъ изданія не разъ попадаются жалобы Крылова на равнодушіе публики къ его дѣтищу. Такъ, напримѣръ, онъ замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ, что въ большомъ свѣтѣ „почитается невѣжествомъ не знать имень

---

[1]) „П. Дух.“, ч. I, пп. 9 и 17.

современныхъ писателей, но читать ихъ произведенія считается потерею времени, а имѣть знакомство съ авторами — униженіемъ, ибо въ такихъ случаяхъ сравниваются они съ ремесленниками, которые, однакожъ, несравненно болѣе выигрываютъ въ своей жизни, нежели ученые“ [1]). Равнодушіе публики, сгубившее не одинъ журналъ въ XVIII в., было причиной того, что „Почта Духовъ“ не дожила даже до конца года и закончила свое существованіе августовской книжкой и въ томъ же году продавалась за весь годъ по 1 руб. 80 коп., хотя годовая подписка была объявлена въ 5 рублей [2]). Но несмотря на это равнодушіе (журналъ имѣлъ 80 подписчиковъ) можно по нѣкоторымъ намекамъ догадаться, что стрѣлы Крылова попадали въ цѣль и съ этой точки зрѣнія крыловская „проба пера“ сослужила свою службу обществу. Что „Почта Духовъ“ не осталась не замѣченной, видно изъ того, что черезъ нѣсколько лѣтъ, въ 1802 г., она была перепечатана вторымъ изданіемъ. Что же касается до самого Крылова, то „Почта Духовъ“ для него лично имѣла огромное значеніе; будучи, по словамъ Грота, школой его наблюдательности и сатирическаго таланта, она укрѣпила его гражданское мужество, закалила на борьбу, дала увѣренность въ силѣ и завязала его связи съ обществомъ, которое черезъ нѣсколько десятилѣтій уже не могло отдѣлить баснописца отъ себя, — до такой степени личность Крылова тѣсно срослась съ русскимъ обществомъ. Такимъ образомъ, лично издатель не могъ не вынести удовлетворенія отъ своей дѣятельности и, черезъ три года возобновивъ ее, началъ издавать „Зритель“. Къ разбору этого журнала мы и перейдемъ теперь.

Нельзя не замѣтить прежде всего, что новый журналъ поставленъ былъ Крыловымъ солиднѣе перваго. Въ числѣ сотрудниковъ былъ А. И. Клушинъ, впослѣдствіи соиздатель Крылова, писавшій „много весьма изрядныхъ лирическихъ стихотвореній, кои печатаны были въ разныхъ журналахъ“ [3]), нѣсколько комедій, оперъ и романъ „Вертеровы чувствованія“, Дмитревскій, Плавильщиковъ, Туманскій и Эминъ [4]), къ сожалѣнію, не подписывавшіе своихъ статей. Въ началѣ первой книги было помѣщено слѣдующее „Введеніе“. „Пускай читатели представляютъ человѣка, который любопытнымъ взоромъ смотритъ на все и дѣлаетъ свои примѣчанія; сей-то воображаемый Зритель позволяетъ себѣ, выбравъ изъ самой природы, образовать разныя свойства по своему разсужденію, *не дерзая ни мало касаться личности;* подобно какъ живописецъ, желая написать на своей картинѣ различныя страсти, рисуетъ человѣка во всѣхъ правилахъ естества, но ничьего прямо лица не изображаетъ. Право писателя предоставлять порокъ во всей его гнусности, дабы всякъ получилъ къ нему отвращеніе, а добродѣтель во всей ея красотѣ, дабы плѣнить ею чи-

---

[1]) „П. Дух.“, ч. I, 9.
[2]) „С.-Пб. Вѣд.“ 1789 г., № 79.
[3]) М. Евгеній. „Словарь свѣт. пис.“, 287.
[4]) „Письма Карамзина къ Дмитріеву“. С.-Пб. 1886 г.

тателя: симъ правомъ вознамѣрился воспользоваться Зритель". По предложенной въ томъ же предисловіи программѣ, въ журналѣ предполагалось помѣщать прозу и стихи, оригинальныя статьи и переводныя, и въ каждой изъ 12 книжекъ есть то и другое.

Первое мѣсто въ новомъ журналѣ занимаетъ, по прежнему, аллегорія, которою покрыты лучшія произведенія „Зрителя" — „Ночи" и восточная повѣсть „Каибъ", принадлежащія перу Крылова. Но рядомъ съ этими, такъ сказать, замаскированными статьями мы встрѣчаемъ и откровенную сатиру, въ родѣ: „Рѣчь, говоренная повѣсою въ собраніи дураковъ", „Мысли философа по модѣ" и „Похвальная рѣчь моему дѣдушкѣ". Всѣ эти статьи опять-таки имѣютъ значеніе сатиры на нравы, и авторъ ихъ обнаруживаетъ недюжинный литературный талантъ и полное остроуміе, приправленное здоровымъ юморомъ. Каибъ былъ восточный государь и слава его наполняла всю вселенную. Богатства его были неисчерпаемы; дворецъ былъ обнесенъ тысячью яшмовыхъ столбовъ; окна были новѣйшаго фасона, въ каждомъ по одному стеклу, которыя были такъ тверды, что „потатчики мужья не въ состояніи были бы прошибить ихъ лбомъ". Внутренность дворца строго гармонировала съ его внѣшностью. Многія комнаты были украшены живописью и надо отдать справедливость Каибу, что хотя не пускалъ онъ ученыхъ во дворецъ, но изображенія ихъ дѣлали не малое украшеніе его стѣнамъ. Правда, стихотворцы его были бѣдны, но Каибъ велѣлъ рисовать ихъ въ богатыхъ платьяхъ, ибо онъ старался всячески поощрить науки. И подлинно, — остритъ сатирикъ,—не было въ Каибовомъ владѣніи ни одного стихотворца, который бы не завидовалъ своему портрету. Внутреннія комнаты его убраны были такими коврами, что величайшіе цари пріѣзжали играть на нихъ шемелой и приказывали исторіографамъ записывать это въ число своихъ величайшихъ подвиговъ. Въ нѣкоторыхъ комнатахъ рѣзвились обезьяны на золотыхъ цѣпочкахъ и кривлялись съ такой любезностью, что искуснѣйшіе придворные ставили за честь у нихъ перенимать; а не рѣдко по слабости своей выдумки обезьянъ выдавали за свои [1]). Тысячи попугаевъ говорили въ клѣткахъ скоропостижные вирши и были краснорѣчивѣе тогдашнихъ академиковъ, хотя академія Каибова почиталась первою въ свѣтѣ, потому что ни въ какой академіи не было такого богатаго набора плѣшивыхъ головъ, какъ у него. Но, несмотря на всю эту роскошь, несмотря на рядъ праздниковъ (календарь Каибовъ былъ составленъ изъ однихъ праздниковъ, и будни были тамъ рѣже, нежели имянины Касьяновъ), громадный сераль, составленный изъ рѣдкой красоты дѣвушекъ не старѣе 17 лѣтъ, — Каибъ чувствовалъ какое-то неопредѣленное желаніе и томящую вѣчно тоску. Чтобы сколько-нибудь развлечься, Каибъ рѣшилъ предпринять путешествіе по странѣ и предварительно хотѣлъ посовѣтоваться съ своимъ Диваномъ. Надо замѣтить,

---

[1]) „Полн. собр. соч. Крылова", т. I, 191—193.

что Каибъ ничего не начиналъ безъ его согласія. Но такъ какъ онъ былъ миролюбивъ, то для избѣжанія споровъ всѣ свои рѣчи начиналъ такъ: „Господа! я хочу того-то; кто имѣетъ на это возраженіе, тотъ можетъ его свободно объявить: въ ту же минуту получитъ онъ пятьсотъ ударовъ воловьею жилою по пятамъ, а послѣ мы разсмотримъ его голосъ". „Мнѣ надобны визири, — любилъ говаривать этотъ правдивый правитель, — у которыхъ бы разумъ, безъ согласія ихъ пятокъ, ничего не начиналъ" [1]). Уже по этому началу видно, что легкая, шутливая сатира Крылова дѣлается въ новомъ изданіи карающей, серіозной, выходя изъ круга повседневныхъ мелочишекъ и поднимаясь на высоту политическихъ обличеній. И если намъ, отодвинутымъ отъ „Зрителя" на сотню лѣтъ, довольно трудно истолковать истинный смыслъ Каибовскихъ приключеній, то характеристика членовъ Дивана до извѣстной степени даетъ намъ понятіе о тѣхъ реальныхъ фактахъ, которые, несомнѣнно легли въ ея основу. Нѣтъ сомнѣнія, что Крыловъ былъ близокъ къ натурѣ, давая такую характеристику Каибовыхъ совѣтниковъ. „Калифъ былъ разсчетливъ: обыкновенно одного мудреца сажалъ онъ между десяти дураковъ; умныхъ людей сравнивалъ онъ со свѣчами, которыхъ умѣренное число производитъ пріятный свѣтъ, а слишкомъ большое можетъ причинить пожаръ, и часто говаривалъ, что ему, для сохраненія добраго порядка, дураки, по крайней мѣрѣ, столько же нужны, какъ и умные люди. Вотъ причина, что и Диванъ Калифа былъ изобиленъ дураками" [2]).

Характеристика отдѣльныхъ визирей Каиба поражаетъ своей мѣткостью и наблюдательностью. Главнымъ достоинствомъ одного изъ нихъ, Дурсана, была длинная по колѣни борода, которой онъ вполнѣ основательно гордился. Когда же при дворѣ калифа бывалъ праздникъ, онъ наряжался пышнѣе всѣхъ женщинъ, а въ случаѣ безсонницы Каиба разсказывалъ ему сказки. Тѣмъ не менѣе длиннобородый вельможа былъ о себѣ весьма высокаго мнѣнія и предлагалъ себя замѣстителемъ государства на время отъѣзда Каиба. Другой, Ослашидъ, носилъ бѣлую чалму, которую надѣли ему, какъ потомку Магомета, при рожденіи и которая давала ему eo ipso право на высшія почести. Правда, что голова его не знала, какъ она попала подъ бѣлую чалму, дающую право на такія почести, но вельможа не унывалъ, и все свое счастіе полагалъ въ роскошной жизни. Третій, Грабилей, былъ сынъ сапожника, но „прискуча видѣть съ младенчества трудную работу отца", задумалъ блистать въ свѣтѣ и искалъ способовъ „какъ бы современемъ разувать тотъ народъ, который отецъ его обувалъ съ такимъ успѣхомъ". Поступивъ въ гражданскую службу, онъ дралъ съ однихъ, чтобы передавать другимъ, былъ замѣченъ начальствомъ, какъ исправный служака, и сдѣланъ былъ кадіемъ. Весьма скоро Грабилей достигъ вершины счастія: онъ сталъ изъ числа тѣхъ немногихъ людей, „которые снаб-

---

[1]) Ibid., 203.
[2]) Loco cit. 214 и 215.

жены способами утѣснять бѣдныхъ и получать удавку изъ рукъ самого султана".

Нѣтъ надобности послѣ характеристики этихъ совѣтниковъ Каиба приводить ихъ мнѣнія по поводу затруднительныхъ обстоятельствъ государства и правителя. Помимо своего прямого назначенія повѣсть „Каибъ" имѣетъ въ виду выставить и иные недостатки ея времени. Остановимся на необыкновенно мѣткой характеристикѣ лжеклассическихъ поэтовъ, передъ которой въ силу ея простоты и безыскусственности меркнутъ нападки другихъ писателей. На изумленіе калифа, какъ можно хвалить человѣка, если онъ того не заслуживаетъ, авторъ торжественныхъ одъ съ развязностью, достойной нашихъ дней, отвѣчаетъ: „Ода, какъ шелковый чулокъ, который всякій старается растягивать на свою ногу. Мы даемъ нашему воображенію волю въ похвалахъ съ тѣмъ только условіемъ, чтобы послѣ всякое имя вставить можно было. Въ одѣ можно набрать сколько угодно похвалъ, поднести кому угодно, и нѣтъ визиря, который бы описаніе всѣхъ возможныхъ достоинствъ не принялъ сколкомъ съ своей высокой особы". Вотъ прототипъ той морали, которую сжато формулировалъ позднѣе Крыловъ въ баснѣ „Ворона и Лисица": „и въ сердцѣ льстецъ всегда отыщетъ уголокъ".

Въ сказкѣ „Ночи" происходитъ на пирушкѣ у бога Момуса споръ между *Днемъ* и *Ночью*, кто изъ нихъ видитъ болѣе людскихъ безобразій, и богиня Ночи поручаетъ автору вести записку о томъ, что случается во время ея владычества. Весь разсказъ здѣсь сводится къ похожденіямъ молодыхъ женщинъ, обманывающихъ довѣрчивыхъ мужей, но одно мѣсто выдѣляется изъ всей повѣсти, давая намъ понятіе объ одномъ общественномъ злѣ прошлаго вѣка, на которое, насколько мнѣ извѣстно, нѣтъ указаній въ другихъ изданіяхъ того времени. „Честныя француженки нерѣдко доставляютъ молоденькимъ дѣвушкамъ случай видѣться съ своими любовниками, и за это берутъ порядочную пошлину. Этого мало: онѣ держатъ у себя въ лавкѣ много молодыхъ ученицъ, съ тѣмъ, чтобы приманивать волокитъ, и мнимою строгостію и препятствіями своимъ дѣвушкамъ увеличиваютъ желанія воздыхателей; а когда увидятъ, что надобная минута наступила и кошелекъ любовника тугъ, тогда изъ-подъ руки даютъ своимъ дѣвушкамъ согласіе на побѣгъ и такимъ образомъ вдругъ получаютъ и деньги, и остаются съ добрымъ именемъ: ибо такихъ похищеній не смѣютъ приписывать на ихъ счетъ, видя, что онѣ сами болѣе всего за то шумятъ и жалуются"[1]).

„Рѣчь", говоренная повѣсою въ собраніи дураковъ[2]), напоминаетъ намъ вновь лучшія страницы „Почты Духовъ" художественными характеристиками и мѣткостью сатиры. Съ ужасомъ вспоминая о томъ „варварскомъ" времени, когда молодой человѣкъ съ перваго слова

---

[1]) Op. cit. 269.
[2]) „Зритель", ч. II, май.

обнаруживалъ свое невѣжество въ наукахъ, ораторъ обращаетъ вниманіе своихъ „просвѣщенныхъ“ слушателей на молодежь его времени, въ какія счастливыя условія она поставлена. „Теперь молодой человѣкъ, желающій слыть ученымъ, не имѣетъ большой нужды въ грамотѣ: за недостаткомъ своего ума можно имѣть у себя на полкахъ тысячи чужихъ умовъ, переплетенныхъ въ сафьянъ и въ золотомъ обрѣзѣ, и этого уже довольно, что бы перещеголять своей славой лучшаго академика“. И чѣмъ дальше, тѣмъ сатира становится ядовитѣе, злѣе, хотя въ то же время иронія все совершенствуется и дѣлается тоньше и умнѣе. „Стоитъ намъ только взглянуть другъ на друга, чтобы видѣть истину моихъ доказательствъ — говоритъ повѣса — и почувствовать выгоду нашего состоянія, приманчиваго для человѣка. Были дерзкіе писатели, которые утверждали, что петиметры ниже человѣка и причисляли ихъ къ животнымъ. Безумцы! они не примѣтили, что такимъ заключеніемъ дѣлали нашу славу. Согласимся, что петиметръ не человѣкъ; но если онъ скотъ, то во всякомъ случаѣ умнѣе всякой скотины. Такъ не лучше ли быть первымъ между скотами, нежели послѣднимъ между людьми, — и это-то лестное первенство получили мы въ нынѣшній вѣкъ, и оно-то посѣяло ядъ зависти въ безпокойныхъ сердцахъ и вооружило на насъ сатиру, или лучше сказать, пасквиль, покушающійся сдѣлать щеголя жалкимъ въ большомъ свѣтѣ, гдѣ играетъ онъ первое забавное лицо“. Въ той же „рѣчи“ находимъ мы любопытное указаніе на крайнюю щепетильность и обидчивость общества, которое готово было во всякой сатирической статейкѣ усматривать намекъ на себя и приходить въ благородное негодованіе, грозясь на зеркало, что „рожа крива“. Изъ описанія дѣйствій нѣкоего Тарантула, задѣтаго сатирой, мы можемъ составить себѣ ясное понятіе, при этомъ, о незавидной роли писателя, на котораго ополчался за справедливыя обличенія старъ и младъ, потому что у всѣхъ безъ исключенія „рыльце было въ пуху“. Этотъ господинъ (а такихъ была, разумѣется, масса) ощупью „по рогамъ“ узналъ свой портретъ „и сталъ разсѣевать, подобно Бомаршеву Базилю, зловредные на сатиру толки, и тамъ, гдѣ говорятъ о пуговицахъ, доказываетъ, что обличается чье-нибудь лицо; тамъ, гдѣ бранятъ пьянство, онъ силится доказать, что оскорбляютъ честь; а тамъ, гдѣ осмѣиваютъ податливаго мужа, торгующаго рогами, онъ силится увѣрить, что оскорбляютъ добродѣтель и человѣчество“. Помимо личныхъ намековъ, которыхъ, быть можетъ, не чужды были эти строки, онѣ для насъ интересны, какъ характеристика отношеній общества къ писателю, которое всякій разъ волнуется и возмущается, когда его, дѣйствительно, задѣнутъ за живое и ясно докажутъ, что его „святое святыхъ“, за которое онъ готовъ распинаться, не иное что, какъ Авгіевы конюшни, нуждающіяся въ заботливомъ и быстромъ переустройствѣ и вычищеніи. Такъ было позже съ Гоголемъ и на нашей памяти съ Щедринымъ, и этотъ протестъ узнавшихъ въ сатирѣ себя, разумѣется, лучше всего говоритъ въ пользу автора, его таланта и умѣнья тонко и больно уколоть человѣка подъ мягкой и приличной

формой сатиры на порокъ. Это умѣнье, не всегда удававшееся сатирикамъ прошлаго вѣка, вполнѣ удалось Крылову, и въ этомъ, я думаю, можно искать причинъ недолговѣчности его изданій.

Перехожу къ знаменитой „Похвальной рѣчи моему дѣдушкѣ“, которая одна, и съ литературной и съ публицистической точки зрѣнія, могла бы создать неувядаемую славу нашему сатирику. Какъ въ лучшей панорамѣ проходитъ въ этомъ произведеніи вся жизнь помѣщиковъ средней руки не только прошлаго, но и доброй половины нынѣшняго вѣка. Вмѣстѣ съ тѣмъ, изображая *одно* лицо, Крыловъ сумѣлъ до такой степени сгруппировать и освѣтить типичнѣйшія черты цѣлаго класса людей, что читатель на нѣсколькихъ страницахъ имѣетъ передъ собой превосходную жанровую картинку „добраго стараго времени“, безъ указанія на лица, безъ всякой утрировки и какой бы то ни было затаенной мысли. Художественный объективизмъ достигаетъ здѣсь своего апогея и обнаруживаетъ въ авторѣ недюжинное дарованіе, заставляя читателя глубоко сожалѣть, что различныя обстоятельства не позволили Крылову совершенствоваться на почвѣ чистой сатиры, не прикрытой никакой аллегоріей.

Милый дѣдушка — по словамъ оратора — былъ страстнымъ охотникомъ и въ одну изъ охотъ сломалъ себѣ шею, свернувшись въ ровъ вмѣстѣ съ своей любимой лошадью. Но помимо главнаго дарованія, онъ имѣлъ тысячу другихъ, приличныхъ и необходимыхъ дворянину. Онъ показалъ, какъ должно проживать въ нѣдѣлю благородному человѣку то, что двѣ тысячи подвластныхъ ему простолюдиновъ вырабатаютъ въ годъ; онъ сильные подавалъ примѣры, какъ эти двѣ тысячи человѣкъ можно пересѣчь въ годъ два-три раза съ пользою; онъ имѣлъ дарованіе обѣдать въ своихъ деревняхъ пышно и роскошно, когда казалось, что въ нихъ наблюдался величайшій постъ, и такимъ искусствомъ гостямъ дѣлалъ пріятныя нечаянности.

„Такъ, государи мои! часто бывало, когда пріѣдемъ мы къ нему въ деревню обѣдать, то, видя всѣхъ крестьянъ его блѣдныхъ, умирающихъ съ голоду, страшимся сами умереть за его столомъ голодною смертью, но — какое пріятное удивленіе! — садясь за столъ, находили мы богатство, которое, казалось, тамъ было неизвѣстно, и изобиліе, тѣни котораго не было въ его благодѣяніяхъ. Искуснѣйшіе не постигали, что̀ еще могъ онъ содрать съ своихъ крестьянъ“.

Порѣшивъ въ принципѣ, что дворянинъ долженъ „одной породой“ отличаться отъ остальныхъ смертныхъ и что лучше признать праотцемъ осла, нежели быть равнаго со слугами происхожденія, помѣщикъ гордится тѣмъ, что у него много знатныхъ предковъ и заслуги отцовъ и дѣдовъ безцеремонно приписываетъ себѣ для бо̀льшаго престижа. „Чѣмъ блистательнѣе и древнѣе отъ насъ знаменитый предокъ, тѣмъ блистательнѣе наше благородство“, говоритъ авторъ „Рѣчи“. Благородная порода сказывается, впрочемъ, въ ребенкѣ такъ рано, что нечего ходить далеко за ея доказательствами. „Дѣдушка“ еще на пятомъ году своего возраста примѣтилъ, что окруженъ такою толпою,

которую можетъ „перекусать и перецарапать“, когда ему угодно. Не дальше, чѣмъ въ области нравственности, ушелъ герой нашъ и въ области науки. Когда его выучили читать, отецъ порѣшилъ, что учиться бо́льшему — неприлично. „Стыдись знать болѣе, ты у меня будешь знатный, такъ не пристойно читать тебѣ книги“. Сомнѣвающіеся въ этой характеристикѣ образованія прошлаго вѣка могутъ въ запискахъ Данилова и Добрынина найти неопровержимыя доказательства ея правдивости.

Съ этихъ поръ любимой книгой нашего героя сдѣлалось сочиненіе Руссо о вредѣ наукъ, но и ее не читалъ онъ, и лишь указывалъ на нее и имѣлъ ее всегда подъ руками для вразумленія невѣждъ, которые полагали силу въ наукѣ. Какъ проходилъ службу этотъ достойный родоначальникъ „скучающихъ россіянъ“ — распространяться не будемъ, не будемъ говорить и о томъ, какъ жилъ онъ въ столицѣ, моталъ деньги и, наконецъ, промотался до послѣдней крайности. Все это не ново и обстоятельно извѣстно изъ сатирическихъ и изъ историческихъ произведеній XVIII в. По счастію наканунѣ полнаго разоренія, въ ту минуту, когда для него всѣ двери были заперты, кромѣ дверей долговой тюрьмы, онъ получилъ наслѣдство и уѣхалъ въ деревню. Почувствовавъ вновь свободу, онъ занялся своими крестьянами, началъ заботиться объ ихъ нуждахъ и оберегая ихъ посѣвы отъ „трусливыхъ грабителей“ зайцевъ, обрилъ своей охотой такъ чисто крестьянскія земли, что на нихъ нельзя было уже укрыться не только зайцу, но даже и мыши. Чтобы окончательно вытѣснить опаснаго врага, онъ вырубилъ и продалъ всѣ принадлежавшіе ему лѣса и окончательно пустилъ по-міру своихъ крестьянъ.

Въ этой превосходной картинкѣ помѣщичьяго хозяйничанья нѣтъ, разумѣется, ничего новаго, чего бы не сказали предшественники Крылова. Но заслуга послѣдняго состоитъ въ томъ, что указывая эту язву, Крыловъ указываетъ ея, такъ сказать, органическое развитіе: главное зло нечеловѣчныхъ и даже безчеловѣчныхъ отношеній сильныхъ къ слабымъ заключается, по его мнѣнію, въ отсутствіи нравственныхъ принциповъ, въ полнѣйшемъ непониманіи долга, что, въ свою очередь, имѣетъ ближайшую причину въ ненормальности воспитанія и отсутствіи умственнаго развитія. Эта жанровая картинка, написанная очень бойко и живо, является горячимъ протестомъ противъ невѣжества, которымъ одинаково были порабощены и сторонники „старины зачадѣлой“ и люди, вкусившіе на ходу отъ плода европейской цивилизаціи. Сквозь эту, повидимому, веселенькую эпопею ясно просвѣчиваетъ гражданская скорбь, скорбь о поруганномъ человѣческомъ достоинствѣ, страстное негодованіе на произволъ и грубое насиліе, царящіе въ неперебродившемъ его обществѣ, идущемъ въ полутьмѣ и не видящемъ слабаго свѣточа, который брезжится вдали въ видѣ научнаго знанія и твердыхъ нравственныхъ принциповъ. Эти „невидимыя слезы“ сквозь „видимый міру смѣхъ“, несомнѣнно знаменуютъ собой умственный и нравственный ростъ лучшихъ представителей

русской литературы, характеризуя послѣднюю какъ нарождающуюся силу, съ которой въ недалекомъ будущемъ придется считаться русскимъ „межеумкамъ“ и „вѣтреникамъ“. А это уже важный шагъ впередъ, и Карамзинъ черезъ нѣсколько лѣтъ уже свободно (не въ формѣ сатиры) заговорилъ о необходимости реформировать воспитаніе въ связи съ реорганизаціей семейной обстановки, такъ вліяющей на дѣтей[1]).

Къ сожалѣнію, блестящія статьи Крылова были его „лебединой“ сатирической пѣснью. „Зритель“ издавался 11 мѣсяцевъ и въ слѣдующемъ году превратился въ „С.-Петербургскій Меркурій“, который знаменуетъ полнѣйшій упадокъ крыловской сатиры. Остротѣ сатиры здѣсь въ сильной степени вредятъ личныя нападки, которымъ отдалъ дань талантливый писатель. Такъ, напримѣръ, „Похвальная рѣчь Ермалафиду“ безъ сомнѣнія имѣла бы бо̀льшеѐ значеніе, если бы не такъ замѣтна была здѣсь сатира на Карамзина, съ которымъ рѣшительно расходился Крыловъ, не понимавшій, да въ силу особенностей своего воспитанія и развитія и не могшій понять его.

Объ этой непріязни Карамзинъ замѣтилъ въ письмѣ къ Дмитріеву: „Итакъ, Эминъ, Крыловъ, Клушинъ, Туманскій не благоволятъ ко мнѣ! Какое несчастіе!“[2]). . . . . .

Подведемъ теперь итогъ нашимъ экскурсіямъ въ область Крыловскихъ журналовъ.

Если мы сравнимъ дѣятельность Крылова на поприщѣ обличенія нравовъ съ дѣятельностью его предшественниковъ и собратьевъ по оружію, то, отдавая имъ должное, мы должны признать первую роль за Крыловымъ. Чѣмъ-то молодымъ, увѣреннымъ вѣетъ отъ произведеній нашего писателя, еще не искушеннаго жизненнымъ опытомъ и потому рѣшительно поднимающаго Ювеналовъ бичъ и грозно и властно кричащаго: quos ego!

Отдаваясь всецѣло журнальной дѣятельности и выбравъ для своихъ благородныхъ цѣлей сатиру, Крыловъ твердо вѣритъ въ великую силу печати, упорно борется, создаетъ и отстаиваетъ себѣ положеніе, терпитъ не разъ крушеніе, снова собирается съ новыми силами, снова выходитъ на борьбу со зломъ во имя непреложныхъ истинъ, снова падаетъ, снова подымается, и только тогда выходитъ изъ борьбы, когда у него окончательно истощаются силы, не нравственныя, конечно, а матеріальныя, потому что нельзя было вести журналъ, даже при даровыхъ сотрудникахъ, имѣя всего на всего 170 подписчиковъ, напримѣръ на „Зритель“. Равнодушіе публики, этого набалованнаго капризнаго дитяти, отсутствіе въ обществѣ интереса къ печатному слову, погубили журнальную дѣятельность Крылова, какъ губили они не разъ, и даже на нашей памяти, прекрасные органы печати. Но если Крыловъ былъ уничтоженъ съ матеріальной стороны, то онъ сохранилъ духъ

---

[1]) „Вѣстникъ Европы“ 1802 г., № 12, „Пріятные виды, надежда и желаніе нынѣшняго времени“.

[2]) Письма Карамзина къ Дмитріеву. Пб., 1889 г., стран. 33.

бодръ и повелъ борьбу инымъ оружіемъ — и стяжалъ себѣ славу великаго баснописца.

Не легко испытаніе для журнала, если черезъ сто лѣтъ снова взяться за него и читать его не отрывками и мало-по-малу, какъ читали его прежде, а быстро, сряду, какъ цѣлую книгу. Рѣдкія изданія прошлаго вѣка выдерживаютъ подобное испытаніе. Журнальныя статьи Крылова съ честью выходятъ изъ него, а „Похвальная рѣчь дѣдушкѣ“ слушается до сихъ поръ, какъ убѣдилъ меня опытъ, съ величайшимъ не ослабѣвающимъ интересомъ отъ начала до конца простыми людьми самыхъ разнообразныхъ воззрѣній, положеній и возрастовъ. А это — удѣлъ немногихъ, дѣйствительно великихъ произведеній.

И теперь, присутствуя на столѣтіи Крыловскихъ журналовъ и вновь пересматривая ихъ, мы убѣждаемся, что дѣятельность его юности ни чуть не ниже работъ послѣдующаго зрѣлаго возраста, и что Крыловъ пророчески предугадалъ роль и значеніе своихъ журналовъ еще въ 1792 г. на страницахъ „Зрителя“: „Слово, подобно безсмертному духу, имѣетъ даръ, не раздѣляясь, во многихъ мѣстахъ пребывать въ одно время. Единый мудрецъ, торжествуя надъ смертію, похищаетъ право говорить съ позднѣйшимъ своимъ потомствомъ“. Пусть же „безсмертный духъ“ русскаго журналиста Крылова осѣняетъ его „позднѣйшее“ литературное „потомство“, и пусть это послѣднее на примѣрѣ дорогого учителя учиться уважать высокіе принципы правды, добра и свѣта, проводя ихъ неуклонно въ жизнь и твердо — по примѣру своего благороднаго предшественника — стоя на защитѣ человѣческихъ правъ и интересовъ.

Тимоѳеевъ.

Жизненность, серіозность и разнообразіе содержанія, зрѣлость и обдуманность мысли, искренность чувства, игривость остроумія, прекрасный языкъ — отличительныя свойства сатиры Крылова въ „Почтѣ Духовъ“, „Зрителѣ“ и „Меркуріи“.

Журнальная дѣятельность, къ которой вслѣдъ за тѣмъ обратился Крыловъ, имѣла гораздо больше успѣха и заключаетъ въ себѣ дѣйствительный историко-литературный интересъ. Въ обращеніи къ ней и къ слѣдовавшимъ за нею комедіямъ онъ, какъ было уже замѣчено, сдѣлалъ большой шагъ впередъ въ приближеніи къ истинному своему призванію, въ пониманіи существеннаго характера своего дарованія. Всѣ три его журнала были исключительно сатирическаго направленія и заключили собою довольно длинный, хотя неоднократно прерывавшійся, рядъ екатерининскихъ журналовъ того же рода, начавшійся спустя пять лѣтъ по вступленіи на престолъ Екатерины и окончившійся „С.-Петербургскимъ Меркуріемъ“. Въ длинномъ ряду издателей самое почетное мѣсто, безспорно, принадлежитъ Новикову, журналы котораго имѣли необыкновенный для того времени успѣхъ и доставили ему громкую и вполнѣ заслуженную извѣстность, и едва ли можно

сомнѣваться въ томъ, что этотъ успѣхъ и эта извѣстность Новикова служили для Крылова немаловажнымъ побужденіемъ испытать счастья на той же дорогѣ. Предпріятіе, слѣдовательно, было не только не новое, но и имѣвшее счастливыхъ и даровитыхъ предшественниковъ, а потому тѣмъ труднѣе было возбудить и поддержать вниманіе общества, давно привыкшее къ явленіямъ этого рода, а можетъ быть и нѣсколько утомленное ими. Самое содержаніе сатиры было такъ истощено предшествовавшими журналами, а также комедіями Фонвизина и самой императрицы, что необходимо было большое искусство и находчивость, чтобы съ успѣхомъ выдержать новый опытъ. Было и еще одно важное обстоятельство, затруднявшее новое предпріятіе Крылова. Извѣстно, что Екатерина II, сначала съ большимъ сочувствіемъ относившаяся къ возникшему литературному движенію вообще и къ сатирическимъ журналамъ въ частности, видѣвшая въ сатирѣ одно изъ сильныхъ образовательныхъ средствъ, сама посвящавшая свои досуги литературной дѣятельности въ этомъ направленіи, къ концу жизни, подъ вліяніемъ различныхъ обстоятельствъ, совершенно измѣнила образъ мыслей. Въ то время, когда Крыловъ приступалъ къ изданію своего журнала, Новиковъ уже сидѣлъ въ Шлиссельбургской крѣпости. Все это, взятое вмѣстѣ, доказываетъ, что время, выбранное Крыловымъ для новаго опыта, ни въ какомъ случаѣ нельзя назвать благопріятнымъ. И однако, журналы его, не столько новостью содержанія, сколько умѣньемъ и въ этомъ старомъ содержаніи открыть новыя стороны, разнообразіемъ точекъ зрѣнія, живостью и смѣлостью сатиры, затѣйливостью пріемовъ, легкимъ и тонкимъ остроуміемъ, дѣйствительно способны были даже въ то время обратить на себя общее вниманіе.

Статьи Крылова въ первомъ журналѣ „Почта Духовъ“, написанныя въ формѣ писемъ Зора, Буристона и Вѣстодава къ волшебнику Маликульмульку, заключаютъ въ себѣ вообще уже извѣстные сатирическіе мотивы: преслѣдованіе грубыхъ обычаевъ старины и невѣжества и, наоборотъ, безсмысленнаго и слѣпого увлеченія новизною, слѣпого и безотчетнаго поклоненія всему французскому и столько же безотчетнаго пренебреженія добрыхъ старыхъ порядковъ. Особенно обличеніе и осмѣяніе поклоненія всему французскому во вредъ русскому было господствующею и основною чертой всей сатиры Крылова. Ничто такъ не тревожило вообще его спокойной натуры, ничто такъ не возмущало его патріотическаго чувства, какъ вторженіе широкимъ и неудержимымъ потокомъ вредныхъ иноземныхъ обычаевъ въ сферу воспитанія и образованія, угрожавшихъ, повидимому, развращеніемъ будущихъ поколѣній и быстрымъ ниспроверженіемъ самыхъ основаній, на которыхъ покоилась старая русская жизнь. Здѣсь онъ былъ неумолимъ, и его сатира, несмотря на изношенность и избитость темы, вооружалась такою живою, острою и безпощадно-язвительною насмѣшкой, что должна была поражать въ самое сердце даже отупѣлаго и дошедшаго до безчувствія галломана. Не щадилъ онъ и недостатковъ нашей старины, но этотъ новый недостатокъ не давалъ ему

покоя, онъ обращался къ нему постоянно и преслѣдовалъ нерѣдко съ раздражительностію и ожесточеніемъ. Въ изображеніи растлѣнія нравовъ французскимъ воспитаніемъ краски его становятся столь ярки и поразительны, вся картина проникается такимъ глубокимъ убѣжденіемъ, такою искренностію чувства, что и въ настоящее время, начавъ читать статьи его журналовъ отъ нечего читать, вы непремѣнно прочтете ихъ до конца. Здѣсь вы видите, что врожденное сатирическое дарованіе Крылова выступило на свою большую дорогу, хотя и не открыло еще своей настоящей спеціальности, и если можно относиться съ нѣкоторымъ недовѣріемъ къ мысли, что „Крыловъ, навсегда ограничившись впослѣдствіи баснями, опрометчиво сошелъ съ поприща счастливаго нравописателя“, то только потому, что вообще гаданія этого рода совершенно безполезны въ наукѣ и не ведутъ ни къ чему.

Еще не прошло одного вѣка, пишетъ Зоръ Маликульмульку, какъ жители здѣшніе сами воспитывали своихъ дѣтей и толковали имъ только о томъ, чтобъ они были честными людьми, храбрыми на войнѣ и твердыми въ перемѣнахъ счастія; къ такимъ наставленіямъ нерѣдко способствовали примѣры самихъ отцовъ, которые всегда старались держать при себѣ дѣтей своихъ. Тогда жители здѣшніе хотя не были краснорѣчивы, но говорили такія истины, которыя не нужно было поддерживать краснорѣчіемъ. Теперь же, по прошествіи варварскихъ временъ, вздумали, что тотъ не можетъ быть хорошимъ гражданиномъ, кто не умѣетъ танцовать, прыгать, вертѣться, говорить по-французски и болтать цѣлый день, не затворяя рта, въ бесѣдахъ. Къ такому воспитанію необходимо понадобились французы (I, 167).

И вотъ содержательница французской модной лавки, ускользнувшая изъ Парижскаго смирительнаго дома, учитъ своего братца только-что выскочившаго изъ Бастиліи и увернувшагося отъ висѣлицы, какъ онъ долженъ вести себя въ званіи учителя русскихъ дѣтей:

Будь важенъ, показывай отвращеніе ко всему, что̀ не во французскомъ вкусѣ, и чаще наказывай дѣтей за то, если они не почувствуютъ склонности къ щегольству и къ нашимъ уборамъ, что̀ долженъ ты называть опрятствомъ... берегись передъ дѣтьми раскрывать умныя книги, твердя ученикамъ только то, какъ должно жить въ большомъ свѣтѣ; а когда они вырастутъ, старайся потакать порокамъ: они тебя тѣмъ болѣе полюбятъ и удвоятъ твое жалованье... маленькихъ пріучай къ разнымъ шалостямъ, а когда вырастутъ, помогай имъ мотать и дѣлать разные денежные переводы, набери съ нихъ векселей черезъ третьи руки, и если только будетъ можно, разори ихъ (I, 158—169).

Отсюда мотовство, картежная игра, господство модъ и разврата и полнѣйшая распущенность семейной жизни. Польза отъ мотовства великая — мнѣніе иностранцевъ о нашемъ неистощимомъ богатствѣ, а вредъ—бездѣлица, почти непримѣтенъ, и состоитъ только въ томъ, что наши мужики иногда умираютъ съ голоду, а въ городахъ всему необходимому великая дороговизна. Доходившая до крайности семейная распущенность, разрывавшая всякія связи между мужемъ и женой, родителями и дѣтьми, постоянно встрѣчала сильнѣйшее обличеніе во всѣхъ нашихъ журналахъ. Описывая свадьбу одного моднаго

щеголя, Крыловъ рисуетъ цѣлую картину самаго отвратительнаго разврата (80—86).

Дѣти, которыя приписываются такому прекрасному супружеству, воспитываются съ равною съ обѣихъ сторонъ прилежностію. Мужъ, не почитая это за свое дѣло, думаетъ, что и того довольно съ его стороны сдѣлано, когда они носятъ его имя; а жена, видя, какъ мало о нихъ думаетъ тотъ, кто причиною ихъ рожденія, сама старается перещеголять его въ нерадѣніи, и такія-то прекрасныя отрасли готовятся со временемъ занимать какія-нибудь важныя мѣста въ государствѣ (84).

Отъ этой, изъ-чужа занесенной, заразы Крыловъ неоднократно обращался къ нашимъ домашнимъ грѣхамъ. Въ его изображеніи вельможи (115—123), въ передней котораго просители тщетно ожидаютъ двадцать лѣтъ милости, который, „закутавшись въ свой плащъ“, какъ молнія пролетаетъ переднюю или „выѣзжаетъ со двора совсѣмъ съ другого подъѣзда“, — вѣрныя и знакомыя черты времени. Столь же вѣрныя и знакомыя черты того времени, перешедшія и въ позднѣйшее, въ его судьѣ, соглашающемся за весьма сходную цѣну уморить въ тюрьмѣ подсудимаго (26), которому такъ же естественно продавать правосудіе, какъ придворному не платить долговъ, или купцу имѣть окороченный аршинъ и невѣрные вѣсы (54), у котораго вѣсы правосудія могли повиноваться одному взгляду молоденькой жены подсудимаго (141). Судъ, въ которомъ возможны были подобныя явленія, благодаря великой реформѣ, совершившейся на нашихъ глазахъ, безвозвратно отошелъ въ прошедшее и сдѣлался достояніемъ исторіи. Безвозвратно отошелъ въ прошедшее и образъ той помѣщицы, для которой крестьяне были только *res vilis*, предметъ непрерывнаго упражненія языка и рукъ, которая, пересѣкши десятки ихъ, съ невозмутимо-спокойнымъ сердцемъ отправлялась въ церковь (139). Отходитъ въ прошедшее и образъ того военнаго, которому оказывался болѣе нужнымъ лобъ, нежели мозгъ, который пилъ для храбрости, перемѣнялъ любовницъ, чтобы не быть ни чьимъ плѣнникомъ, игралъ, чтобы привыкнуть къ непостоянству счастія, обманывалъ, чтобы пріучить свой духъ къ военнымъ хитростямъ и т. д. (51). Должны отойти въ прошедшее и тѣ начальники, которые, какъ Авдѣй Частобраловъ Крылова, измѣряютъ достоинство своихъ подчиненныхъ лестью и униженіемъ, утѣшая себя тѣмъ, что „вѣдомости не животная книга, въ нихъ не одни праведные вписываются“ (149). Интересенъ и вѣренъ отзывъ Крылова о положеніи ученыхъ въ его время въ большомъ свѣтѣ, подтверждаемый множествомъ современныхъ свидѣтельствъ.

Мнѣ случалось видѣть, пишетъ тотъ же Зоръ Маликульмульку, въ самыхъ знатнѣйшихъ домахъ портреты ученыхъ людей, хотя тѣ самые ученые совсѣмъ не имѣли входу и въ ихъ прихожія. Здѣсь, въ большомъ свѣтѣ почитается за невѣжество, чтобъ не знать по названію вновь выходящихъ твореній, или чтобъ не знать именъ современныхъ писателей; но чтобъ читать тѣ сочиненія, то считается за потерю времени; а чтобъ имѣть знакомство съ авторами, то считается низостію; ибо въ такихъ случаяхъ сравниваются они съ ремесленниками, которые однакоже несравненно болѣе выигрываютъ въ своей жизни, нежели ученые (34).

Всѣ приведенныя нами мѣста изъ перваго журнала Крылова свидѣтельствуетъ ясно о смѣлости, бойкости, рѣзвости и жизненности его сатиры — о качествахъ, за которыя читателю не трудно примириться съ нѣкоторыми недостатками статей двадцатилѣтняго журналиста: съ понятнымъ преувеличеніемъ въ изображеніяхъ, доходящимъ иногда до неестественности, съ красками, слишкомъ густыми и яркими, съ немногими скандалёзными сценами и съ недостаточною еще выработкою языка, иногда несвободнаго отъ тяжелыхъ и иногда не совсѣмъ правильныхъ оборотовъ и выраженій.

Статьи въ „Зрителѣ“ и „Меркуріи“, какъ и должно ожидать, отличаются еще бо́льшими достоинствами: большею естественностью и непринужденностью въ развитіи содержанія, большею серіозностью и разнообразіемъ самаго содержанія, большею тонкостью, игривостію остроумія, всегда умѣстнаго, и, наконецъ, болѣе обработаннымъ, живымъ и бойкимъ языкомъ. Вы слѣдите за развитіемъ мысли Крылова и невольно замѣчаете, что она отъ постояннаго упражненія становится шире, разнообразнѣе и глубже. Здѣсь онъ иногда задается вопросами общаго и отвлеченнаго характера, вдумывается въ нихъ и отвѣчаетъ на нихъ ясно, здраво и остроумно. Его „восточная повѣсть Каибъ“, образчикъ множества повѣстей этого рода, основанная на давно извѣстныхъ сказочныхъ мотивахъ, въ описаніи блестящаго двора калифа и особенно его дивана, обсуждающаго намѣреніе повелителя правовѣрныхъ предпринять тайно, для разсѣянія скуки, путешествіе по своему государству, отличается бойкимъ и живымъ разсказомъ, легкимъ и ѣдкимъ остроуміемъ.

Каибъ ничего не начиналъ безъ согласія своего дивана; но какъ онъ былъ миролюбивъ, то для избѣжанія споровъ, начиналъ свои рѣчи такъ: „Господа! я хочу того-то; кто имѣетъ на это возраженіе, тотъ можетъ свободно его объявить: въ ту же минуту получитъ онъ пятьсотъ ударовъ воловьею жилою по пятамъ, а послѣ мы размотримъ его голосъ“. Такимъ удачнымъ предисловіемъ поддерживалъ онъ совершенное согласіе между собою и совѣтомъ и придавалъ своимъ мнѣніямъ такую вѣроятность, что разумнѣйшіе изъ дивана удивлялись ихъ премудрости. И для того-то хотя иногда терпѣлъ онъ визирей съ крѣпкою головою, но не могъ терпѣть тѣхъ, у которыхъ были крѣпки подошвы. Такіе люди, говаривалъ онъ, всегда думаютъ, что они умнѣе другихъ, и они для меня не годятся. Мнѣ надобны визири, у которыхъ бы разумъ, безъ согласія ихъ пятокъ, ничего не начиналъ (I, 202).

Забравшись въ ненастную погоду къ кропателю одъ, онъ выслушиваетъ отъ него слѣдующую характеристику оды: „Ода какъ шелковый чулокъ, который всякій старается растягивать на свою ногу... Можно набрать сколько угодно похвалъ, поднести кому угодно, и нѣтъ визиря, который бы описанія всѣхъ возможныхъ достоинствъ не принялъ сколкомъ съ своей высокой особы“ (220). Крыловъ неоднократно возвращается къ одѣ, сильно надоѣвшей въ то время. Въ своихъ „Ночахъ“, отдѣлываясь отъ своей докучливой посѣтительницы, богини ночи, онъ притворяется самъ писателемъ одъ.

Мы съ пріятелемъ, говоритъ онъ, подрядились поставить къ завтрему оду, и на мою часть досталось сдѣлать пятьдесятъ двѣ строфы похвалъ;

и хотя надежда, что мнѣ заплатятъ наличными, придаетъ крылья моему воображенію, и я списалъ уже изъ разныхъ одъ три строфы, но все еще остается выписывать сорокъ девять, а еще и писателей не выбралъ, съ которыхъ бы можно было собрать такой большой оброкъ (249).

Та же посѣтительница даетъ нашему автору слѣдующій совѣтъ:

Если ты увидишь Парнасскаго нищаго, который, схватя, вмѣсто ножа, свою оду, нападаетъ съ нею на перваго денежнаго прохожаго и перечитываетъ наугадъ достоинства того, кто едва по имени только ему извѣстенъ; если увидишь ты, что онъ потѣетъ надъ продажными похвалами и хочетъ переупрямить цѣлый свѣтъ, навязываясь ему на шею съ своими одами, въ которыхъ, наперекоръ здравому разсудку и истинѣ, отводитъ онъ непремѣнныя квартиры добродѣтелямъ тамъ, куда онѣ заглянуть боятся, и ставитъ престолъ разуму въ такой головѣ, въ которой сквозной вѣтеръ, то запиши это и скажи свое мнѣніе (255).

Въ уста той же богини онъ влагаетъ слѣдующее правило для сатирика: „Пиши такъ, чтобъ всякій улыбался, читая твои описанія, иные бы краснѣли, но чтобъ на тебя никто не сердился“ (255). Изъ тѣхъ же „Ночей“ видно, какой возвышенный идеалъ великаго поэта и мудреца носился предъ воображеніемъ двадцатилѣтняго Крылова.

Его слово, его мысли — вотъ одно твореніе, дающее цѣну человѣку и избавляющее его отъ совершеннаго разрушенія; вотъ одно произведеніе, которое борется съ вѣками, преобораетъ ихъ ядовитость, торжествуетъ надъ ними и всегда пребываетъ столь же ново и сильно, какъ и въ ту минуту, когда рождено оно человѣкомъ! Сильнѣйшія монархіи пали, съ ними исчезли полки мнимыхъ героевъ, идоловъ народа. Все разрушается: владѣнія и племена исчезаютъ; на что ни обратимъ взоры, все скорыми шагами течетъ къ своему ничтожеству. Но Орфей и Гомеръ цвѣтутъ, и голосъ ихъ столь же плѣнителенъ, какъ и въ ту минуту, когда онъ ими произносился... Нравоучитель, управляемый страхомъ и пресмыкающеюся лестью, есть скопецъ, проповѣдующій дѣвство, котораго скованныя насильствомъ чувства производятъ себѣ не подражаніе, но посмѣяніе (242).

Четыре рѣчи Крылова въ „Зрителѣ“ и „Меркуріи“ „похвальная рѣчь въ память моему дѣдушкѣ“, „рѣчь повѣсы въ собраніи дураковъ“, „рѣчь о наукѣ убивать время“ и „похвальная рѣчь Ермалафиду“ — отличаются такими новыми сатирическими оборотами, такою зрѣлостію и обдуманностію мысли, такимъ непринужденнымъ остроуміемъ и такимъ прекраснымъ языкомъ, что кажется невѣроятнымъ, чтобъ онѣ могли быть написаны семьдесятъ пять лѣтъ тому назадъ. На современниковъ эти статьи должны были производить весьма сильное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что почти все ихъ содержаніе затрогиваетъ весьма серіозныя стороны жизни. Первая, посвященная, повидимому, похвалѣ отъ имени внука дѣдушкѣ помѣщику, заключаетъ въ себѣ самую острую и ѣдкую сатиру на тогдашній безпутный помѣщичій бытъ. Ораторъ-внукъ, употребляя извѣстный ораторскій пріемъ, выражаетъ недоумѣніе, кого хвалить, дѣдушку ли, свалившагося вмѣстѣ съ лошадью въ ровъ на охотѣ и погибшаго достойною его смертію, или лошадь, раздѣлившую судьбу своего хозяина и только желаніе доказать, что сердце покойника не было однимъ стойломъ для его гнѣдой лошади, что онъ удѣлялъ и внуку частичку своего сердца,

склоняетъ его на сторону перваго. Страшное разореніе и ограбленіе крестьянъ, блѣдныхъ, изнуренныхъ, умирающихъ съ голоду, заставлявшихъ заключать, что на сто верстъ вокругъ нѣтъ ни корки хлѣба ни чахотной курицы, ораторъ изображаетъ простодушнымъ изумленіемъ предъ богатствомъ и роскошью стола дѣдушки. Изумленіе это объясняется необыкновеннымъ дарованіемъ хозяина обѣдать въ своихъ деревняхъ пышно и роскошно, когда въ нихъ наблюдался величайшій постъ. Переходя, послѣ этого приступа, къ самой темѣ рѣчи, ораторъ естественно обращается прежде всего къ благородному происхожденію покойника. Мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести здѣсь это мѣсто.

Сколько ни бредятъ философы, что по родословной всего свѣта мы братья, и сколько ни твердятъ, что всѣ мы дѣти одного Адама, но благородный человѣкъ долженъ стыдиться такой философіи... Ничто такъ человѣка не возвышаетъ, какъ благородное происхожденіе. Пусть кричатъ ученые, что вельможа и нищій имѣютъ подобное тѣло, душу, страсти, слабости и добродѣтели; если это правда, то тутъ не вина благородныхъ, но вина природы, что она производитъ ихъ на свѣтъ такъ же, какъ и подлѣйшихъ простолюдиновъ, и что никакими выгодами не отличаетъ нашего брата, дворянина: это знакъ ея лѣности и нераченія. Такъ, государи мои! И если бы эта природа была существо, то ей очень было бы стыдно, что тогда какъ самому послѣднему червяку удѣляетъ она выгоды, свойственныя его состоянію, когда самое мелкое насѣкомое получаетъ отъ нея свой цвѣтъ и свои способности, когда, смотря на всѣхъ животныхъ, кажется намъ, что она неисчерпаема въ разновидности и въ изобрѣтеніи, — тогда, къ стыду ея и къ сожалѣнію нашему, не выдумала она ничего, чѣмъ бы отличался нашъ братъ, дворянинъ, отъ мужика, и не прибавила намъ ни одного пальца, въ знакъ нашего преимущества передъ крестьяниномъ (295).

И дѣйствительно, продолжаетъ ораторъ, покойный былъ истиннымъ дворяниномъ по рожденію: еще на второмъ году онъ началъ царапать глаза и кусать уши своей кормилицы. Въ товарищи дѣтства дана была ему болонская собачка — и здѣсь крылась первая причина, что герой нашъ во всю жизнь любилъ больше собакъ, нежели людей. Изыскивая средства пріучить животныхъ покорно и безгласно переносить побои и мученія и встрѣчая въ нихъ постоянно дерзость огрызаться, онъ пришелъ къ заключенію, которое онъ умѣлъ сохранить во всю свою жизнь, что крестьяне ниже животныхъ. Образованіе его окончилось скоро, вмѣстѣ съ послѣднею страницею букваря, такъ какъ отецъ его искренно раздѣлялъ всеобщее дворянское убѣжденіе, что „знатному барину непристойно читать книги“. Послѣдствія такого воспитанія и образованія были блистательны: трактирная жизнь, картежная игра и пьянство, разстроившія его состояніе, переселили его въ деревню, гдѣ онъ тотчасъ же объявилъ ожесточенную войну зайцамъ, рѣшившись истребить у себя весь заячій родъ — и погибъ съ честію на полѣ брани! Рѣчь оканчивается заключеніемъ, достойнымъ ея предмета. Оканчивая рѣчь и обозрѣвая слушателей, ораторъ замѣчаетъ, что они всѣ заснули отъ умиленія. „Торжествуй, покойный мой другъ, въ невольномъ восторгѣ воскликнулъ ораторъ: твои друзья,

любя тебя, наслѣдовали твои нравы. Такъ точно нѣкогда засыпалъ ты на своихъ веселыхъ вечеринкахъ, вполовину съ окунутымъ въ ендову носомъ".

Въ рѣчи, посвященной наукѣ убивать время, ораторъ сначала старается расположить къ себѣ слушателей, отвѣчая на сдѣланное имъ себѣ возраженіе, что напрасно хвалить науку, которая и безъ того всегда процвѣтала.

Въ самомъ здѣшнемъ собраніи я вижу примѣры природныхъ способностей; вижу съ восхищеніемъ прелестницъ нашихъ праотцевъ, которыя, переживъ три поколѣнія, и теперь не могутъ догадаться, что онѣ не ровесницы шестнадцатилѣтнимъ дѣвушкамъ. Въ другомъ мѣстѣ вижу я почтенныхъ старичковъ, которые съ такимъ же просвѣщеніемъ входятъ въ могилу, съ какимъ вошли въ колыбель, и еще кажутся младенцами; они примѣчаютъ глубокую свою старость только потому, что имъ нельзя щелкать орѣховъ. Какая скромность: проносить семьдесятъ лѣтъ свою голову и не сдѣлать изъ нея никакого употребленія! (335).

Соглашаясь отчасти съ дѣльностью возраженія, онъ однако заключаетъ, что словесныя возбужденія необходимы, потому что благородная жадность къ похвалѣ есть общая всему человѣческому роду. Раздѣливъ новую науку на двѣ части, — на науку ничего не дѣлать и проводить время въ такихъ упражненіяхъ, которыя не оставляютъ въ душѣ никакого впечатлѣнія, ораторъ такъ выражаетъ ея важность сравнительно со всѣми другими науками:

Какой великій предметъ для благороднаго человѣка убивать то, что̀ все убиваетъ, преодолѣвать то, чему ничто противустоять не можетъ!... Тотъ истинный философъ, говорятъ мудрецы, кто умѣетъ презирать мірскія сокровища; потомъ сказываютъ, что время драгоцѣннѣе золота и лучше всѣхъ земныхъ благъ. Но когда мудрецы эти тщеславятся достоинствомъ, что они презираютъ золото, то сколько же почтеннѣе мы ихъ, пренебрегая самое время, это сокровище, котораго тратить нѣтъ даже и у нихъ твердости духа? Удивляются Сципіону Африканскому, что онъ сжегъ свой флотъ, чтобы воспрепятствовать возвращенію своему въ Римъ. Рѣдкая вещь! Имѣя храбрыхъ воиновъ, онъ надѣялся сжечь Карѳагенъ и возвратиться домой на новыхъ судахъ. Но мы, сожигая, такъ сказать, наше время, не имѣемъ никакой надежды возвратиться къ нашему младенчеству, и, слѣдовательно, всякую минуту превосходимъ Сципіона мужествомъ. Великій Титъ плакалъ, говорятъ, о томъ днѣ, въ который не дѣлалъ добраго дѣла; но мы — о примѣръ истиннаго великодушія! — мы проживаемъ лѣтъ по пятидесяти по пустому, и ни разу о томъ не поплачемъ! (358).

Вслѣдъ за тѣмъ ораторъ, извинившись, что нѣсколько потревожитъ скромность слушателей, перечисляетъ главнѣйшихъ героевъ большого свѣта, посвятившихъ себя наукѣ убивать время. Самаго интереснаго изъ нихъ, бездарнаго, но плодовитаго писателя, убивающаго время даже своихъ потомковъ, онъ приберегъ къ концу.

„Наводняя своими сочиненіями публику, онъ хочетъ и нѣсколько вѣковъ спустя быть орудіемъ убивать время. Какой похвалы заслуживаетъ онъ, когда, просиживая насквозь ночи, занимается важнымъ предметомъ — усыплять даже десятое наше поколѣніе по нисходящей линіи... и, что всего удивительнѣе, никакая академія не въ силахъ различить, что̀ онъ написалъ сквозь сонъ и что̀ на яву" (342).

Впрочемъ, ораторъ счелъ долгомъ оговориться, что этого героя онъ привелъ не на подражаніе, а на удивленіе, такъ какъ благородному человѣку во всякомъ случаѣ вредно и опасно заниматься книгами; онъ совѣтуетъ только не пренебрегать прекрасной способностью, кто ее имѣетъ, писать, никогда не читая, и нагромождать пирамиды печатныхъ бумагъ въ честь Парнасскимъ каникуламъ нынѣшняго времени.

Послѣдняя мысль послужила Крылову темою для похвальной рѣчи Ермалафиду, который и былъ именно героемъ, одареннымъ въ необыкновенной степени даромъ писать, ничего не читая. Наконецъ, въ послѣдней рѣчи онъ вооружется противъ дерзкихъ сатириковъ, осмѣливающихся возставать противъ той общепринятой въ большомъ свѣтѣ истины, что человѣку нуженъ разумъ только для злословія, вкусъ для кафтана и сердце для волокитства. Честь и хвала укорененія этой истины въ большомъ свѣтѣ, разумѣется, принадлежитъ французамъ. Сюда же могутъ быть отнесены и „Мысли философа по модѣ, или способъ казаться разумнымъ, не имѣя ни капли разума“. Воздавъ должную похвалу этой модной философіи, Крыловъ формулируетъ ее въ семи положеніяхъ, сущность которыхъ повторяется и въ другихъ его журнальныхъ статьяхъ.

Въ „Меркуріи“ помѣщены Крыловымъ, кромѣ того, два небольшихъ отзыва о двухъ комедіяхъ (Смѣхъ и горе и Алхимистъ) его друга и товарища по изданію двухъ послѣднихъ журналовъ, Клушина. Въ первомъ онъ высказываетъ въ немногихъ словахъ основательное мнѣніе о значеніи литературной критики. „Пристрастная и чрезмѣрная похвала, говоритъ онъ, изнѣживаетъ и разслабляетъ дарованія, колкая брань и насмѣшка ихъ повергаетъ въ отчаяніе и задушаетъ въ самомъ рожденіи; но безпристрастное сужденіе очищаетъ вкусъ и, указывая на погрѣшности одною рукою, увѣнчиваетъ другою красоты“. Замѣчателенъ и взглядъ его на существенныя условія драматическаго произведенія. Онъ справедливо указываетъ на недостатокъ дѣйствія какъ на слабую сторону комедіи, а также на то, что дѣйствіе не развивается съ внутреннею необходимостію изъ одного центра. Судя по заглавію авторъ хотѣлъ осмѣять порокъ смѣхомъ и плачемъ, а между тѣмъ представители того и другого — лица вставныя, эпизодическія, выводимыя часто безъ надобности. Роль нравоучителя, говорящаго, а не дѣйствующаго, явно нарушаетъ существенное условіе комедіи; „нравоученіе должно извлекаться на театрѣ изъ дѣйствій“. Благодаря автора за новость, живость и краткость развязки, онъ порицаетъ его за введеніе такихъ хитростей, которыя вовсе не оправдываются препятствіями. Въ отзывѣ о другой комедіи онъ замѣчаетъ только, что разговоры въ комедіи, большею частію, отдалены отъ содержанія и наполнены эпизодами, которые ни чуть не служатъ къ направленію главнаго дѣйствующаго лица. Эти два отзыва, единственные опыты Крылова въ литературной критикѣ, приводятъ насъ къ его собственнымъ комедіямъ, появленіе которыхъ относится къ тому же времени.

Лавровскій.

Сатирическіе журналы Крылова и ихъ сотрудники.

Съ 1788 г. Крыловъ вступилъ на новый литературный путь. Онъ успѣлъ завести кое-какія литературныя знакомства, напримѣръ, съ Рахманиновымъ — содержателемъ типографіи и переводчикомъ Вольтера, съ редакторомъ журнала „Лѣкарство отъ скуки и заботъ“ Ѳ. О. Туманскаго и начинающимъ драматическимъ писателемъ А. И. Клушинымъ. Въ журналѣ Туманскаго въ „Утреннихъ Часахъ“ Рахманинова онъ помѣстилъ два стихотворенія: небольшую эпиграмму и стихотвореніе „Утро“ (подражаніе Ломоносову). Вмѣстѣ съ Рахманиновымъ Крыловъ задумалъ изданіе сатирическаго журнала. Въ теченіе 1789 г. они выпустили 8 номеровъ „Почты Духовъ, или ученой, нравственной и критической переписки арабскаго философа Маликульмулька съ водяными, воздушными и подземными духами“. „Почта духовъ“ — одинъ изъ любопытнѣйшихъ русскихъ журналовъ прошлаго вѣка. Она была какъ бы продолженіемъ прервавшагося въ 1774 г. ряда сатирическихъ журналовъ, лучшая пора которыхъ были годы 1769—1774. Уже своимъ названіемъ она можетъ быть сопоставлена съ „Адской Почтой, или перепиской хромоногаго бѣса съ кривымъ“, журналомъ Ѳ. А. Эмина (1769), вышедшимъ какъ разъ въ 1788 г. вторымъ изданіемъ. Эминъ имѣлъ образцомъ le Diable Boiteux Лесажа. „Адская Почта“ была однимъ изъ лучшихъ сатирическихъ журналовъ; издатель ея смотрѣлъ высоко на призваніе сатиры и въ возгорѣвшейся между „Трутнемъ“ Н. И. Новикова и „Всякой Всячиной“ полемикѣ о сущности сатиры сталъ на сторону перваго. Помимо общихъ журналамъ той поры обличеній французоманіи, разврата, лихоимства, дурного воспитанія, угнетенія крестьянъ, Эминъ затрогивалъ вопросы болѣе общаго характера, онъ рѣшался касаться внутренней и внѣшней политики. Основой славы и благоденствія государства онъ считалъ не военныя пріобрѣтенія и милитаризмъ, а внутреннее благосостояніе; по его мнѣнію, усиленные налоги не могутъ улучшить финансовъ государства; онъ указывалъ на трудное положеніе „государей, которые не всегда могутъ имѣть твердаго пріятеля“, — вотъ почему имъ неизвѣстна масса злоупотребленій и среди мелкихъ чиновниковъ, и среди высшихъ сановниковъ; не безъ цѣли онъ останавливался, наконецъ, на невѣжествѣ духовенства, на жестокомъ управленіи въ Америкѣ испанцевъ, „не трудолюбіемъ, но тиранствомъ власть свою распространять привыкшихъ“[1]) и т. д. Указать на эти черты я считаю необходимымъ, такъ какъ до сихъ поръ принято на вѣру мнѣніе, что „Адская Почта“ не имѣетъ внутренняго сходства съ журналомъ Рахманинова. Между тѣмъ можно отыскать въ обоихъ журналахъ не только совпадающія мысли, но и цѣлыя картины[2]). Отношенія Крылова къ „Почтѣ духовъ“ нельзя назвать вполнѣ выясненными. Кры-

[1]) „Адская Почта“, 46, 47, 44; 115—118; 29, 23, 24; 197.
[2]) „А. П.“, 84; „П. Д.“, 193.

ловъ, во всякомъ случаѣ, не былъ единственнымъ вкладчикомъ журнала. Ему принадлежатъ 19 писемъ гномовъ Зора, Буристона и Вѣстодава[1]). Рахманиновъ, повидимому, тоже былъ не только издателемъ: „онъ былъ хорошо ученъ, зналъ языки, исторію, философію; онъ давалъ намъ матеріалы“, — такъ вспоминалъ впослѣдствіи о немъ самъ Крыловъ. Но болѣе важнымъ сотрудникомъ считаютъ извѣстнаго автора „Путешествія изъ Петербурга въ Москву“, А. Н. Радищева. Такое мнѣніе опирается на свидѣтельство Массона и высказано въ первый разъ А. Н. Пыпинымъ. Уже Плетневъ указалъ, что статьи, принадлежащія собственно Крылову, „составляютъ одну картину, въ которой остроумный писатель рѣшился нарисовать поражавшіе его пороки, слабости и рѣзко-смѣшныя стороны своего вѣка“. Въ самомъ дѣлѣ, письма Зора, Буристона и Вѣстодава по затронутымъ темамъ мало отличаются отъ обычныхъ въ сатирическихъ журналахъ обличеній: тѣ же нападки на французскія моды, щегольство, внѣшнее образованіе, лесть, продажные суды, развратъ, тѣ же типы французовъ воспитателей. Все это изложено по примѣру прежнихъ изданій въ чисто описательной формѣ; авторъ часто не могъ вдуматься въ эти явленія глубже, указать ихъ причины. Гораздо важнѣе и съ біографической и съ чисто литературной стороны замѣчанія Крылова о литературѣ и театрѣ. Онъ отмѣтилъ отсутствіе въ его время хорошихъ писателей; считающіе же себя хорошими писателями — не что иное, какъ плохіе переводчики. Причина этого явленія та, „что множество авторовъ занимаются не тѣмъ, чтобы, что нибудь написать, но чтобы что-нибудь напечатать и поспѣшить всенародно объявить, что они невѣжи“. Въ „Почтѣ Духовъ“ находимъ нѣсколько выходокъ противъ Княжнина (Риѳмокрада), справедливыхъ замѣчаній о театрѣ и его безсодержательномъ репертуарѣ. Всѣ замѣчанія и характеристики Крылова полны ѣдкой ироніи. Слѣдуетъ указать также на замѣчательный для того времени языкъ, сжатый, энергичный, полный образности.

Между корреспондентами философа Маликульмулька выдаются — безсодержательностью Бореидъ, смѣлостью и оригинальностью — Дальновидъ. Въ послѣднемъ именно съ полнымъ основаніемъ видятъ А. Н. Радищева. Самыя темы, имъ затронутыя, несомнѣнно близки къ темамъ „Путешествія“: правители, придворные, истинно честный человѣкъ, обязательность цѣломудрія для всѣхъ, истинные дворяне. Нѣкоторыя задушевныя мысли Радищева несомнѣнно можно прочесть и въ журналѣ Крылова[2]).

---

[1]) Въ „Собраніе сочиненій“ вошло только 18 писемъ.

[2]) Оставляя другимъ изслѣдователямъ дальнѣйшее сличеніе, я укажу только нѣкоторыя совпаденія: отрицательное отношеніе къ побѣдителямъ („Почта“), I, 239 слл. „Путешествіе“, изд. Суворина, 99 слл.); „мизантропы полезны въ государствѣ“ („Почта“ I, 29; „Путешествіе“ 75; срвн. „Этюды и характеристики“ Алексѣя Веселовскаго, М., 1894, стран. 148); идеалъ государя („Почта“, I, 9; „Путешествіе“, 278); основа семейнаго счастья — цѣломудріе, отсутствіе ревности („Почта“, II, 66, 69; „Путешествіе“ 201, 211). При этихъ совпаденіяхъ не могутъ быть случайны и сужденія о суетности міра и счастьѣ въ насъ самихъ („Почта“, I, 8—9; и „Путешествіе“, 117) и т. п. Дальновиду принадлежатъ письма 2, 4, 7, 20, 22, 24, 25, 29, 31, 33, 37; изъ нихъ только одно, 7-е, представляетъ собою не обычное Дальновиду *разсужденіе, а описаніе*. Общими чертами писемъ Д. можно признать постоянные

„Почта Духовъ“ прекратилась на августовской книжкѣ. Но Крыловъ при первомъ удобномъ случаѣ возобновилъ свою журнальную дѣятельность. Съ 1792 г. въ собственной типографіи, пріобрѣтенной отъ Рахманинова, онъ сталъ печатать журналъ „Зритель“. Направленіе новаго журнала, къ участію въ которомъ были приглашены А. И. Клушинъ, А. Бухарскій, И. Захаровъ и другіе, осталось сатирическое. „Право писателя представлять порокъ во всей гнусности, дабы всякъ получилъ къ нему отвращеніе, а добродѣтель во всей ея красотѣ, дабы плѣнить ею читателя: симъ правиломъ вознамѣрился воспользоваться „Зритель“, — читаемъ во „Введеніи“. Наиболѣе дѣятельнымъ сотрудникомъ „Зрителя“ былъ Клушинъ. Крыловъ помѣстилъ въ немъ рядъ лучшихъ своихъ сатиръ: „Ночи“, „Рѣчь, говоренная въ собраніи дураковъ“, „Похвальная рѣчь въ память моему дѣдушкѣ“, „Каибъ“, „Мысли философа по модѣ“. „Ночи“ — яркая сатира на развратъ современнаго общества. День и Ночь заспорили, кто изъ нихъ видитъ больше мерзостей; богиня Ночи поручаетъ Міроброду описать его странствованія и наблюденія ночью. „Рѣчь въ память моему дѣдушкѣ“ — одно изъ лучшихъ сатирическихъ сочиненій XVIII в. Она важна и какъ публицистическая выходка противъ крѣпостного права, и какъ историческая картина жизни средней руки помѣщиковъ прошлаго вѣка. Этотъ дѣдушка, „разумнѣйшій“ въ цѣломъ округѣ помѣщикъ и вмѣстѣ съ тѣмъ „лучшій другъ собакъ всего свѣта“, умѣлъ показать, „какъ должно проживать въ недѣлю благородному человѣку то, что двѣ тысячи подданныхъ ему простолюдиновъ вырабатываютъ въ годъ; онъ сильные подавалъ примѣры, какъ эти двѣ тысячи человѣкъ можно пересѣчь въ годъ раза два-три съ пользою; онъ имѣлъ дарованіе обѣдать въ своихъ деревняхъ пышно и роскошно, когда казалось, что въ нихъ наблюдался величайшій постъ“. Основывая свои достоинства только на происхожденіи, едва грамотный, онъ разорилъ поля своихъ крестьянъ, изгоняя изъ нихъ зайцевъ... Восточная повѣсть „Каибъ“ по формѣ примыкаетъ къ цѣлому ряду подобныхъ произведеній XVIII в. Описывая востокъ, авторъ всегда имѣлъ въ виду свою страну; но самая форма позволяла ему быть болѣе откровеннымъ. Основная мысль повѣсти—счастье заключается въ сознаніи оказанныхъ благодѣяній и взаимной любви. Авторъ сумѣлъ нарисовать нѣсколько придворной жизни, примѣры льстивыхъ рѣчей, изобразилъ типъ одописца. Нѣсколько слабѣе двѣ сатиры Крылова, появившіяся въ новомъ его журналѣ „С.-Петербургскій Меркурій“ (1793 г.): „Похвальная рѣчь наукѣ убивать время“ и „Похвальная рѣчь Ермалафиду“.

Главнымъ сотрудникомъ „Меркурія“ и соредакторомъ Крылова былъ Клушинъ. Самый журналъ явился въ противовѣсъ „Московскому Журналу“ Карамзина. Издатели находили у насъ недостатокъ въ хоро-

---

выводы изъ теоретическихъ положеній, напечатанные курсивомъ, нерѣдкія восклицанія (какъ и въ „Путешествіи“, наконецъ, нерѣдко сознаніе того, что авторъ не описываетъ видѣнныя имъ событія, а *представляетъ* ихъ себѣ (срвн., напр.,II, 9). Всѣ эти чисто формальныя черты роднятъ письма Д. съ „Путешествіемъ“.

шихъ литературныхъ журналахъ. „Для чего не сказать публикѣ о новыхъ произведеніяхъ россійской литературы? — спрашивали они — Для чего не возвѣстить о театрѣ, что на немъ играно особливо новаго и какъ играно? — Сіе право позволенное, и мы хотимъ имъ пользоваться. Наши замѣчанія, наши сужденія по сей части не есть сужденія деспотическія". Программа „Меркурія" подходила къ программѣ „Московскаго Журнала"; но выполненіе ея въ журналѣ Крылова было гораздо ниже. Нѣсколько стихотвореній Крылова, Клушина, Бухарскаго, кн. Хованскаго, И. Мартынова, Карабанова, двѣ-три критическія статьи Крылова, переводныя статьи по этнографіи, — вотъ и весь багажъ журнала. Можно прибавить, къ этому что Клушинъ часто писалъ замѣчательно небрежнымъ языкомъ. „Меркурій" не могъ имѣть успѣха и продержался только годъ. Самыя нападки на Карамзина и его новый слогъ, конечно, односторонни.

Лященко.

Крыловъ — публицистъ и критикъ.

Въ чемъ заключались критическія воззрѣнія знаменитаго баснописца, — вопросъ существенный при его художественной талантливости, и въ то же время очень трудный.

Что Крыловъ противникъ подражательности, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Въ томъ же „Зрителѣ" нанесено безчисленное множество жесточайшихъ ударовъ россійскому модному обезьянству и притомъ не ради только сатиры, а во имя гуманнаго общественнаго чувства. „Зритель" держался искренняго демократическаго направленія, и въ каждой книгѣ преслѣдовалъ дворянское тунеядство, рабское пристрастіе къ разорительному блеску, къ иноземнымъ модамъ, и особенно — полное отсутствіе умственныхъ интересовъ въ благородной средѣ.

Въ августѣ, напримѣръ, напечатана статья *Мысли философа по модѣ или способъ казаться, разумнымъ, не имѣя ни капли разума.* Здѣсь описанъ день благороднаго франта, изображены его учителя и руководители — французы, обучающіе русскихъ дворянъ „трудной наукѣ ничего не думать" и предварительно кончившіе курсъ на галерахъ. Все воспитаніе сводится къ такой морали: „Съ самаго начала, какъ станешь себя помнить, затверди, что ты благородный человѣкъ, что ты дворянинъ и, слѣдовательно, что ты родился только поѣдать тотъ хлѣбъ, который посѣютъ твои крестьяны; словомъ, вообрази, что ты счастливый трутень, у коево не обгрызаютъ крыльевъ, и что дѣды твои только для тово думали, чтобы доставить твоей головѣ право ничего не думать". И здѣсь, слѣдовательно, предъ нами то же самое отношеніе къ народу, какое мы знаемъ изъ произведеній Лукина. Очевидно, Крыловъ будетъ не менѣе убѣжденнымъ врагомъ современной аристократической лживой литературы, чѣмъ авторъ „Щепетильника". У Крылова только насмѣшки выйдутъ несравненно остроумнѣе и ядовитѣе. Это — прирожденный сатирическій талантъ, невольно переходящій къ убійственной художе-

ственной критикѣ на меценатское развращеніе современной литературы. Ничего не можетъ быть забавнѣе разговора калифа Наиба съ авторомъ одъ.

Калифъ начитанъ въ лирической поэзіи, простодушно вѣритъ ея чувствамъ, и теперь, во время путешествія по своему царству, на каждомъ шагу принужденъ испытывать жесточайшія разочарованія.

Оказывается, одописаніе просто ремесло, самое безопасное, хотя не всегда прибыльное. Героемъ оды можетъ быть кто угодно, лишь бы сочинитель могъ питать надежду на награду.

Калифъ пораженъ.

— Мнѣ удивительна способность ваша, — говоритъ онъ поэту, — хвалить такихъ, въ коихъ, по вашему признанію, весьма мало находите вы причинъ къ похваламъ.

— О, это ничево: повѣрьте, что это бездѣлица: мы даемъ нашему воображенію волю въ похвалахъ, съ тѣмъ только условіемъ, чтобъ послѣ всякое имя вставить можно было. Ода какъ шелковой чулокъ, которой всякой старается растягивать на свою ногу...

Поэтъ сравниваетъ ее съ сатирой и находитъ громадное преимущество оды. Въ сатирѣ нужно непремѣнно изображать дѣйствительные пороки извѣстнаго лица, а въ одѣ — сколь ни опиши добродѣтелей — никто не откажется признать ихъ своими. Наивный калифъ видитъ важное затрудненіе: вѣдь могутъ узнать ложь, героевъ одописца счесть пустыми пузырями, имъ же надутыми.

Ничего не значитъ. У поэта имѣется самое солидное оправданіе, изъ классической піитики.

— Аристотель иногда очень премудро говоритъ, что дѣйствія и героевъ должно описывать не такими, каковы они есть, но каковы быть должны. И мы подражаемъ сему благоразумному правилу въ нашихъ одахъ, иначе бы здѣсь оды превратились въ пасквили. Итакъ вы видите, сколь нужно читать правила древнихъ.

Еще любопытнѣе опытъ калифа по поводу другого излюбленнаго жанра классическаго искусства — идилліи и эклоги. Начитавшись сихъ произведеній, калифъ давно уже горѣлъ желаніемъ насладиться золотымъ вѣкомъ, царствующимъ въ деревняхъ, воочію полюбоваться на нѣжности пастушковъ и пастушекъ. Калифъ искренно любилъ своихъ поселянъ и всегда радовался, читая про ихъ счастье въ идилліяхъ. Государь даже завидовалъ ихъ участи: „естьли бы я не былъ калифомъ“, говаривалъ онъ, „то бы хотѣлъ быть пастушкомъ“. И вотъ, онъ, наконецъ, видитъ стадо... „Великій Магометъ“, вскричалъ онъ, „я нашелъ то, чево давно искалъ“, и сошелъ съ дороги въ поле искать счастливаго смертнаго, который наслаждается при своемъ стадѣ золотымъ вѣкомъ.

Прежде всего требовалось открыть ручеекъ: вѣдь пастушки всегда у чистаго источника наслаждаются любовнымъ блаженствомъ, все равно, какъ модные франты ищутъ счастья въ передникъ знатныхъ господъ. Потомъ неразлучный спутникъ идиллистическаго счастливца свирѣль.

Калифъ идетъ по полю и на берегу рѣчки дѣйствительно находитъ... но кого? Какое-то „запачканное твореніе, загорѣлое отъ солнца, заметанное грязью“. Калифъ даже сначала усумнился, человѣкъ ли это. Но голыя ноги и борода доказывали человѣческое званіе „творенія“. Все-таки оно не можетъ быть пастухомъ, калифъ справляется у грязнаго дикаря, гдѣ же искомый счастливецъ?

„Это я“, отвѣчало твореніе, и въ то же время размачивалъ корку хлѣба, чтобы легче было ее разжевать“.

Путешественникъ не можетъ опомниться отъ изумленія. Нѣтъ прежде всего свирѣли: оказывается пастухъ „голодный не охотникъ до пѣсенъ“. Потомъ отсутствуетъ пастушка... „Она поѣхала въ городъ съ возомъ дровъ и съ послѣднею курицею, чтобы, продавъ ихъ, было чѣмъ одѣться, и не замерзнуть зимою отъ холодныхъ утренниковъ“.

Калифъ, наконецъ, догадывается въ чемъ дѣло.

— Но поэтому жизнь ваша очень незавидна?

Пастухъ отвѣчаетъ съ истиннымъ „юморомъ висѣлицы“.

— О, кто охотникъ умирать съ голоду и мерзнуть отъ стужи, тотъ можетъ лопнуть отъ зависти, глядя на насъ.

Калифъ жестоко раскаивается, что довѣрялъ идилліямъ и эклогамъ. Выходитъ, стихотворцы обходятся съ людьми, какъ живописцы съ холстомъ: малюютъ все, что̀ угодно ихъ воображенію, и безбожно закрашиваютъ правду. Калифъ даетъ себѣ слово не судить по произведеніямъ поэтовъ о счастьѣ своихъ мусульманъ.

Трудно искуснѣе и остроумнѣе поразить классическую литературу въ самое сердце. И не одну классическую. Авторъ сказки предвосхитилъ критику противъ русскаго сентиментализма. Разговоръ калифа съ пастухомъ можно съ полнымъ правомъ обратить на Карамзинскую школу, и даже съ бо̀льшимъ основаніемъ, чѣмъ на ея предшественницу. Именно Карамзинъ ввелъ въ моду блаженнаго просвѣщеннаго земледѣльца и его нѣжную подругу, онъ создалъ повѣтріе чувствительныхъ вздоховъ и поселянскихъ фарсовъ, и на его литературѣ должна была развиться мечта у юнаго Александра I объ идиллическомъ отшельничествѣ и золотомъ вѣкѣ простого смертнаго. Ясно, при такомъ проницательномъ взглядѣ на основной недугъ современной литературы, Крыловъ могъ менѣе всего защищать первоисточникъ этого недуга. Писатель являлся слишкомъ талантливымъ *общественнымъ* сатирикомъ, чтобы остаться эстетическимъ старовѣромъ. Онъ первый изъ русскихъ журналистовъ рискнулъ предложить читателямъ длинный рядъ статей по литературной критикѣ, безъ всякихъ предварительныхъ оповѣщеній о столь обширномъ отдѣлѣ. Въ глазахъ издателя художественные вопросы въ данномъ случаѣ играли роль настоятельнаго общаго интереса. И вполнѣ естественно по той связи литературной лжи и общественныхъ представленій, какую раскрывалъ авторъ Каиба.

Критическія статьи „Зрителя“ принадлежатъ не Крылову, а его сотруднику Плавильщикову и нѣкоему корреспонденту изъ Орла.

Корреспондентъ ставитъ эпиграфомъ къ своимъ очень запальчивымъ разсужденіямъ правило: „Вода безъ теченія заростаетъ, словесность безъ критики дремлетъ“. Это очень смѣлая мысль. Мы увидимъ, она не скоро получила право считаться правильной въ нашей журналистикѣ. Необходимость и даже пользу критики будутъ отвергать такіе популярные писатели, какъ Карамзинъ. Крыловъ, очевидно, держался совершенно противоположнаго взгляда.

Рядъ статей посвященъ театру и драмѣ. Основная идея не новая — послѣ предисловій Лукина. Русскіе не могутъ слѣпо подражать ни французамъ ни англичанамъ: „мы имѣемъ свои права, свое свойство и, слѣдовательно, долженъ быть свой вкусъ“. Онъ вполнѣ возможенъ. По мнѣнію автора, у русскихъ не менѣе хорошаго, чѣмъ у иностранцевъ, пожалуй, даже больше. Французскія пьесы, напримѣръ, безпрестанно отступаютъ отъ природы. Вся ихъ классическая теорія — сплошное насиліе надъ правдой и естественностью. Критикъ въ совершенствѣ понимаетъ нелѣпость единствъ, основную язву французской трагедіи, отсутствіе дѣйствія и обиліе монологовъ, онъ готовъ вообще сдать въ архивъ драматическія правила. „Есть ли дѣло идетъ о пожертвованіи единству мѣста и времени истинными красотами, то тогда сочинитель погрѣшитъ самъ противъ себя и противу зрителей, представивъ имъ скуку по правиламъ“. И авторъ знаетъ не мало пьесъ, написанныхъ безъ правилъ и „полнотою своею“ „привлекательныхъ“, а пьесы съ правилами „страждутъ недугомъ сухости“. Критикъ идетъ гораздо дальше. Онъ будто предчувствуетъ грядущій русскій романтизмъ съ его чудовищными эффектами. Онъ предупреждаетъ писателей, что жестокія злодѣянія россіянамъ несвойственны, достаточно изображать порокъ „безъ усиленнаго начертанія“, и впечатлѣніе будетъ достигнуто. Драма защищается безусловно, потому что она ближе къ природѣ, чѣмъ трагедія. Авторъ возстаетъ на авторитетъ Вольтера и Сумарокова „по естеству вещей“, т.-е. на основаніи наблюденій надъ дѣйствительностью, гдѣ постоянно чередуются смѣхъ и слезы. Всѣ эти соображенія пересыпаны крайне рѣзкими выходками, не имѣющими ничего общаго съ искусствомъ. А между тѣмъ они первоисточникъ и основной мотивъ всей критики.

Авторъ — прямолинейный патріотъ. Статьи онъ начинаетъ сѣтованіемъ на иностранные нравы, магазины, таланты, вызывающіе у русскихъ самыя пристрастныя, восторженныя чувства. Посредственный чужой писатель кажется геніемъ, а свой отечественный талантъ находится въ пренебреженіи. На русской сценѣ представятъ скорѣе Чингисъ-хана, чѣмъ героя родной исторіи. У театра во время французскаго представленія вся площадь заставлена шестернями, а русскимъ интересуются только пѣшеходы. Неужели разумно „гнушаться ощущеніями, внушенными природой?“ И „неужели для всѣхъ народовъ на свѣтѣ природа мать, а для насъ однихъ мачиха, которая не дала намъ никакой собственности?“ Этотъ мучительный вопросъ, очевидно, и вдохновилъ автора на литературную критику. Подъ вліяніемъ

оскорбленнаго національнаго чувства, онъ дошелъ до сомнѣній въ классической трагедіи и въ безусловной талантливости французскихъ авторовъ. Предъ нами въ нѣкоторомъ родѣ психологія Чацкаго. Начинаетъ авторъ съ уничтоженія *Свадьбы Фигаровой* и прославленія Козьмы Минина, какъ трагическаго героя, а кончаетъ негодованіемъ на иностранныя гусиныя чиненыя перья; они продаются дороже многихъ россійскихъ сочиненій! Достается, конечно, и французскому языку — бѣдному и невыразительному. Однимъ словомъ, патріотическое настроеніе разливается широкой волной и раздраженнаго публициста превращаетъ въ очень проницательнаго критика. Но такъ какъ все дѣло именно въ публицистикѣ, а не въ художественномъ чувствѣ и не въ эстетической вдумчивости, — авторъ доводитъ свою критику только до извѣстныхъ предѣловъ, достаточныхъ для удовлетворенія его національнаго идеала. Въ результатѣ остаются неприкосновенными многіе предразсудки того же французскаго происхожденія. Авторъ, напримѣръ, требуетъ въ драмѣ непремѣнно торжествующей добродѣтели; только тогда нравственный смыслъ будетъ извлеченъ изъ пьесы „во всемъ своемъ блистаніи“. Не допускается и Шекспиръ со всѣми оригинальными чертами его таланта. У него рядомъ съ „наиблагороднѣйшими трагическими красотами“ имѣются такого сорта лица и дѣйствія, коихъ „просвѣщенный вкусъ“ одобрить не можетъ. Въ результатѣ — „Чексперовы красоты подобны молніи, блистающей въ темнотѣ ночной: всякъ видитъ, сколь далеки они отъ блеску солнечнаго въ срединѣ яснаго дня“.

Впослѣдствіи авторъ выразится еще энергичнѣе. Въ отвѣтъ на разсужденія противника онъ заявитъ совершенно въ духѣ только что раскритикованнаго Вольтера и его русскаго послѣдователя: „Для героевъ вы хотите, чтобы родился у насъ *Чексперъ*... Вотъ изряднаго нашли вы опредѣлителя вкуса и видно, что вы, начитавшись, заключаете вкусъ въ тѣсные предѣлы площадей, рынковъ и кабаковъ“.

И это понятно. Авторъ, ратуя за природу, не дерзаетъ признать ее безъ надлежащихъ операцій надъ ея безобразіемъ — людей свѣдущихъ. „Всякая природа въ своемъ обнаженіи мало привлекательна, авторъ въ украшеніи, кажется, обновляетъ ее“. Очевидно, авторъ не заинтересованъ собственно въ коренномъ преобразованіи искусства, онъ только желаетъ убѣдить соотечественниковъ признать *свое*, *русское* хорошимъ и годнымъ для театральныхъ зрѣлищъ. Такъ его идею и понялъ орловскій корреспондентъ, потерявшій всякое терпѣніе отъ патріотическихъ разглагольствованій „Зрителя“: „нѣтъ мочи моей выдержать всего того, что вы пишете“... Въ Россіи нѣтъ писателей, равныхъ Расину, Корнелю и Вольтеру, нѣтъ и произведеній, способныхъ соперничать съ французскими. Что же смотрѣть русской публикѣ? Не только нечего въ настоящее время, но, вѣроятно, и долго еще не будетъ созданъ русскій вкусъ по очень простой причинѣ. Русскимъ авторамъ негдѣ брать литературныхъ мотивовъ. Большой свѣтъ въ Россіи болѣе иностранный, чѣмъ русскій, сельскіе жители коптятся въ дыму... Не захочетъ же авторъ-патріотъ видѣть въ оперѣ четырехъ пьяныхъ

женщинъ съ яндовою и съ площадными пѣснями. А это картины „въ самомъ природномъ видѣ, достойныя кисти какого-нибудь фламандскаго живописца“.

Авторъ предупреждаетъ русскихъ патріотовъ отъ неразумнаго увлеченія отечественнымъ просвѣщеніемъ, художествами, науками. Пріемъ крайне опасный подобное самохвальство. Рѣчь автора въ высшей степени любопытна: она долго будетъ повторяться въ русской публицистикѣ. Мы будто присутствуемъ при зарожденіи междоусобицы западниковъ и славянофиловъ. „Прекрасное средство“, восклицаетъ авторъ, „ободрять науки, говоря, что намъ не нужно болѣе учиться! Не лучше ли изъ любви къ соотечественникамъ показывать ихъ недостатки и, устыжая ихъ томную сонливость, воспламенить желаніе углубляться въ науки, дабы слава нашего непритворнаго просвѣщенія сравнилась со славою россійскаго оружія“. Прекрасныя мысли! Подъ ними, несомнѣнно подписался бы самъ Крыловъ. По крайней мѣрѣ, къ нему отнюдь не могъ относиться упрекъ въ равнодушномъ отношеніи къ недостаткамъ соотечественниковъ. Всѣ статьи издателя преисполнены сатирическаго духа и каждая изъ нихъ безпощадный приговоръ надъ притворнымъ просвѣщеніемъ.

Упрекъ слѣдовало направить по адресу противника „Зрителя“, его московскаго конкурента, журнала по преимуществу восторженнаго, лирическаго и склоннаго ко всякаго рода самообольщенію личному и патріотическому. И какъ велика оказывалась разница въ критическихъ воззрѣніяхъ того и другого изданія, прямо въ зависимости отъ того, что одинъ издатель — первостепенный сатирикъ своего времени, а другой всѣми силами открещивался отъ сатиры! „Расположеніе души моей“, заявлялъ онъ публикѣ, „слава Богу, совсѣмъ противно сатирическому и бранному духу“. Для благодушнаго автора, очевидно, сатира и брань казались тожественными и одинаково предосудительными. Мы заранѣе можемъ угадать результаты.

„Зритель“ именно на почвѣ сатиры вооружился противъ фальшивыхъ направленій литературы. Сатирическій, общественно-отрицательный духъ заставилъ его осмѣять оду и идиллію, негодованіе на модное воспитаніе вооружило его на классическую трагедію и ея теорію. Чтобы показать всю уродливость маніи подражанія, логически требовалось обнаружить несостоятельность того, чему подражали. И русскіе націоналисты невольно догадывались о сухости классическихъ пьесъ, о прозаичности французскихъ стиховъ, о посредственности многихъ иноземныхъ авторовъ. Собственно развивался не вкусъ самъ по себѣ, а здравый смыслъ направлялъ свою критику въ область вкуса.

Этого на первое время вполнѣ достаточно.

Французскія теоріи до такой степени противорѣчили именно разсудку и логикѣ, независимо отъ ихъ художественныхъ изъяновъ, что стоило умному наблюдателю отважиться отрицать и противорѣчить, и священное зданіе начинало колебаться. Отвага же внушалась патріотическимъ гнѣвомъ, даже въ сильнѣйшей степени, чѣмъ это требовалось для чисто-литературнаго протеста.

Отсюда ясны заслуги русской сатиры въ критикѣ, т.-е. *художественнаго* дарованія и *публицистическаго* направленія журналистовъ. И то и другое были на столько существенными, рѣшающими силами, что *сатирическія* статьи крыловскаго журнала по части критики, по крайней мѣрѣ, на десять лѣтъ опередили чисто-художественныхъ судей современной литературы и заранѣе указали путь борьбы съ новымъ россійско-европейскимъ повѣтріемъ, смѣнявшимъ классицизмъ, — съ карамзинской чувствительностью.

„Зритель“ находился въ дѣятельной полемикѣ съ „Московскимъ Журналомъ“ Карамзина. Поводъ, какъ увидимъ, на первый взглядъ частный и незначительный, но причина полемики несравненно глубже. Предъ нами два совершенно различныхъ критика по направленію и даже по личной психологіи. Одинъ — оптимистъ и чистый эстетикъ, другой — одинъ изъ реальнѣйшихъ и, слѣдовательно, далеко не прекраснодушныхъ наблюдателей дѣйствительности и въ силу этого совершенно непричастный чистому искусству и выспреннему счастью младенчески-восхищеннаго сердца. *Ивановъ.*

Общій характеръ морали басенъ Крылова.

Какъ ни язвительна была сатира Крылова, однако онъ самъ видѣлъ, что одною сатирою нельзя исправить людей. Въ комъ найдется столько смиренномудрія, чтобы, въ уединенной бесѣдѣ съ самимъ собою, откровенно сказать самому себѣ: „да, и у меня пушекъ на рыльцѣ есть“? Онъ видѣлъ это, и рядомъ съ баснею о медвѣдѣ, который перетаскалъ весь медъ въ свою берлогу, помѣстилъ *Зеркало и Обезьяна*, которую заключилъ словами:

Такихъ примѣровъ много въ мірѣ:
Не любитъ узнавать никто себя въ сатирѣ.
Я даже видѣлъ то вчера:
Что Климычъ на руку не чистъ, всѣ знаютъ;
Про взятки Климычу читаютъ
А онъ украдкою киваетъ на Петра.

Спесь, чванство, домогательство незаслуженныхъ почестей и всегда соединенное съ этими пороками отсутствіе истинныхъ достоинствъ, находили въ немъ неумолимаго гонителя. Онъ требовалъ отъ людей правды, искренности, требовалъ, чтобы они казались тѣмъ, чѣмъ были на самомъ дѣлѣ. Его паукъ, который, уцѣпившись за хвостъ орла, былъ занесенъ имъ на верхъ кавказскихъ горъ и тамъ, возгордившись, задумалъ затмить орлу же солнце, — летитъ внизъ отъ перваго дуновенія вѣтра и служитъ урокомъ тому, кто думаетъ создать свое общественное значеніе только на томъ, что случай доставилъ ему возможность схватиться за хвостъ вельможи.

Онъ мудро совѣтуетъ людямъ держаться той среды, которую имъ опредѣлила судьба, и, утѣшивъ безвѣстнаго труженика, разсказавъ ему о пчелѣ, презрѣнной орломъ, указалъ на примѣръ осла, который,

родившись на свѣтъ, почти какъ мошка малъ, сталъ просить у Зевса большого роста, думая, что если бы онъ былъ ростомъ только съ теленка, „то съ барсовъ и со львовъ онъ спеси бы посбилъ“ и заставилъ бы всѣхъ говорить о себѣ.

. . . . . Моленія Осла
Послушался Зевесъ:
И сталъ Оселъ скотиной превеликой,
А сверхъ того ему такой данъ голосъ дикій,
Что нашъ ушастый Геркулесъ
Перепугалъ было весь лѣсъ.

Но не прошло и году, какъ всѣ узнали, кто оселъ:

Оселъ мой глупостью въ пословицу вошелъ,
И на Ослѣ ужъ возятъ воду.

Этотъ разсказъ онъ заключилъ слѣдующимъ четверостишіемъ

Смыслъ басни сей найдемъ,
Когда подумаемъ немножко:
Не лучше ль вѣкъ изжить на свѣтѣ мошкой,
Чѣмъ добиваться быть большимъ осломъ.

При всей своей неподвижности и видимомъ равнодушіи ко всему окружающему, онъ зорко слѣдилъ за всѣмъ, что происходило внутри государства, не ограничиваясь одною какою-либо сферою. Вопросы литературы, политики, администраціи, явленія жизни частной и общественной равно были ему извѣстны и обо всемъ умѣлъ онъ произнести свое мнѣніе, основанное не на минутномъ увлеченіи извѣстнымъ взглядомъ партіи, модномъ философскомъ ученіи, но на здравыхъ непоколебимыхъ, вѣчныхъ началахъ. Проницательный взглядъ его не омраченъ никакими увлеченіями: „ни матеріализмъ, ни мистицизмъ, ни либерализмъ (говоритъ Плетневъ) не свели его съ той дороги религіи, философіи и политики, на которой онъ утвердился собственнымъ размышленіемъ и изученіемъ“. Онъ не учился ни въ какой школѣ; самая жизнь была для него школою; изъ нея черпалъ онъ свою мудрость и освѣщалъ ею путь для заблудившихся и для тѣхъ, которые, по неопытности, вѣтрености или излишней воспріимчивости, могли заблудиться.

Изученіе его басенъ въ связи съ тѣмъ временемъ, когда онѣ являлись въ свѣтъ, разрѣшаетъ вопросъ, почему современники предрекли ему безсмертіе. Онъ глубоко понималъ ихъ стремленія, живо чувствовалъ ихъ симпатіи и антипатіи, и для всего, что волновало ихъ умы и заставляло биться ихъ сердца, онъ нашелъ выраженіе, все это облекъ въ образы, доступные пониманію каждаго. Онъ разрѣшалъ вопросы, приводившіе ихъ въ недоумѣніе, и въ его рѣшеніяхъ „слышалась разумная середина, примиряющій третейскій судъ, которымъ такъ силенъ русскій умъ, когда достигаетъ полнаго своего совершенства“ (Гоголь).

Кеневичъ.

Вопросы воспитанія и образованія въ басняхъ Крылова.

Басня *Воспитаніе Льва* примыкаетъ къ цѣлому разряду другихъ, писанныхъ на тему о правильномъ воспитаніи. Въ своемъ сужденіи о воспитаніи императора Александра Крыловъ вполнѣ раздѣляетъ точку зрѣнія тогдашнихъ консерваторовъ-націоналистовъ, выраженную Вигелемъ, по мнѣнію котораго „его (Александра) воспитаніе было одною изъ великихъ ошибокъ Екатерины: образованіе его ума поручила она женевцу Лагарпу, который, оставляя Россію, столь же мало зналъ ее, какъ въ день своего пріѣзда, и который карманную республику свою поставилъ образцомъ самодержцу величайшей имперіи въ мірѣ". Крайность взгляда Крылова ярко сказывается въ томъ, что молодой *левъ* въ его баснѣ подъ руководствомъ *орла* изучаетъ *птичьи* нужды и, прошедши свою школу, намѣревается учить своихъ подданыхъ *вить гнѣзда;* слѣдовательно, по мнѣнію Крылова, между русскимъ народомъ, его нуждами и потребностями, пользами и выгодами, и западно-европейскимъ міромъ, представителемъ котораго въ данномъ случаѣ является Лагарпъ, не болѣе общаго, чѣмъ между міромъ звѣрей и пернатыхъ. Несомнѣнно, что идея національной самобытности выражена здѣсь до крайности рѣзко, въ ущербъ мысли о гуманитарныхъ, общечеловѣческихъ началахъ, составляющихъ истинную основу воспитанія. Конечно, Лагарпъ не зналъ и не могъ знать Россіи; но не слѣдуетъ забывать, что онъ не одинъ былъ воспитателемъ будущаго императора, и что, если его питомецъ не вынесъ изъ своей школы точнаго и вѣрнаго понятія о насущныхъ потребностяхъ своего государства и народа, то вина въ этомъ падаетъ гораздо болѣе на русскихъ наставниковъ Александра, не сумѣвшихъ или не хотѣвшихъ восполнить этотъ важный пробѣлъ. Съ другой стороны, слѣдуетъ принять во вниманіе, что, несмотря на кратковременность обученія у Лагарпа и на нѣсколько двойственное положеніе послѣдняго при дворѣ, вліяніе этого женевца на его воспитанника было и очень сильно и очень продолжительно, что̀ объясняется умственнымъ превосходствомъ Лагарпа надъ прочими наставниками, а главное — самымъ духомъ его уроковъ, отвѣчавшихъ лучшимъ душевнымъ наклонностямъ юнаго Александра. Занятія съ Лагарпомъ расширяли умственный горизонтъ будущаго государя, знакомили его съ жизнью и идеалами древняго міра, съ плодотворными идеями европейскихъ мыслителей и внушали идеалистическую любовь къ свободѣ, гражданскимъ доблестямъ, справедливости, равенству, общему благу, отвращеніе къ деспотизму и рабству, — вообще дѣйствовали возвышающимъ и освѣжающимъ образомъ на воспріимчивую, мечтательную душу порфироднаго отрока. Вліяніе наставника-республиканца, поскольку оно признавалось нежелательнымъ, сдерживалось и ограничивалось другими воспитателями, но, очевидно, ихъ доводы не въ силахъ были перевѣсить запасъ идей, внушенныхъ Александру Лагарпомъ, тѣмъ болѣе, что, подобно послѣднему, одинъ изъ русскихъ наставни-

ковъ молодого великаго князя, именно М. Н. Муравьевъ, также былъ одушевленъ помыслами объ общественномъ благѣ и ненавистью къ рабству и угнетенію. Во всякомъ случаѣ, одно безспорно, что настоящаго, живого знакомства съ положеніемъ и потребностями народа не могли при условіяхъ того времени дать Александру ни туземные, ни иностранные наставники, ни сановники, до тонкости изучившіе придворную науку, ни опытные администраторы, хорошо знавшіе рутину государственнаго механизма, ни люди науки, черпавшіе свои познанія изъ книгъ, главнымъ образомъ, изъ древнихъ и новыхъ европейскихъ классиковъ. Даже знаніе общаго хода историческаго развитія примѣнительно къ родной странѣ, основательное знакомство съ прошлыми судьбами народа, съ его общественною и духовною жизнью въ теченіе ряда вѣковъ, при уровнѣ историческихъ знаній въ концѣ XVIII в. должно было носить характеръ неполный, отрывочный, поверхностный и односторонній. Трудно въ виду всего этого обвинять Екатерину за то, что она, желая поставить на разумныхъ основаніяхъ воспитаніе своего внука, обратилась за помощью къ Западу, къ идеямъ Локка и Руссо, какъ къ лучшимъ результатамъ человѣческаго мышленія, не находя у себя дома ничего, что можно было бы поставить вровень или въ противовѣсъ этому культурному запасу.

Если полученное воспитаніе отрывало будущаго императора отъ реальной почвы, на которой ему впослѣдствіи пришлось работать, не обогатило его необходимыми, насущными свѣдѣніями и вообще носило отпечатокъ идеальномечтательнаго дилетантизма, — оно, по крайней мѣрѣ, способствовало развитію общечеловѣческихъ принциповъ, во исполненіе пожеланія, такъ кратко и ясно выраженнаго Державинымъ въ его знаменитой одѣ: „Будь на тронѣ *человѣкъ!*“ — „Все *народное* ничто передъ *человѣческимъ*. Главное дѣло быть *людьми*, а не *славянами*. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ; и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то *мое*, ибо я человѣкъ!“ Такъ писалъ въ свое время Карамзинъ, но не всѣ и не всегда думали и думаютъ такимъ образомъ, не всегда и самъ авторъ этихъ словъ оставался вѣренъ провозглашенному имъ принципу. Въ *Воспитаніи Льва* Крылова мы видимъ выраженіе идеи національной особенности, которая въ крайнемъ развитіи приводитъ къ неменьшимъ несообразностямъ, чѣмъ и абсолютный космополитизмъ.

Вопросу о воспитаніи и просвѣщеніи Крыловъ посвятилъ, какъ извѣстно, еще басни: *Кукушка и Горленка, Крестьянинъ и Змѣя, Червонецъ, Бочка* и *Водолазы*. Изъ нихъ первыя двѣ написаны на спеціальную тему о вредѣ воспитанія черезъ наемныхъ лицъ, главнымъ образомъ, иностранцевъ; двѣ слѣдующія, хотя также несомнѣнно имѣютъ въ виду то же явленіе въ жизни русскаго общества, ставятъ, однако, проблему нѣсколько шире, особенно *Червонецъ*, прямо начинающійся общимъ вопросомъ: „Полезно ль просвѣщенье?“ Наконецъ, въ *Водолазахъ* мы находимъ еще болѣе принципіальную постановку вопроса —

о пользѣ или вредѣ не одного только *просвѣщенія,* болѣе или менѣе внѣшняго, а ученья, науки, знанія вообще, независимо отъ его правильнаго или ложнаго направленія. Въ *Кукушкѣ и Горленкѣ* выражена простая и безусловно вѣрная мысль о томъ, что родители, ввѣряющіе своихъ дѣтей „наемничьимъ рукамъ", не могутъ и не въ правѣ ожидать привязанности отъ нихъ. Вопросъ національный въ этой баснѣ не затрогивается прямо, говорится вообще о „наемникахъ", кто бы они ни были, хотя при соображеніи съ тогдашними условіями трудно сомнѣваться, что рѣчь идетъ, главнымъ образомъ, о воспитателяхъ-иностранцахъ. Однако, заключающіяся въ нравоученіи къ баснѣ слова: „но, если выросли они *въ разлукѣ съ вами...*" могутъ быть приняты также по адресу воспитанія въ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ; только едва ли основательно было бы обвинять родителей за отдачу дѣтей въ интернаты въ такое время, когда выборъ между существующими училищами былъ, во всякомъ случаѣ, не особенно великъ, и разлука родителей съ дѣтьми представлялась нерѣдко неизбѣжною, если вообще хотѣли дать дѣтямъ какое-нибудь образованіе, не имѣя возможности всецѣло сосредоточить дѣло воспитанія и обученія въ стѣнахъ родного дома. Въ *Бочкѣ* авторъ указываетъ на тлетворное вліяніе „вреднаго ученья", которымъ стоитъ лишь напитаться съ юныхъ дней, чтобы потомъ отзываться имъ постоянно. Можетъ-быть, такое утвержденіе слишкомъ рѣшительно высказано; но главный вопросъ заключается не въ этомъ: намъ любопытно было бы знать, какія именно вредныя ученія имѣетъ здѣсь Крыловъ въ виду. Понятіе о вредномъ весьма растяжимо, и выясненіе вопроса въ данномъ случаѣ могло бы пролить свѣтъ на отношеніе Крылова къ современнымъ ему умственнымъ теченіямъ въ русскомъ обществѣ. Къ сожалѣнію, прямого отвѣта на интересующій насъ вопросъ мы не имѣемъ и можемъ только предполагать, что рѣчь идетъ или о матеріализмѣ, или о модныхъ въ то время увлеченіяхъ мистицизмомъ, масонствомъ, иллюминатствомъ и т. д., или, наконецъ, о политическомъ вольнодумствѣ, проявленія котораго тѣсно связывались, по убѣжденію консерваторовъ того времени, съ обѣими названными противоположностями.

Басня *Крестьянинъ и Змѣя* принадлежитъ къ числу наиболѣе характерныхъ какъ для самого ея автора, такъ и вообще для той эпохи, когда появилась въ печати (1813 г.). Не даромъ она помѣщена въ „Сынѣ Отечества", начавшемъ выходить въ свѣтъ въ годину непріятельскаго нашествія и поставившемъ своею задачею борьбу во имя патріотизма и національности противъ преобладанія иноземныхъ вліяній. Съ возбужденнымъ до крайности настроеніемъ тогдашняго общества вполнѣ гармонируетъ рѣзкій приговоръ, произнесенный Крыловымъ надъ всѣми воспитателями-французами безъ разбора: не подвергая сомнѣнію добрыхъ качествъ змѣи, просящейся къ нему въ домъ, крестьянинъ тѣмъ не менѣе отказывается принять ее изъ опасенія дурного примѣра: за одной доброй змѣей вползутъ сто злыхъ; сверхъ того, и лучшая *змѣя* все же остается змѣей и *ни къ чорту не годится.*

Здѣсь, слѣдовательно, кладется позорное клеймо на цѣлую націю, изображаемую въ видѣ скопища змѣй, отъ которыхъ нельзя ничего ожидать, кромѣ зла. Что въ данномъ случаѣ Крыловъ выражалъ не одно свое личное воззрѣніе, видно уже изъ того, что вмѣсто всякаго разъяснительнаго нравоученія онъ на этотъ разъ ограничился однимъ короткимъ вопросомъ: „Отцы, понятно ль вамъ, на что здѣсь мѣчу я?“ Идея басни, стало-быть, по мнѣнію автора, достаточно ясна сама по себѣ. Въ высшей степени характерны (приведенныя въ примѣчаніяхъ Кеневича)[1]) выдержки изъ того же „Сына Отечества“ за 1812—1813 г., посвященныя тому же вопросу о тлетворности французскаго духа, французскаго воспитанія, — выдержки, отражающія озлобленіе современнаго общества противъ враговъ, грозившихъ поработить Россію. Какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, озлобленіе не знало границъ, обобщалось на весь народъ безъ изъятій; имя „французъ“ являлось синонимомъ чудовища, изверга, варвара; вся нація представлялась лишенною вполнѣ нравственныхъ основъ, безъ религіи, безъ добродѣтели, безъ гражданскихъ доблестей и т. д. Раздавались даже голоса, взывавшіе „delenda Francia!“ и предсказывавшіе французскому народу въ будущемъ участь даже не евреевъ, связанныхъ въ своемъ разсѣяніи тѣсными узами религіи, а бродячихъ цыганъ! Начиная съ офиціальной рѣчи Гнѣдича, читанной при открытіи Публичной библіотеки, и кончая карикатурами Теребенева, предназначенными для народной массы, во всей литературѣ тѣхъ годовъ мы найдемъ яркія проявленія этого безусловно отрицательнаго и непримиримо-враждебнаго отношенія къ „новымъ вандаламъ“, по выраженію нашего баснописца *(Ворона и Курица)*. Вообще, какъ извѣстно, нападки на господствовавшую въ русскомъ образованномъ или полуобразованномъ обществѣ галломанію не представляли собою новаго сюжета въ русской литературѣ: напротивъ, эта тема трактовалась нашими сатириками чуть не со временъ Кантемира; въ комедіяхъ Сумарокова и въ журналахъ екатерининской эпохи „петиметры“ и „щеголихи“, не умѣющіе говорить на своемъ родномъ языкѣ, презирающіе все русское и корчащіе изъ себя чистокровныхъ французовъ, пустоголовые, невѣжественные при всемъ внѣшнемъ лоскѣ, легкомысленные и безнравственные, — постоянно фигурируютъ на ряду съ доморощенными, первобытными невѣждами. Не менѣе излюбленными персонажами являются эти обезьяны просвѣщенія и въ комедіяхъ Княжнина и Фонвизина: достаточно вспомнить бригадирскаго сына, обучавшагося до поѣздки въ Парижъ у французскаго кучера, и совѣтницу и гувернера Пеликана, умѣющаго „рвать зубы мастерски и вырѣзывать мозоли“. Самъ Крыловъ, еще будучи издателемъ „Почты Духовъ“, затронулъ тотъ же вопросъ о модномъ воспитаніи, замѣнившемъ будто бы прежнюю благочестивую простоту и чистоту нравовъ: „Теперь, по прошествіи *варварскихъ* временъ, задумали, что тотъ не можетъ быть хорошимъ

[1]) Стран. 119—123.

гражданиномъ, кто не умѣетъ танцовать, прыгать, вертѣться, говорить по-французски и болтать цѣлый день, не затворяя рта, въ бесѣдахъ. Къ такому воспитанію необходимо понадобились французы". Также въ комедіи Крылова *Модная Лавка* (1780 г.) выведенъ на сцену французъ — плутъ, ростовщикъ и доносчикъ; другая его комедія, имѣвшая не меньшій успѣхъ у зрителей, — *Урокъ Дочкамъ*, — написана опять-таки въ насмѣшку надъ галломаніею. Однако всѣ эти сатирическія вылазки, порою рѣзко саркастическаго оттѣнка, еще весьма далеки отъ того нетерпимаго ожесточенія и патріотически-приподнятаго, проповѣдническаго тона, какія явились результатомъ отечественной войны и вызванныхъ ею національныхъ страстей. Иностранные воспитатели — и притомъ не одни французы — вообще играли важную и иногда, дѣйствительно, отрицательную роль въ исторіи русскаго просвѣщенія XVIII и начала XIX в., что̀ было и вполнѣ понятно: не имѣя часто другихъ наставниковъ русскихъ, кромѣ Кутейкиныхъ и Цифиркиныхъ, общество по необходимости должно было прибѣгать и къ иноземнымъ Вральманамъ и Бопре *(Капитанская дочка)*, безъ котораго молодой Гриневъ, — правда, ничему не научившійся у своего *мусье*, кромѣ фехтованія, — не имѣлъ бы другого ментора, кромѣ патріархально-преданнаго холопа Савельича. Указанные нами экземпляры, выведенные въ литературѣ, были еще далеко не худшими: дѣйствительная жизнь представляла и такихъ субъектовъ, каковы грубый, жестокій невѣжда Миллеръ или еще болѣе жестокій и развратный Іосифъ Розе, съ которыми познакомили записки Болотова и Державина. Не разъ и позднѣйшая русская литература касалась того же вопроса о вліяніи самозванныхъ воспитателей, преимущественно французовъ, на русскихъ питомцевъ, и не разъ Бѣлинскому съ его обычною мѣткостью приходилось указывать на устарѣлость и односторонность такихъ выходокъ, напр., по поводу романа Основьяненка *Жизнь и похожденія Петра Степанова сына Столбикова* (1841), герой котораго провелъ нѣсколько лѣтъ въ пансіонѣ у француза Филу. Говоря объ этомъ произведеніи, Бѣлинскій замѣчаетъ: „По мнѣнію г. Основьяненка, всѣ иностранцы — злодѣи и мерзавцы; отъ нихъ все зло на свѣтѣ... Всѣ иностранцы, выведенные въ его повѣсти, ссылаются въ Сибирь, а иностранки дѣлаются развратницами... Старая пѣсня! Теперь всякому извѣстно, что много было вреда для общества отъ разныхъ выходцевъ, но что между ними бывали и достойные люди, сдѣлавшіе много добра... Кстати: почему авторъ не сказалъ, въ какомъ пансіонѣ воспитывался опекунъ Столбикова, члены суда, которые вопреки законамъ сдѣлали его опекуномъ, и прочія лица, въ такой наготѣ и такъ рѣзко изображенныя въ романѣ?" Подобное же замѣчаніе дѣлаетъ Бѣлинскій нѣсколько позже (1845 г.) по поводу *Тарантаса* гр. Соллогуба, отмѣчая филиппику автора противъ злополучныхъ воспитателей, поневолѣ осѣвшихъ на Руси послѣ кампаніи 1812 г.: „Всѣмъ извѣстно, что французы долго мстили намъ за свою неудачу, оставивъ за собою несмѣтное количество фельдфебелей,

фельдшеровъ, сапожниковъ, которые подъ предлогомъ воспитанія испортили на Руси едва ли не цѣлое поколѣніе". Бѣлинскій находитъ это замѣчаніе энергическимъ и остроумнымъ, но далеко не новымъ, такъ какъ „оно уже тысячу тысячъ разъ было предметомъ посильныхъ остротъ журналовъ и нравоучительныхъ романовъ добраго стараго времени", и притомъ „едва ли основательнымъ", такъ какъ „человѣку, несчастною судьбою занесенному въ чуждую страну, нечего ѣсть, а умирать съ голоду, естественно, не хочется; что же тутъ острить, что онъ схватился даже и за воспитаніе, чтобы добыть кусокъ хлѣба?" (Впрочемъ, въ данномъ случаѣ и самъ авторъ *Тарантаса* не обобщаетъ своей рѣзкой характеристики на иностранцевъ безъ разбора, выключая эмигрантовъ изъ прочей „саранчи".) Этотъ человѣчный взглядъ на дѣло, затемненный у людей, пережившихъ эпоху 1812 г., національными страстями, проглядывалъ и у гуманиста XVIII в., Фонвизина: его Вральманъ только тогда взялся за учительство, когда прошатался въ Москвѣ три мѣсяца безъ мѣста, вслѣдствіе чего ему и пришлось либо съ голоду умирать, либо быть учителемъ Митрофанушки, и при первой же возможности Вральманъ охотно бросаетъ несвойственное ему шарлатанство, хорошо по тогдашнимъ условіямъ оплачиваемое, чтобы стать попрежнему кучеромъ. Такую же страничку изъ дѣйствительной жизни, исполненную истиннаго трагизма въ смѣшеніи съ неподдѣльнымъ комизмомъ, представляетъ намъ мимоходомъ авторъ *Записокъ Охотника* въ своемъ *Однодворцѣ Овсянниковѣ*, разсказывая о похожденіяхъ барабанщика Лежёня, едва не утопленнаго смоленскими мужичками и спасеннаго только увѣреніемъ, что онъ можетъ быть учителемъ музыки. Только писатель новаго поколѣнія, Тургеневъ, и его сверстники усвоили себѣ вполнѣ свободный и безпристрастный тонъ по отношенію къ иностраннымъ просвѣтителямъ русскаго юношества: вспомнимъ добродушнаго, сентиментальнаго нѣмца въ стихотворной поэмѣ Тургенева *Помѣщикъ*, тоскующаго по далекой родинѣ, меланхолика Рикмана въ *Дневникѣ лишняго человѣка*, идеалиста-пѣвца въ *Фаустѣ*, жреца чистаго, возвышеннаго искусства, музыканта Лемма въ *Дворянскомъ гнѣздѣ*... Въ романѣ *Кто виноватъ?* наше вниманіе приковываетъ къ себѣ благородный мечтатель-женевецъ, гувернеръ Бельтова, имѣвшій такое сильное вліяніе на своего питомца, при чемъ естественная связь идей приводитъ намъ на память другого историческаго женевца въ отношеніяхъ къ его царственному ученику. Но именно только лучшіе люди 40-хъ годовъ могли освободиться и отъ фонвизинской комической утрировки и отъ нетерпимой ненависти „Сына Отечества". Представители эпохи непосредственно предыдущей еще не въ силахъ были стать на объективную точку зрѣнія: даже у Грибоѣдова не только Фамусовъ брюзжитъ противъ „Кузнецкаго моста и вѣчныхъ французовъ", но и Чацкій, т.-е. самъ авторъ, справедливо негодуя противъ „пустого, рабскаго, слѣпого подражанья" и „чужевластья модъ", въ пылу разгорячения на „французика изъ Бордо" и „сестрицъ-княженъ" жалѣетъ о бородахъ и длинныхъ кафтанахъ древней Руси

и полагаетъ желательнымъ занять у китайцевъ „премудраго незнанья иноземцевъ“. Болѣе спокойный и уравновѣшенный Пушкинъ, рисуя картину воспитанія Гринева или Евгенія Онѣгина, котораго monsieur l'Abbé всему училъ шутя, сохраняетъ гораздо болѣе объективный тонъ бытописателя, „не вѣдающаго ни жалости ни гнѣва“, изображающаго жизнь, какъ она была или есть, безъ своихъ комментаріевъ, хотя преимущественно съ одной стороны. Каковы бы во всякомъ случаѣ ни были monsieur Бопре и monsieur l'Abbé, авторъ не приписываетъ имъ никакого специфически-пагубнаго вліянія на нравственность ихъ воспитанниковъ. Но отголоски прежняго, нетерпимаго отношенія сказывались и въ позднѣйшіе годы, какъ результатъ увлеченія принципомъ народности, окрашиваясь въ оттѣнокъ славянофильства: такъ, самоучка собиратель сказаній русскаго народа, Сахаровъ, видѣлъ особенное свое счастье въ томъ, что надъ его воспитаніемъ не трудилась ни одна иноземная *тварь*. Изъ приведенныхъ выдержекъ и сопоставленій, надѣемся, ясно вытекаетъ тотъ фактъ, что въ баснѣ *Крестьянинъ и Змѣя* Крыловъ вѣрно отразилъ настроеніе своей эпохи, бывшее и его личнымъ убѣжденіемъ; мы не можемъ вполнѣ раздѣлять взгляда баснописца, но не считаемъ себя въ правѣ и упрекать его за рѣзкость вывода, объясняемую особыми условіями времени. Мысль односторонняя все же заслуживаетъ вниманія, именно какъ мысль, прямо и искренно выраженная. Мораль басни *Червонецъ*, по всей вѣроятности, также имѣетъ въ виду иноземное воспитаніе, хотя въ ней вопросъ о пользѣ просвѣщенія поставленъ въ болѣе общей формѣ и рѣшается въ положительномъ смыслѣ; авторъ предостерегаетъ только отъ ложнаго просвѣщенія, именемъ котораго люди часто зовутъ „роскоши прельщенье и даже нравовъ развращенье“; не имѣя ничего противъ „содранія коры грубости“, онъ вооружается противъ пустого блеска, замѣняющаго простоту, заглушающаго природныя добрыя свойства, ослабляющаго духъ и портящаго нравы общества. Дидактизмъ этой басни (напечатанной въ 1812 г.) вполнѣ соотвѣтствуетъ точкѣ зрѣнія сатириковъ и моралистовъ XVIII в.: Новиковъ, Щербатовъ, Болтинъ; фонвизинскій Стародумъ могли бы вполнѣ подписаться подъ баснею Крылова, какъ и подъ его (приведенною выше) тирадою въ „Почтѣ Духовъ“; въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, внутренняя преемственная связь между Крыловымъ-журналистомъ и Крыловымъ-баснописцемъ съ полною наглядностью выступаетъ наружу.

Наиболѣе принципіальное рѣшеніе вопроса о пользѣ или вредѣ ученія, знанія съ точки зрѣнія Крылова представляетъ басня „Водолазы“. Общественное значеніе этой басни, въ виду высокой важности затрогиваемой ею темы, было причиною того, что, слѣдуя убѣжденіямъ своихъ вліятельныхъ друзей, скромный баснописецъ на этотъ разъ выступилъ въ роли офиціальнаго публициста и прочелъ свое произведеніе въ торжественномъ собраніи по случаю открытія Императорской Публичной библіотеки 2 января 1814 г. Тонъ басни вполнѣ спокой-

ный, объективный: передавъ довольно обстоятельно доводы царскихъ совѣтниковъ за и противъ ученья, авторъ въ заключеніе первой части своего разсказа говоритъ, что „съ обѣихъ сторонъ, и *дѣло* выводя и *вздоры*, бумаги исписали горы, а о наукахъ споръ остался не рѣшенъ“, но не даетъ ни малѣйшаго намека на то, что̀ именно изъ изложенныхъ имъ мнѣній онъ самъ считаетъ дѣломъ и что̀ вздоромъ. Сомнѣнія царя насчетъ пользы наукъ рѣшаетъ мудрецъ-пустынникъ своею притчею о водолазахъ; однако, хотя Плетневъ и находитъ въ этой баснѣ *„рѣшеніе* одного изъ труднѣйшихъ вопросовъ касательно просвѣщенія“, едва ли это рѣшеніе въ состояніи удовлетворить кого бы то ни было, разъ вопросъ поставленъ ребромъ, въ формѣ окончательной дилеммы: *„да* иль *нѣтъ?* т.-е. ученымъ вонъ изъ царства убираться, или попрежнему въ томъ царствѣ оставаться?“ Басня оканчивается притчею пустынника и выведенною изъ нея двойною моралью, и мы не знаемъ, какъ поступилъ царь, выслалъ ли онъ ученыхъ изъ своего царства, или нѣтъ; можно даже полагать, что онъ на самомъ дѣлѣ и послѣ разговора съ пустынникомъ остался на прежнемъ распутьи, не подвинувшись къ рѣшенію задачи. Выводъ пустынника напоминаетъ знаменитую формулу: „съ одной стороны, должно признаться, а съ другой, нельзя не сознаться“, и единственное практическое поученіе, какое царь могъ извлечь изъ разсказанной ему притчи, сводится развѣ къ тому, чтобы поощрять ученье въ извѣстныхъ, правда, весьма трудно опредѣлимыхъ границахъ и не допускать „вольнодумства“ и „суемудрія“, понятій весьма растяжимыхъ. Вотъ подлинныя слова мудреца: „*Хотя* въ ученьи зримъ мы *многихъ благъ причину*, но *дерзкій умъ* находитъ въ немъ *пучину* и свой погибельный конецъ, лишь съ разницею тою, что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою“. Здѣсь вторая половина періода рѣшительнѣе и развита полнѣе, чѣмъ первая, лишь въ формѣ *уступки* признающая ученье источникомъ *многихъ благъ* и по своей неопредѣленности производящая впечатлѣніе общаго мѣста. Конечный выводъ склоняется скорѣе не въ пользу наукъ, если онѣ могутъ являться пучиною, въ которою дерзкій умъ влечетъ другихъ на пагубу. Перевѣшивается ли отрицательное вліяніе ученья пользою, имъ приносимою, или наоборотъ? — заключается ли въ самомъ знаніи и въ здравомъ смыслѣ общества надежное противодѣйствіе противъ вредныхъ и опасныхъ увлеченій? — вотъ основные вопросы, представляющіеся уму при рѣшеніи задачи, поставленной въ разбираемой баснѣ. Если на эти вопросы не можетъ быть данъ благопріятный отвѣтъ, тогда, конечно, не можетъ быть рѣчи и о свободѣ и широтѣ научнаго изслѣдованія, всегда связаннаго съ рискомъ увлеченій и заблужденій. Не всякій умѣетъ при исканіи научныхъ жемчуговъ „выбирать себѣ по силѣ глубину“, какъ разумнѣйшій изъ трехъ братьевъ-водолазовъ, а въ случаѣ примѣненія на практикѣ вывода, вытекающаго изъ морали басни, легко можетъ оказаться, что и этотъ разумный искатель истины, умѣющій опредѣлить мѣру своихъ поисковъ, будетъ лишенъ возможности „всечасно богатѣть“ и

обогащать другихъ плодами своихъ изысканій, такъ какъ очерченный имъ для своей дѣятельности кругъ можетъ въ глазахъ другихъ представляться слишкомъ обширнымъ. Гдѣ же оканчивается разумная *глубина,* и гдѣ начинается *пучина?* — отвѣта на такой вопросъ басня „Водолазы", конечно, не даетъ, слѣдовательно, не рѣшаетъ спорнаго дѣла такъ же точно, какъ не могли его рѣшить выведенные въ баснѣ царскіе совѣтники съ ихъ противоположными сужденіями.

Нѣтъ сомнѣнія, что Крыловъ не былъ врагомъ просвѣщенія: враждебное отношеніе невѣжества къ знанію, ко всему, что выходитъ за узкіе предѣлы пониманія невѣжды, вредъ, причиняемый знанію невѣждами сильными и вліятельными, — дали сатирическій матеріалъ не для одной басни писателя („Мартышка и очки", „Пѣтухъ и жемчужное зерно", „Свинья подъ Дубомъ", „Голикъ"); съ другой стороны, онъ подвергаетъ осмѣянію теоретическій педантизмъ, не умѣющій приладиться къ живой дѣйствительности („Ларчикъ", „Огородникъ" и „Философъ"), и нелѣпыя, рискованныя затѣи, прикрывающіяся quasi-научнымъ авторитетомъ („Механикъ"). Едва ли можно согласиться съ мнѣніемъ г. Флери („Journal de St.-Pétersbourg", 1867 г. № 219), упрекающаго Крылова по поводу его насмѣшекъ надъ учеными педантами („Любопытный", „Огородникъ" и „Философъ") въ непріязненномъ отношеніи къ научнымъ открытіямъ и изобрѣтеніямъ, въ пристрастіи къ рутинѣ; зато нельзя отрицать, что разрѣшеніе теоретическихъ вопросовъ высшаго порядка не удавалось Крылову. Мы видѣли на примѣрѣ „Водолазовъ", насколько неудовлетворительно онъ отвѣтилъ на вопросъ о роли знанія въ жизни человѣческаго общества. Не болѣе удачно рѣшается вопросъ о политической свободѣ въ баснѣ „Конь и Всадникъ"; разнузданный конь сбросилъ сѣдока, а самъ убился до смерти, свалившись въ оврагъ, и басня заключается банальною сентенціею: „Какъ ни приманчива свобода, но для народа не меньше гибельна она, когда *разумная* ей *мѣра* не дана". Справедливость этого афоризма не подлежитъ сомнѣнію; но что̀ слѣдуетъ разумѣть подъ *разумною мѣрою* свободы? Гдѣ граница, отдѣляющая свободу отъ анархіи? По этимъ вопросамъ мыслители и общественные дѣятели постоянно расходились и будутъ расходиться во мнѣніяхъ, а живая практика не даетъ возможности установить общее теоретическое правило въ этомъ случаѣ: одинаковая степень свободы можетъ вести къ неодинаковымъ послѣдствіямъ въ зависимости отъ множества разнородныхъ условій дѣйствительности — племенныхъ, историческихъ, интеллектуальныхъ, экономическихъ и т. д. Вообще подобныя сложныя проблемы, требующія всесторонняго, тщательнаго разсмотрѣнія, представляютъ мало пригодный матеріалъ для обработки въ формѣ басни, одно изъ главныхъ достоинствъ которой составляетъ краткость, и политико-философскіе трактаты подъ оболочкою басенъ часто по необходимости грѣшатъ противъ этого обязательнаго качества послѣднихъ и все-таки оставляютъ дѣло недостаточно выясненнымъ. Къ этому разряду принадлежитъ и знаменитая басня „Сочинитель и Разбойникъ", подобно

„Водолазамъ“, отмѣченная штемпелемъ офиціальной публицистики (читана въ торжественномъ собраніи Императорской Публичной библіотеки 2 января 1817 г. вмѣстѣ съ двумя другими баснями, съ которыми и напечатана впервые отдѣльною брошюрой). Содержаніе басни хорошо извѣстно: „разбойникъ пера“, по выраженію новѣйшей терминологіи, „славою покрытый сочинитель“, признанъ вреднѣйшимъ, чѣмъ разбойникъ большихъ дорогъ, и подвергнутъ сравнительно съ послѣднимъ гораздо тягчайшему наказанію въ загробной жизни. По характеристикѣ самого автора, этотъ сочинитель, сладкогласный и опасный, какъ сирена, „тонкій разливалъ въ своихъ твореньяхъ *ядъ*, вселялъ безвѣріе, укоренялъ развратъ“. Понятіе о литературномъ ядѣ, какъ извѣстно, не отличается опредѣленностью; однако въ этомъ случаѣ мы не можемъ сказать, что авторъ оставляетъ насъ въ неизвѣстности насчетъ дѣйствительнаго содержанія зловредныхъ твореній сочинителя: указаніе на безвѣріе и развратъ, укоренявшіеся ими, дополняется подробными разъясненіями самой Мегеры, дающей понять протестующему на жестокость кары сочинителю истинную степень его виновности. Оказывается, что сочинитель величалъ безвѣріе просвѣщеньемъ, облекъ страсти и порокъ въ приманчивый видъ, осмѣялъ, какъ дѣтскія мечты, супружество, начальство, власти, выставляя ихъ источникомъ всѣхъ людскихъ бѣдъ, и чрезъ это стремился „расторгнуть связи общества“, словомъ, „потрясалъ основы“, какъ выражаются иногда въ наше время. Положимъ, не имѣя подъ руками подлинныхъ сочиненій писателя, трудно судить о степени достовѣрности всѣхъ этихъ тяжкихъ обвиненій: вѣдь, по мнѣнію, напримѣръ, Фамусова, и Чацкій, желающій служить дѣлу, а не лицамъ, также „властей не признаетъ“; однако, такъ какъ въ данномъ случаѣ мы слышимъ непреложный приговоръ загробнаго правосудія, сомнѣнія являются неумѣстными, и намъ остается признать, что мы имѣемъ дѣло съ настоящимъ, профессіональнымъ потрясателемъ основъ. Спрашивается только, насколько умышлены были литературные грѣхи сочинителя? Сознательно ли онъ разсѣивалъ вредныя идеи, желая льстить дурнымъ страстямъ общества и увлекаясь дешевыми лаврами и восторгами толпы, или же онъ искренно, по убѣжденію, слѣдовалъ своему, хотя бы и ложному, направленію и творилъ зло, думая и желая дѣлать добро? Этотъ вопросъ далеко не безразличенъ: конечно, если бы рѣчь шла объ огражденіи общества отъ превратныхъ идей путемъ стѣсненія дѣятельности писателя, вообще о *земныхъ* мѣрахъ обузданія, — тогда можно было бы оставить въ сторонѣ вопросъ о намѣреніяхъ вреднаго автора на основаніи извѣстнаго афоризма, что самый адъ вымощенъ добрыми намѣреніями. Пожалуй, та же нормальная точка зрѣнія была бы понятна и за предѣлами земной жизни, сообразно съ языческими представленіями, по которымъ мстительныя адскія сестры преслѣдовали и терзали не только несознательныхъ, но даже и нечаянныхъ преступниковъ. Но на иномъ принципѣ построена мораль христіанская, провозглашающая: „не судите по наружности, но судите судомъ пра-

веднымъ", допускающая, что даже всякій гонящій и убивающій провозвѣстниковъ истины можетъ быть искренно убѣжденъ, что этимъ служитъ Богу. Это — та высшая, гуманная нравственность, основанная на любви, которая среди смертныхъ мученій молитъ объ отпущеніи грѣха людямъ, *не вѣдающимъ, что творятъ*. Если же, по мысли автора басни, злополучный сочинитель и съ христіанской точки зрѣнія оказался достоинъ жесточайшей кары, приходится предположить, что онъ дѣйствовалъ сознательно и потому осужденъ безъ снисхожденія (онъ и самъ, жалуясь на справедливость боговъ и не считая себя виновнѣе разбойника, готовъ признать, что писалъ *немножко вольно*). Однако, если виновность сочинителя и является неоспоримымъ фактомъ, остается еще возможнымъ спорить о силѣ его вліянія на умы современниковъ и потомковъ. Устами Мегеры Крыловъ выражаетъ свой собственный взглядъ на этотъ существенно важный вопросъ и преувеличиваетъ до крайней степени силу яда, разлитаго писателемъ въ его твореніяхъ: онъ *одинъ* оказывается виною бѣдствій цѣлой страны, которая, будучи „опоена его ученьемъ", полна „убійствами и грабежами, раздорами и мятежами" и именно *имъ* доведена „до *погибели!*" „Въ ней *каждой* капли слезъ и крови — *ты* виной!" Полагаемъ, преувеличеніе здѣсь до того явно, что не требуетъ доказательствъ. Неужели *связи*, многовѣковые устои общества могутъ быть до того шатки, что произведенія одного писателя, какъ бы онъ ни былъ вліятеленъ, въ состояніи ихъ ниспровергнуть, если для такого ужаснаго переворота не имѣется налицо другихъ, болѣе глубокихъ, органическихъ причинъ въ строѣ самого общества? Обвинять отрицательную литературу во всѣхъ бѣдствіяхъ, не входя въ изслѣдованіе ея внутренней связи съ соціальными явленіями, конечно, легко; но именно писателю не слѣдовало бы забывать, что всякая литература такъ или иначе отражаетъ собою настроеніе общества, и что только тѣ произведенія могутъ оказывать на умы неотразимо сильное вліяніе, которыя отвѣчаютъ этому настроенію, выражаютъ его наиболѣе мѣтко и полно. Спрашивается: какое же *практическое* слѣдствіе можетъ быть выведено изъ басни Крылова? Она караетъ преступнаго сочинителя за предѣлами земного существованія; но если литература представляетъ собою такое опасное, обоюдоострое оружіе и можетъ приводить цѣлыя страны на край погибели, очевидно, что и на землѣ необходимо принимать мѣры къ огражденію общественнаго порядка отъ ея пагубнаго вліянія, т.-е., обуздывать и карать вредныхъ соблазнителей. Но при такомъ искорененіи плевеловъ не пострадаетъ ли и доброкачественная пшеница? Окажется ли литература въ состояніи выполнить свое дѣло служенія правдѣ и развитія общества? не окажется ли она иной разъ въ положеніи соловья, поющаго въ когтяхъ у кошки? Этотъ вопросъ остается открытымъ, и едва ли самъ Крыловъ сумѣлъ бы вполнѣ логически примирить противорѣчивые выводы, вытекающіе изъ его же двухъ произведеній („Кошка и Соловей", „Сочинитель и Разбойникъ"). Какъ въ „Водолазахъ", такъ и въ только что разобранной баснѣ

указывается на опасность, грозящую отъ ложныхъ ученій, но вполнѣ игнорируется способность самого общества противостоять этимъ ученіямъ, если только они не коренятся въ явленіяхъ самого общественнаго строя, а также свойство научнаго знанія и литературы — самимъ обнаруживать и парализовать всякую вредную ложь, выступающую подъ ихъ флагомъ. Возможно, что Крыловъ вовсе не задавался вопросомъ о практическихъ выводахъ изъ его басни: поставивъ дѣло на чисто теоретическую почву, онъ хотѣлъ только выразить мысль, что злоупотребленіе словомъ, особенно печатнымъ, вліяніе котораго не ограничивается ни пространствомъ ни временемъ, можетъ принести бо́льшій вредъ, чѣмъ открытый разбой; по тѣмъ же самымъ соображеніямъ на торжествѣ у Вельзевула змѣя, могущая жалить лишь вблизи, должна была уступить первенство клеветнику, язвящему издалека своимъ злымъ языкомъ, отъ котораго нельзя укрыться ни за горами ни за морями („Клеветникъ и Змѣя“). Но при этой параллели между сочинителемъ и разбойникомъ Крыловъ упустилъ, кажется, изъ виду, какъ это упускается нерѣдко, что борьба съ вредными идеями требуетъ для себя иного оружія, чѣмъ борьба съ грубыми преступленіями противъ жизни и собственности.

Мы остановились такъ долго надъ *Водолазами и Сочинителемъ и Разбойникомъ* потому, что эти басни затрогиваютъ вопросы старые, но вѣчно остающіеся новыми, далеко не утратившіе животрепещущаго интереса и для нашего времени, постоянно вызывающіе разномысліе и ожесточенные споры. Какъ Крыловъ рѣшаетъ эти вопросы, мы уже видѣли. Намъ остается еще отмѣтить басню *Безбожники*, нравоученіе въ которой въ черновой рукописи поэта представляетъ любопытный варіантъ къ тексту печатныхъ изданій: изложивъ ту мысль, что стрѣлы дерзкихъ отрицателей, пущенныя на небо, рушатся на ихъ же головы, авторъ обращается къ тѣмъ, кому „Богъ вручилъ о царствахъ попеченье“, съ увѣщаніемъ „любить ученье мудрости“, ведущее людей къ добру, но бояться невѣрія, которое способно разорвать присягу, и родство, и дружбу, и упасть каменнымъ дождемъ на царство. Здѣсь опять возникаетъ вопросъ о способахъ огражденія человѣческихъ умовъ отъ невѣрія,—вопросъ неизбѣжный, потому что, если людскія стрѣлы и не опасны для неба, то хранители порядка на землѣ не могутъ относиться равнодушно къ отрицанію, ведущему за собою разрушеніе всѣхъ основъ общежитія. *Аммонъ.*

Административные и судебные нравы въ басняхъ Крылова.

Настоящую галлерею чисто русскихъ портретовъ мы находимъ въ басняхъ, рисующихъ современные автору административные и судебные нравы. Здѣсь полное торжество таланта Крылова, его главныя общественно-литературныя заслуги и права на безсмертіе. Сама жизнь, съ ея нелѣпыми противорѣчіями разумному идеалу, въ изобиліи пре-

подносила матеріалъ для сатиры и вызывала смѣхъ сквозь невидимыя слезы. *Лисица* была судьею въ *курятникѣ*; *медвѣдь* выбранъ въ надсмотрщики надъ *пчелами*; *волкъ* просится въ *овечьи* старосты и получаетъ искомое мѣсто, благодаря тому, что „стараньемъ кумушки лисицы словцо о немъ замолвлено у львицы“; для соблюденія приличія созывается звѣриная сходка для опроса относительно нравственныхъ качествъ волка, — и только наиболѣе заинтересованныя въ дѣлѣ овцы отсутствуютъ на сходкѣ! Результаты такой системы ясны сами по себѣ: медвѣдь потаскалъ весь медъ въ свою берлогу и попалъ подъ судъ по всей формѣ, присуждающій его — пролежать всю зиму въ берлогѣ, гдѣ онъ, вполнѣ обезпеченный, можетъ спокойно „ждать у моря погоды“. Лисица-судья „съ рыльцемъ въ пуху“ также выгнана за взятки, но это не мѣшаетъ ей вынырнуть вновь въ качествѣ прокурора, согласно съ заключеніемъ котораго судьи, — два осла, двѣ старыя клячи два иль три козла, — приговариваютъ къ *потопленію въ рѣкѣ* виновную *щуку*, поставлявшую, по слухамъ, рыбный столъ лисѣ-прокурору (*Лисица и Сурокъ*, *Медвѣдь у Пчелъ*, *Мірская сходка*, *Щука*). Та же самая или такая же лисица является и въ роли судьи по дѣлу крестьянина, обвиняющаго овцу въ съѣденіи куръ (*Крестьянинъ и Овца*), и изрекаетъ приговоръ „по совѣсти своей“: „не принимая никакихъ резоновъ отъ овцы“, казнить ее „и мясо въ судъ отдать, а шкуру взять истцу“. Эта басня, которую Бѣлинскій, какъ мы уже видѣли, призналъ едва ли не лучшею между всѣми баснями Крылова, дѣйствительно представляетъ собою неподражаемую сатиру на формальное кривосудіе, художественно-реальное и наглядное до осязательности воспроизведеніе старой судебно-канцелярской процедуры и подъяческаго стиля. Подвиги лисы этимъ еще не оканчиваются: она нанимается и на частную службу — охранять курятникъ крестьянина отъ своихъ же собратій — и благоденствуетъ на этой службѣ (*Крестьянинъ и Лисица*); она же, по порученію льва, охотника до куръ, строитъ для нихъ помѣщеніе на славу, въ которое ни одинъ воръ не можетъ пробраться, и только для себя самой оставляетъ лазейку (*Лиса-Строитель*). Лиса, по совѣту звѣрей, поставлена львомъ въ воеводы надъ рыбами и дѣлитъ свою прибыль съ кумомъ-мужичкомъ до тѣхъ поръ, пока левъ не изобличаетъ на мѣстѣ преступленія своего воеводы и его „главнаго секретаря“ и не подвергаетъ ихъ заслуженной карѣ (*Рыбьи пляски*). Однако извѣстно по рукописямъ, что эта басня сперва оканчивалась совершенно иначе, и только вмѣшательство цензуры заставило автора передѣлать ея финалъ въ смыслѣ наказанія порока... Любопытны также сохранившіяся въ черновыхъ спискахъ басни и опущенныя въ печатной редакціи подробности о томъ, что „въ царствѣ льва такъ развратились нравы, что безъ суда и безъ расправы, кто посильнѣй, тотъ слабаго давилъ“, вслѣдствіе чего „всенародный ропотъ“ всякій день доходилъ до льва, и онъ уставалъ слушать прошенья и жалобы. Наконецъ, опять-таки лиса вмѣстѣ съ медвѣдемъ, являются совѣтниками у льва, не взлюбившаго пестрыхъ овецъ

и не знающаго, какъ отъ нихъ избавиться, и въ то время, какъ медвѣдь простодушно совѣтуетъ „безъ дальнихъ сборовъ“ велѣть передушить непріятныхъ льву овецъ, лисица, не желая погибели невинныхъ, рекомендуетъ отвести имъ хорошія пастбища и приставить къ нимъ въ пастухи волковъ. Цѣль вполнѣ достигнута, и звѣри толкуютъ, что „левъ бы хорошъ, да все злодѣи волки!“ Эта басня *(Пестрыя Овцы)* какъ выше сказано, вовсе не была напечатана при жизни автора и стала извѣстна только въ 1867 г. появившись въ „Русскомъ Архивѣ“. Такое промедленіе едва ли объясняется случайными причинами, хотя и трудно видѣть въ баснѣ намекъ на какое-нибудь дѣйствительное событіе того времени. Фабула и заключеніе ея напоминаютъ другое позднѣйшее произведеніе Крылова: богачъ-скряга Миронъ, желая добиться доброй славы, объявляетъ что будетъ кормить нищихъ по субботамъ, и точно, не запираетъ своихъ воротъ въ этотъ день, но зато спускаетъ съ цѣпи такихъ злыхъ собакъ, которыя вполнѣ ограждаютъ его отъ докучливыхъ посѣтителей *(Миронъ)*. Между тѣмъ всѣ говорятъ, что Миронъ радъ послѣднимъ подѣлиться, и только жалѣютъ, что до него трудно дойти, благодаря его злымъ собакамъ. Характерная иллюстрація въ наивности общественнаго мнѣнія!... Авторъ счелъ нужнымъ еще ближе пояснить свою мысль: „Видать случалось мнѣ, какъ доступъ не легокъ *въ высокія палаты*, да только все собаки виноваты, Мироны жъ сами въ сторонѣ“. Въ одной изъ рукописныхъ редакцій читаемъ такой варіантъ: „Случалось *въ старину* — и то *едва ли не во снѣ* — *вельможу* видѣть мнѣ: нѣтъ доступа въ его палаты, но все *секретари* его въ томъ виноваты, а самъ онъ вѣчно въ сторонѣ“. Къ числу такихъ вельможъ легко могъ принадлежать и тотъ персидскій сатрапъ, который попалъ въ рай за то, что за дѣла не принимался, а предоставилъ за слабостью здоровья всѣ дѣла секретарю, самъ же „пилъ, ѣлъ и спалъ да все подписывалъ, что онъ ни подавалъ“ *(Вельможа)*. На этотъ разъ Крыловъ заявляетъ, что онъ уже не во снѣ и не въ старину, а наяву и не далѣе, какъ вчера, видѣлъ въ судѣ судью, имѣющаго всѣ шансы попасть въ рай по той же причинѣ, по какой попалъ туда и выведенный имъ въ баснѣ вельможа. Впрочемъ, признавая вполнѣ, что покойникъ „погубилъ бы цѣлый край“, если бы, пользуясь данною ему властью, самъ вздумалъ заниматься дѣлами, мы должны предположить, что ему посчастливилось напасть на хорошаго секретаря, вслѣдствіе чего ввѣренный ему край не пострадалъ. Эта мысль о зависимости достоинства администраторовъ и судей отъ личныхъ качествъ приставленныхъ къ нимъ секретарей выражена въ одной изъ раннихъ басенъ Крылова *Оракулъ;* послѣдняя заключается такою моралью: „Я слышалъ — правда ль? — будто *встаръ* судей такихъ видали, которые весьма умны бывали, пока у нихъ былъ умный секретарь“. Даже въ такой серіозно-дидактической баснѣ, какъ *Водолазы*, Крыловъ замѣчаетъ мимоходомъ, что иные изъ царскихъ совѣтниковъ подавали голосъ *работы секретарской*. При такой зависимости не всякій вельможа, не смыслящій толка въ

дѣлахъ, окажется достойнымъ рая, хотя бы лично и не вмѣшивался ни во что: примѣромъ можетъ служить тотъ слонъ-воевода, который приходитъ въ негодованіе, узнавъ изъ поступившаго въ приказъ прошенія овецъ, что имъ нѣтъ житья отъ волковъ, а затѣмъ, удовольствовавшись объясненіемъ послѣднихъ, позволяетъ имъ взять съ овцы по шкуркѣ на тулупы въ видѣ оброка, „а больше ихъ (овецъ) не трогать волоскомъ“ *(Слонъ на воеводствѣ)*. „Кто знатенъ и силенъ, да не уменъ, такъ худо, ежели и съ добрымъ сердцемъ онъ“, заключаетъ Крыловъ по этому поводу, припоминая въ другомъ мѣстѣ „невѣждамъ не во гнѣвъ“ старую истину, что, „если голова пуста, то головѣ ума не придадутъ мѣста“ *(Парнасъ)*. Зато важный чинъ на *плутѣ*, по словамъ Крылова, „какъ звонóкъ: звукъ отъ него и громокъ, и далекъ“ *(Оселъ)*, тогда какъ плутъ въ маломъ чинѣ „не такъ еще примѣтенъ“. Въ указанной баснѣ этотъ звонокъ имѣлъ весьма печальныя послѣдствія для его носителя, но что въ жизни это не общее правило, показываетъ самъ же Крыловъ въ другой баснѣ, изображая вороненка, вздумавшаго некстати подражать орлу въ похищеніи изъ стада барана, и замѣчая въ заключеніе своего разсказа: „Нерѣдко у людей то жъ самое бываетъ, коль мелкій плутъ большому плуту подражаетъ: что̀ сходитъ съ рукъ *ворамъ*, за то *воришекъ* бьютъ“ *(Вороненокъ)*. Правда, левъ поступилъ иначе, покаравъ волка, взявшаго примѣръ хищенія съ маленькой собачонки, простивъ послѣднюю въ виду ея молодости и глупости *(Левъ и Волкъ)*. Вопросъ объ отвѣтственности старшихъ за младшихъ, начальствующихъ за подчиненныхъ разсматривается Крыловымъ съ различныхъ сторонъ: крестьяне идутъ жаловаться рѣкѣ на разоренье отъ ручейковъ и мелкихъ рѣчекъ и видятъ, что половина ихъ расхищеннаго добра плыветъ по этой самой рѣкѣ: отсюда выводъ простой: „на младшихъ не найдешь себѣ управы тамъ, гдѣ дѣлятся они со старшимъ пополамъ“ *(Крестьяне и Рѣка)*. Здѣсь круговая порука въ дѣлѣ злоупотребленій; но такой солидарности можетъ и не быть при извѣстныхъ условіяхъ, какъ видно изъ примѣра воеводы-слона. При недальновидности лицъ высшихъ иногда вполнѣ отсутствуетъ сознаніе собственной отвѣтственности за глупость или безчестность подчиненныхъ: мужикъ, приставившій осла стеречь свой огородъ, обвиняетъ потомъ въ убыткахъ не себя самого, а исключительно своего неудачнаго сторожа *(Оселъ и Мужикъ)*. Припомнимъ мысль, выраженную въ *Бритвахъ:* есть люди, предпочитающіе имѣть дѣло съ дураками, чѣмъ держать при себѣ умныхъ людей; но въ указанномъ случаѣ не видно, чтобы мужикъ, нанявшій осла въ сторожа, дѣйствовалъ сознательно, и приходится предположить, что и самъ наниматель не былъ умнѣе наемника. Такая солидарность тупоумія предполагается, какъ общее правило, волкомъ относительно пастуховъ: „гдѣ пастухъ дуракъ, тамъ и собаки дуры“ *(Волкъ и Волчонокъ)*. Не умнѣе мужика, поручившаго ослу стеречь свой огородъ, или другого, которому Барбосъ нанялся за тройную плату исправлять всѣ работы по дому *(Крестьянинъ и Собака)*, оказался и тотъ поваръ,

который оставилъ кота стеречь съѣстное отъ мышей, а затѣмъ, заставъ хищника на мѣстѣ преступленія, сталъ „тратить рѣчи по-пустому“ вмѣсто того, чтобы „власть употребить“ *(Котъ и Поваръ)*. Вотъ и еще налицо одно изъ тѣхъ нелѣпыхъ противорѣчій, которыми такъ изобилуетъ дѣйствительность: глупый, но честно исполнявшій свою службу оселъ наказанъ дубиною, а котъ, хитрый и сознательный воръ, остается безъ наказанія, — правда, на этотъ разъ благодаря лишь склонности своего хозяина къ резонерству, а не собственной изворотливости. Во всѣхъ приведенныхъ примѣрахъ мы видѣли или злоупотребленія подчиненныхъ отъ имени добраго, но глупаго воеводы *(Слонъ на воеводствѣ)*, или совмѣстное дѣйствіе старшихъ и младшихъ *(Крестьяне и Ръка)*, или переложеніе отвѣтственности съ высшихъ на низшихъ *(Миронъ и Пестрыя Овцы)*, или, наконецъ, неумѣніе найти для дѣла подходящаго исполнителя *(Оселъ и Мужикъ)* и принять должныя мѣры противъ злоупотребленій *(Котъ и Поваръ)*. Но злоупотребленія нерѣдко исходятъ и непосредственно отъ самихъ старшихъ, совершенно независимо отъ подчиненныхъ, которымъ въ этомъ случаѣ остается только „лежать смирнехонько“, подобно собакамъ, видящимъ, какъ пастухи потрошатъ лучшаго въ стадѣ барана. По адресу этихъ волковъ въ одеждѣ пастырей настоящій, явный волкъ дѣлаетъ справедливое замѣчаніе: „Какой бы шумъ вы всѣ здѣсь подняли, друзья, когда бы это сдѣлалъ я!“ *(Волкъ и Пастухъ)*. Итакъ, беззащитнымъ овцамъ подчасъ приходится плохо не отъ однихъ волковъ, а и отъ собственныхъ блюстителей: пастухъ Савва самъ ѣстъ барскихъ овецъ, сваливая вину на небывалаго волка *(Пастухъ)*; въ другомъ стадѣ для охраны овецъ отъ волковъ разведено столько собакъ, что онѣ сами подъ конецъ съѣли все стадо, потому что „и собакамъ надо жъ ѣсть“ *(Овцы и Собаки)*. Что же должно произойти, когда профессіональный хищникъ является въ роли офиціальнаго охранителя и правителя? Каково должно быть житье тѣхъ овецъ, къ которымъ въ старосты посаженъ волкъ, пчелъ, отданныхъ подъ присмотръ медвѣдя, куръ, подчиненныхъ администраціи лисицы?! Немудрено, что „олени, серны, козы, лани“ являются какъ разъ тѣми *мохнатыми* звѣрями, *почти не платящими дани*, съ которыхъ слѣдуетъ снять шерсть для мягкой постели состарѣвшемуся льву, по совѣту его вельможъ *(Левъ)*. Не много утѣшенія приноситъ овцамъ и благодѣтельный законъ, изданный спеціально для ихъ огражденія, въ силу коего овца имѣетъ право всякаго волка, обижающаго ее, „не разбираючи лица, схватить за шиворотъ и въ судъ тотчасъ представить“ *(Волки и Овцы)*: есть условія, при которыхъ самыя благія намѣренія остаются только на бумагѣ... При изображеніи разнаго рода хищниковъ Крыловъ иногда касается ихъ психологіи, хотя бы съ какой-нибудь одной стороны: взяточники не любятъ узнавать себя въ сатирѣ и „украдкою киваютъ на Петра“ при чтеніи о взяткахъ *(Мартышка и Зеркало)*; крупный воръ искренно негодуетъ на мелкаго воришку, и *судья* Климычъ, у котораго стянули часишки,

кричитъ на вора: „караулъ!“ *(Волкъ и Мышенокъ)*. Лисица оправдываетъ передъ крестьяниномъ свои воровскія наклонности нуждою, дѣтьми, примѣромъ другихъ, а затѣмъ, получивъ возможность добывать кусокъ хлѣба честнымъ трудомъ, продолжаетъ воровать попрежнему, изъ чего дѣлается выводъ, къ сожалѣнію, справедливый для весьма многихъ случаевъ, что „вору дай хоть милліонъ, онъ воровать не перестанетъ“ *(Крестьянинъ и Лисица)*. Не можемъ не отмѣтить еще прекрасной басни о ручьѣ, безобидномъ лишь до тѣхъ поръ, пока онъ не сдѣлался многоводною рѣкою *(Ручей)*. Авторъ правъ тысячу разъ: много на свѣтѣ такихъ сладко журчащихъ ручейковъ, выражающихъ наилучшія намѣренія даже искренно, „лишь только оттого, что мало въ нихъ воды!“

Мы, конечно, далеко не обозрѣли всѣхъ басенъ Крылова, заключающихъ въ себѣ драгоцѣнные, мѣткіе намеки на окружающую жизнь съ ея уклоненіями отъ началъ справедливости и разума: такіе намеки разсѣяны даже мимоходомъ, вскользь, тамъ, гдѣ, повидимому, серіозность тона исключаетъ сатирическія выходки: въ *Сочинителѣ и Разбойникѣ* дѣйствіе происходитъ въ загробномъ мірѣ, но и тутъ именно по этому поводу авторъ вставляетъ такое замѣчаніе: „Въ аду обрядъ судебный скоръ: нѣтъ проволочекъ безполезныхъ“. Также въ *Водолазахъ* для „разумниковъ“, созванныхъ царемъ на совѣтъ, разладъ въ голосахъ былъ настоящимъ кладомъ, и, если бы имъ волю дали, они бъ донынѣ толковали *да жалованье брали*“. А какія мѣткія сатиры представляютъ собою, напримѣръ, *Тришкинъ кафтанъ, Мельникъ, Мѣшокъ, Орелъ и Кротъ, Слонъ и Моська, Левъ на ловлѣ, Музыканты, Совѣтъ Мышей*, — это наглядное изложеніе кумовства, торжествующаго надъ всѣми правилами и постановленіями, — и т. д., и т. д. Припомнимъ кстати обрисованнаго Гоголемъ учителя Чичикова, ставившаго поведеніе превыше всѣхъ дарованій и способностей и не могшаго простить Крылову его афоризма: „по мнѣ, ужъ лучше пей, да дѣло разумѣй“ *(Музыканты)*; воззрѣнія этого просвѣтителя юношества, особенно въ его эпоху, во всякомъ случаѣ не были исключительно его достояніемъ, а раздѣлялись весьма многими; а въ чемъ иной разъ заключалось и заключается прекрасное поведеніе, доставляющее человѣку благополучіе, объ этомъ свидѣтельствуетъ примѣръ Жужу, кудрявой болонки, ходящей на заднихъ лапкахъ *(Двѣ Собаки)*. *Аммонъ.*

Историческія басни Крылова.

Волкъ на псарнѣ. Въ этой баснѣ, какъ извѣстно, Крыловъ представляетъ Наполеона въ Россіи. По словамъ Быстрова, „Крыловъ, собственною рукою переписавъ басню „Волкъ на псарнѣ“, отдалъ ее княгинѣ Катеринѣ Ильиничнѣ, а она при своемъ письмѣ отправила

ее къ свѣтлѣйшему своему супругу“[1]), который прочиталъ ее, послѣ сраженія подъ Краснымъ собравшимся вкругъ него офицерамъ и при словахъ: „а я пріятель сѣдъ“, снялъ свою бѣлую фуражку и потрясъ наклоненною головою.

Первая мысль этой басни, какъ видно:

И волчьей клятвой утверждаю,
Что я... „Послушай-ка сосѣдъ“,
Тутъ ловчій перервалъ *и проч.*

могла явиться у Крылова по полученіи извѣстія о попыткахъ Наполеона вступить въ переговоры, т.-е. послѣ 23-го сентября (день свиданія Кутузова съ Лористономъ). Послѣдняя же редакція могла составиться не ранѣе, какъ послѣ тарутинскаго сраженія, бывшаго 6-го октября, потому что до того времени, отъ самаго выступленія нашихъ войскъ изъ Москвы, кромѣ ничтожныхъ стычекъ, не было предпринято никакихъ дѣйствій, которыя бы могли служить Крылову основаніемъ сказать: „И тутъ же выпустилъ на волка гончихъ стаю“.

Общій планъ военныхъ дѣйствій, сообщенный Кутузову изъ Петербурга еще въ началѣ сентября, заключался въ томъ, чтобы дѣйствовать въ тылъ Наполеону, затрудняя отступленіе. Князь Волконскій, посланный для полученія отъ Кутузова объясненія его дѣйствій, доносилъ государю: „Смѣло можно увѣрить, что Наполеону трудно будетъ выбраться изъ Россіи („Полн. собр. соч.“ Мих.-Данилевскаго, т. V, стр. 14)“. На это Крыловъ намекаетъ стихами:

...Друзья, къ чему весь этотъ шумъ...
Что я...

Рѣчь попавшаго въ безвыходное положеніе волка довольно близка къ тѣмъ выраженіямъ, въ которыхъ раздраженный Наполеонъ высказывалъ свое желаніе мириться: „Пора положить предѣлъ кровопролитію, — говорилъ онъ Яковлеву. — Намъ съ вами легко поладить...

---

[1]) Приводимъ вполнѣ разсказъ Быстрова, имѣющій интересъ независимо отъ этой басни. „Иванъ Андреевичъ, какъ и всякій великій геній, былъ необыкновенно скроменъ. Въ 39 № „Литературныхъ прибавленій къ Русскому Инвалиду“ на 1837 г., въ повѣсти, подъ названіемъ: „Преобразованіе“, разсказанъ былъ весьма любопытный анекдотъ изъ незабвенной эпохи 1812 г. Вотъ онъ: „Наполеонъ послѣ Бородинскаго отпора пошелъ ощупью верстъ 15 въ сутки и какъ бы ожидалъ другой битвы, столь же страшной и гибельной, какъ первая. Наши молодые воины также требовали сей битвы и дерзали укорять великаго тактика въ старости, нерѣшительности, а иные близорукіе называли его просто трусомъ“. Далѣе авторъ говоритъ, что Иванъ Андреевичъ Крыловъ, живучи въ С.-Петербургѣ, проникъ думу Кутузова и прислалъ ему свою басню „Волкъ на псарнѣ“. Кутузовъ, зная ропотъ нетерпѣливой молодежи, призвалъ къ себѣ юныхъ героевъ и прочиталъ имъ басню. Смыслъ басни пояснилъ многимъ то, чего они прежде не понимали, и съ той поры, возложивъ надежду на Бога и опытность сѣдого ловчаго, наши богатыри выжидали въ тарутинскомъ лагерѣ перваго сигнала къ битвѣ и побѣдѣ“.

„Когда я прочелъ это мѣсто Ивану Андреевичу, — продолжаетъ Быстровъ, — то онъ нахмурился и сказалъ: „Все это вздоръ... Я не Богъ... Возможно ли, чтобъ я, частный человѣкъ, ни дипломатъ, ни военный, напередъ зналъ, что сдѣлаетъ Кутузовъ?.. Смѣшно... Да и гдѣ Кутузовъ читалъ басню? Не въ тарутинскомъ же лагерѣ, а послѣ... Скажите, мой милый, въ какомъ-нибудь журналѣ, что все это было не такъ“. На другой день я отнесъ къ А. Ѳ. Воейкову составленныя мною примѣчанія къ баснѣ Ивана Андреевича Крылова „Волкъ на псарнѣ“, которыя и были напечатаны въ „Русскомъ Инвалидѣ“. Въ этихъ примѣчаніяхъ Быстровъ разсказываетъ происшествіе, какъ оно было.

Мнѣ нечего у васъ дѣлать; я не требую отъ васъ ничего, кромѣ исполненія Тильзитскаго договора... Я готовъ возвратиться..." Столь же интересны въ этомъ отношеніи и слова Лористона, приведенныя Кутузовымъ въ донесеніи государю: „Государь мой искренно желаетъ положить предѣлъ несогласіямъ между двумя великими народами, и положить его навсегда". Въ письмѣ, посланномъ черезъ Яковлева, Наполеонъ не преминулъ напомнить о прежнихъ чувствахъ къ нему Александра: „Если ваше величество хотя отчасти сохраняете ко мнѣ прежнія чувствованія..." *и проч.*

Ты сѣръ, а я, пріятель, сѣдъ.

Этотъ стихъ показываетъ, что Крыловъ въ своемъ ловчемъ цѣнилъ преимущественно и даже исключительно хитрость. Такой взглядъ баснописца на главнокомандующаго вполнѣ оправдывается многими историческими данными. Передъ отъѣздомъ Кутузова въ армію, одинъ изъ его родственниковъ имѣлъ нескромность спросить: „Неужели вы, дядюшка, надѣетесь разбить Наполеона?" — Кутузовъ отвѣчалъ: „Нѣтъ! А обмануть надѣюсь". Почти то же самое сказалъ онъ во время тарутинской стоянки: „Разбить меня можетъ Наполеонъ, а обмануть — никогда". Суворовъ, подъ начальствомъ котораго Кутузовъ пріобрѣлъ извѣстность и заслужилъ расположеніе императрицы Екатерины, говаривалъ о немъ: „уменъ, очень уменъ; его и Рибасъ не обманетъ". Въ такомъ же смыслѣ отзывается о немъ и Вильсонъ въ своихъ „Запискахъ": „Вот vivant, утонченно образованный, вѣжливый, хитрый, какъ грекъ, смѣтливый отъ природы, какъ азіатецъ, и просвѣщенный, какъ европеецъ, онъ болѣе былъ склоненъ расчитывать на успѣхъ отъ своей дипломатіи, чѣмъ отъ военной отваги..."

Обозъ. Цѣль басни — оправдать медлительность дѣйствій Кутузова. Оставленіе въ рукахъ непріятеля Москвы безъ боя, истребленіе ея и вслѣдъ за тѣмъ бездѣйствіе главнокомандующаго — должно было неминуемо возбудить ропотъ и горькія нареканія. Всѣ желали рѣшительнаго боя, ждали его подъ стѣнами Москвы; а между тѣмъ Кутузовъ, никому не открывая своего плана истребленія арміи Наполеона, спокойно и настойчиво приводилъ его въ исполненіе — старался ослабить врага, уклоняясь отъ рѣшительной развязки. Весьма естественно, что общественное мнѣніе вооружилось теперь противъ него, какъ за полтора мѣсяца передъ тѣмъ противъ Барклая-де-Толли. Самъ императоръ поставлялъ ему въ вину то, что онъ не далъ вторичнаго сраженія подъ Москвою. Слѣдствіемъ этого былъ рескриптъ на имя главнокомандующаго, полученный имъ за нѣсколько дней до тарутинскаго сраженія. Приводимъ окончаніе его, прямо относящееся къ нашему предмету: „...казалось, что, пользуясь сими обстоятельствами (раздробленностію силъ Наполеона), могли бы вы съ выгодою атаковать непріятеля слабѣе васъ и истребить онаго, или, по меньшей мѣрѣ, заставя его отступить, сохранить въ нашихъ рукахъ знатную часть губерній, нынѣ непріятелемъ занимаемыхъ, и тѣмъ самымъ отвратить опасность отъ

Тулы и прочихъ внутреннихъ городовъ. На вашей отвѣтственности останется, если непріятель въ состояніи будетъ отрядить значительный корпусъ на Петербургъ... ибо съ ввѣренной вамъ арміей, *дѣйствуя съ рѣшительностью и дѣятельностью,* вы еще обязаны отвѣтомъ оскорбленному отечеству въ потерѣ Москвы... Я и Россія въ правѣ ожидать съ вашей стороны всего *усердія, твердости и успѣховъ" и проч.* Но Кутузовъ, сравненный въ баснѣ съ добрымъ конемъ, который понесъ на крестцѣ свой возъ, не измѣнилъ своего плана, несмотря ни на упреки ни на порывы своихъ сподвижниковъ.

Ворона и Курица. Первыя извѣстія о бѣдственномъ состояніи арміи Наполеона могли достигнуть Петербурга не раньше, какъ въ концѣ сентября. Въ „Сынѣ Отечества" находимъ слѣдующую замѣтку: „Очевидцы разсказываютъ, что въ Москвѣ французы ежедневно ходили на охоту стрѣлять воронъ и не могли нахвалиться своимъ soupe aux corbeaux. Теперь можно дать отставку старинной русской пословицѣ: „попалъ, какъ куръ во щи", а лучше говорить: „попалъ, какъ ворона во французскій супъ". Къ тому же времени относится и карикатура Ивана Теребенева, *Французскій вороній супъ,* гдѣ представлены четыре французскіе гренадера въ оборванныхъ мундирахъ, расположившіеся въ полѣ: посреди картины стоитъ гренадеръ, раненый въ ногу, которая у него совершенно босая, и отрываетъ у вороны крылья; съ одной стороны, стоя на колѣняхъ на камнѣ, товарищъ схватился за воронью ножку и, судя по разинутому рту, готовъ ее проглотить; не менѣе сильный аппетитъ выражается въ фигурѣ третьяго, сидящаго по другую сторону; позади ихъ лежитъ четвертый, обнимающій обѣими руками пустой котелъ. Подъ карикатурою находится слѣдующее четверостишіе:

Бѣда намъ съ нашимъ великимъ Наполеономъ!
Кормилъ насъ въ походѣ изъ костей бульономъ.
Въ Москвѣ попировать свистѣлъ у насъ зубъ:
Не тутъ-то, похлебаемъ же хоть вороній супъ![1])

Можетъ-быть, тогда же и явилась у Крылова первая мысль этой басни; но окончательно редактирована она могла быть только въ ноябрѣ: князь Кутузовъ, названный въ баснѣ Смоленскимъ, получилъ этотъ титулъ послѣ дѣла подъ Краснымъ, окончившагося 6-го ноября.

Какъ голодомъ морить Смоленскій сталъ гостей.

Кутузовъ, дѣйствительно, считалъ голодъ однимъ изъ рѣшительнѣйшихъ средствъ въ борьбѣ съ Наполеономъ. По окончаніи совѣта въ Филяхъ, на вопросъ полковника Шнейдера: „Гдѣ мы остановимся?" фельдмаршалъ отвѣчалъ: „Это мое дѣло; но ужъ доведу я проклятыхъ

[1]) Карикатуру И. Теребенева см. въ собраніи карикатуръ, относящихся къ Отечественной войнѣ въ библіотекѣ Имп. Академіи Наукъ. Подобная же картинка приложена къ этой баснѣ въ изданіи Смирдина: „Басни Ивана Крылова", 1834 г. (часть I, кн. I, стран. 9): къ тремъ солдатамъ, расположившимся у треножника, на которомъ виситъ котелъ, подходитъ четвертый съ пучкомъ хворосту въ одной рукѣ и вороною въ другой; въ его лицѣ и фигурѣ виденъ оттѣнокъ торжества, а въ лицахъ сидящихъ его товарищей — удовольствіе, вызванное мыслью о предстоящей трапезѣ.

французовъ, какъ въ прошломъ году турокъ, до того, что они будутъ ѣсть лошадиное мясо". Къ этой цѣли Кутузовъ, кажется, направлялъ дѣйствія партизанскихъ отрядовъ.

Такъ часто человѣкъ въ расчетахъ слѣпъ и глупъ...
Попался, какъ ворона въ супъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что эта ворона, погнавшаяся за лакомымъ кускомъ, въ увѣренности, что „воронъ ни жарятъ ни варятъ", — Наполеонъ, увѣренный въ своей непобѣдимости, погнавшійся за счастіемъ, но обманувшійся въ расчетѣ. Его неудача въ Россіи внушила нашему поэту стихи, составляющіе нравоученіе басни.

Щука и Котъ. Поводомъ къ сочиненію этой басни была извѣстная неудача адмирала Чичагова, который долженъ былъ пресѣчь путь Наполеону черезъ Березину. „Нельзя изобразить общаго на него негодованія, — пишетъ Вигель: — всѣ состоянія подозрѣвали его въ измѣнѣ, снисходительнѣйшіе кляли его неискусство, и Крыловъ написалъ басню о пирожникѣ, который берется шить сапоги, т.-е. о морякѣ, начальствующемъ надъ сухопутнымъ войскомъ". Въ современной карикатурѣ[1]) сохранилось весьма опредѣленное выраженіе того убѣжденія, что Чичаговъ преднамѣренно уклонился отъ общаго плана. Въ ней Кутузовъ скачетъ на конѣ и тянетъ одинъ конецъ сѣти, въ которую долженъ попасть Наполеонъ; а на другомъ концѣ ея Чичаговъ, сидящій на якорѣ, восклицаетъ: je le sauve! и Наполеонъ въ видѣ зайца проскальзываетъ за его спиною. То же убѣжденіе выразилось и въ слѣдующей эпиграммѣ, найденной Я. К. Гротомъ въ бумагахъ Державина.

Смоленскій князь Кутузовъ
Продерзостныхъ французовъ
И гналъ и билъ,
И, наконецъ, имъ гибельну онъ сѣть связалъ;
Но земноводный генералъ
Приползъ, — да и всю распустилъ.

Характеризуя его, какъ человѣка, Вигель говоритъ, что „въ душѣ онъ былъ англичанинъ, учился въ Англіи мореплаванію и былъ женатъ на англичанкѣ; что съ суровостью моряка онъ соединялъ надменность англичанина, и это сдѣлало его ненавистнымъ для русскихъ; послѣдній же его подвигъ (защита Березины) заставилъ ихъ всѣхъ презирать его". „Да и не могло быть иначе, — пишетъ ген. Богдановичъ, князь Кутузовъ, освободитель Россіи отъ нашествія Наполеона и его полчищъ, Витгенштейнъ, защитникъ нашей сѣверной столицы... оба они стояли такъ высоко въ общемъ мнѣніи, что никто не смѣлъ усомниться

[1]) Эта карикатура находится въ сборникѣ карикатуръ, относящихся къ Отечественной войнѣ, подаренномъ П. Л. Лавровымъ Императорской Публичной библіотекѣ. Сборникъ состоитъ изъ 53 карикатуръ; изъ нихъ 15 Ивана Теребенева, 5 подписаны буквами И. И. (Ивановъ?) и 33 безъ подписи; къ числу послѣднихъ относится и та, о которой здѣсь идетъ рѣчь. Мы слышали, будто существовала другая карикатура такого содержанія: Кутузовъ съ великимъ усиліемъ затягиваетъ мѣшокъ, а Чичаговъ съ другого конца перочиннымъ ножикомъ разрѣзываетъ этотъ мѣшокъ и выпускаетъ изъ него маленькихъ французскихъ солдатиковъ. Къ сожалѣнію, всѣ наши старанія отыскать ее остались тщетны.

въ безошибочности ихъ дѣйствій... Общему порицанію подвергся Чичаговъ, потому что, во-1-хъ, положеніе, занимаемое его арміею, давало ему наиболѣе возможности преградить путь Наполеону; во-2-хъ, потому, что, командуя въ Отечественную войну впервые сухопутными силами, онъ еще не успѣлъ заслужить славы искуснаго военачальника. Къ тому же онъ сдѣлалъ важную ошибку, уклонясь отъ направленія, по которому отступала Наполеонова армія". Этимъ общимъ мнѣніемъ, котораго не раздѣлять Крыловъ не имѣлъ причины, можетъ быть объяснена рѣзкость выраженій во вступленіи и заключеніи басни.

И крысы хвостъ у ней отъѣли.

Въ этомъ стихѣ заключается намекъ на неудачное отступленіе войскъ Чичагова отъ Борисова на правую сторону Березины; при этомъ были потеряны многіе изъ полковыхъ обозовъ, канцелярія главнокомандующаго, большая часть экипажей и въ томъ числѣ фургонъ со столовымъ сервизомъ Чичагова и всѣ наши раненые и больные, изъ коихъ нѣкоторые погибли отъ пожара, опустошившаго городъ.

Кеневичъ.

Басни Крылова, устанавливающія согласіе между отдѣльными группами государства.

Обращая свое заботливое вниманіе на устройство семьи, на установленіе единства и согласія, естественныхъ и разумныхъ отношеній между ея членами, Крыловъ не упускалъ изъ виду и обширной семьи — государства, со свойственной ему простотой и убѣдительностію доказывая въ своихъ басняхъ необходимость и въ немъ той же гармоніи, тѣхъ же естественныхъ и разумныхъ отношеній между всѣми его членами. Высказывая въ своей превосходной баснѣ *Воспитаніе Льва* высокую истину, что важнѣйшая наука для царей: „знать свойства своего народа и выгоды земли своей", — въ другой баснѣ *Василекъ*, отличающейся еще бо́льшими поэтическими достоинствами, неподражаемой по простотѣ изящества, необыкновенной нѣжности и мягкости красокъ, онъ указываетъ на высокую задачу царя въ слѣдующихъ превосходныхъ стихахъ:

О вы, кому въ удѣлъ судьбою данъ
Высокій санъ,
Вы съ солнца моего примѣръ берите!
Смотрите:
Куда лишь лучъ его достанетъ, тамъ оно —
Былинкѣ ль, кедру ли — благотворитъ равно,
И радость по себѣ и счастье оставляетъ;
Зато и видъ его горитъ во всѣхъ сердцахъ —
Какъ чистый лучъ въ восточныхъ хрусталяхъ,
И все его благословляетъ.

Мысль о гармоническомъ, естественномъ и разумномъ отношеніи между всѣми группами, составляющими государство, что „держава всякая сильна, когда устроены въ ней всѣ премудро части", развита

въ баснѣ *Пушки и Паруса*, исполненной поэтическихъ картинъ. Написанная въ 1829 г., она указываетъ на ложность господствовавшаго у насъ прежде съ особенной силой убѣжденія въ превосходствѣ пушекъ, военной службы, передъ парусами, „этимъ ничтожнымъ холстиннымъ твореніемъ“, т.-е. гражданской или, точнѣе, всякой другой службы. Развитію той же мысли о необходимости гармоніи между всѣми государственными сословіями посвящена Крыловымъ другая прекрасная басня: *Листы и Корни*, гдѣ доказывается простая истина, что корень въ государствѣ — въ народѣ, и что для жизненныхъ отправленій государства необходимы высшія сословія; живутъ и цвѣтутъ они до тѣхъ поръ, „пока не изсушится корень“. Съ другой стороны, *Конь и Всадникъ* подтверждаетъ столь же простую истину, что для народа необходима разумная мѣра свободы; такъ, конь ретивый, безъ узды, сбросившій сѣдока и самъ „въ оврагъ со всѣхъ махнувшій ногъ“, обличаетъ глубокую думу Крылова надъ свѣжими историческими явленіями.

Установляя согласіе между отдѣльными группами государства, онъ даетъ въ то же время практическій совѣтъ держаться крѣпко каждому своего и не выдавать Матрены за барона, чтобы не вышла Матрена ни пава ни ворона *(Ворона)*; совѣтуетъ селянину, солдату или гражданину (т.-е. горожанину) не роптать, „кой съ кѣмъ свое сличая состоянье“, потому что и эти *кой-кто* не безъ дѣла для нихъ же *(Колосъ)*. Не щадитъ онъ и власти, безъ дѣла и пользы живущей и заѣдающей чужой трудъ. Въ одной изъ послѣднихъ басенъ: *Вельможа* — судья въ жилищѣ тѣней тотчасъ отправляетъ въ рай вельможу, который на службѣ только „пилъ, ѣлъ и спалъ, да все подписывалъ, что секретарь ни подавалъ“, и слѣдующимъ образомъ объясняетъ свой приговоръ Меркурію, который даже вскрикнулъ отъ изумленія, забывши всю учтивость:

Что если бы съ такою властью
Взялся онъ за дѣла, къ несчастью,—
Вѣдь погубилъ бы цѣлый край!

Въ баснѣ *Орелъ и Паукъ* онъ обличаетъ тѣхъ, „кои безъ ума и даже безъ трудовъ тащатся вверхъ, держась за хвостъ вельможи“; или тѣхъ, которые составляютъ свое счастье „лишь тѣмъ, что хорошо на заднихъ лапкахъ ходятъ“ *(Двѣ Собаки)*; тѣхъ, которые судятъ объ умѣ „по платью иль по бородѣ“, тянутъ по службѣ вверхъ людей безъ ума, какъ крысу безъ хвоста, лишь потому, что эта крыса имъ кума; тѣхъ, которые хвалятся, что ихъ предки Римъ спасли *(Гуси)*, или что прослужили безъ проку сорокъ лѣтъ и лежали, какъ камень на полѣ — тихо, скромно, смирнехонько *(Камень и Червякъ)*. Въ баснѣ *Паукъ и Пчела* Крыловъ вооружается рѣзкою сатирою противъ тѣхъ, кто, какъ завистливый паукъ, „засѣлъ, надувшись спесиво, за трудъ, въ которомъ свѣту пользы нѣтъ“, который не одѣваетъ и не грѣетъ; въ баснѣ *Бѣлка* противъ пустыхъ дѣльцовъ, которые суетятся день и ночь безъ толку, какъ бѣлка въ колесѣ; въ баснѣ *Пчела и Муха* противъ тѣхъ безполезныхъ гражданъ, которыхъ на родинѣ, какъ мухъ,

вездѣ гоняютъ изъ гостей и которые летятъ въ чужіе края, потому что тамъ никому ихъ праздность не досадна; въ баснѣ *Похороны* — противъ безполезныхъ богачей, „которыхъ смерть одна къ чему-нибудь годна“. *Лавровскій.*

Басни Крылова, поучающія правиламъ обычной житейской мудрости.

Трудно перечислить тѣ басни, въ которыхъ Крыловъ даетъ намъ правила обычной житейской мудрости, практическіе совѣты, или въ которыхъ просто выражаются отдѣльные частные случаи. Ихъ много и всѣ онѣ такъ извѣстны, что перечислять ихъ значило бы злоупотреблять вниманіемъ. Приглядимся ли къ нашей обычной разладицѣ въ житейскихъ дѣлахъ, мы непремѣнно вспомнимъ басню *Лебедь, Щука и Ракъ;* прислушаемся ли къ нашимъ безполезнымъ рѣчамъ, расточаемымъ часто попусту тамъ, гдѣ нужно дѣло, нашему воображенію тотчасъ представится *рыцарь*, ораторствующій передъ лошадью, или *поваръ* передъ *котомъ*, спокойно убирающимъ курчонка. Наши пустыя и часто вредныя затѣи напомнятъ намъ *механика;* наша охота браться за дѣло не подъ силу — *Скворца*, задумавшаго пѣть соловьемъ; наше „авось, успѣю“ — *Мельника;* наша привычка сваливать вину на другого — *напраслину.* Нашъ близорукій и тревожный взглядъ на дѣло, представляющій со всѣхъ сторонъ мнимыя опасности, наша охота бить попусту въ набатъ, какъ часто бываетъ и теперь, изображены Крыловымъ въ прекрасной баснѣ „Мыши“; наша привычка, отъ которой мы еще не можемъ отстать — судить и рядить, что и какъ за моремъ, а у себя подъ носомъ не видѣть, изобличается въ столь же прекрасной баснѣ — *Три мужика* и т. д. Въ какіе прекрасные поэтическіе образы облекаются въ басняхъ Крылова самыя простыя истины: быть терпѣливымъ въ трудѣ *(Трудолюбивый Медвѣдь)*, не обольщаться обманчивой надеждой *(Пастухъ и Море)*, не браться за нѣсколько дѣлъ разомъ *(Крестьянинъ и Собака)*, не пренебрегать совѣтомъ, не разсмотрѣвъ его *(Орелъ и Кротъ, Левъ и Мышь)*, какой прекрасный памятникъ въ баснѣ *Орелъ и Пчела* безвѣстному, но честному труду и т. д. А *Тришкинъ кафтанъ* и *Демьянова уха*, смерть, явившаяся на зовъ мужика, муха, вытягивающая въ гору возъ, медвѣжья услуга?... сколько картинъ, прелестныхъ и затѣйливыхъ поэтическихъ образовъ возбуждаютъ они въ нашемъ воображеніи! Цѣлыя басни иногда посвящаются Крыловымъ переложенію въ тѣ же поэтическіе образы народныхъ пословицъ: изъ огня да въ полымя *(Госпожа и двѣ служанки)*, у страха глаза велики *(Мышь и Крыса)*, не смѣйся чужой бѣдѣ *(Чижъ и Голубь)* и др. Извѣстно, что Крыловъ терпѣть не могъ въ литературѣ ни излишней, льстивой похвалы ни бранчивой и придирчивой критики; „лишнія хвалы считаю за отраву“, замѣтилъ онъ, между прочимъ, въ баснѣ *Муравей.* Относительно же наклонности къ осужденію и порицанію, которой такъ легко поддается человѣкъ, онъ

руководился старою, но вѣрною истиною, высказанною имъ въ баснѣ *Обозъ:*

Все кажется въ другомъ ошибкой намъ;
А примешься за дѣло самъ,
Такъ напроказишь вдвое хуже.

Критикамъ и цѣнителямъ этого рода онъ посвятилъ нѣсколько прекрасныхъ басенъ: ихъ онъ выводитъ и въ бросающихся на прохожихъ *собакахъ*, которыя, впрочемъ, „полаютъ, да отстанутъ“; въ *ослѣ*, отозвавшемся съ такимъ знаніемъ дѣла о пѣніи *соловья;* въ *моськѣ*, лающей на *слона;* въ *грязномъ голикѣ*, развозившемся по барскому платью; въ *свиньѣ*, роющейся въ навозѣ и сорѣ на заднемъ дворѣ богача. Не любилъ онъ также дешевой и пристрастной критики литературныхъ партій и кружковъ, когда *кукушка* хвалитъ пѣтуха за то, что хвалитъ онъ кукушку; когда бранятъ другихъ только потому, что эти другіе „не нашего прихода“ *(Прихожанинъ)*. Но о критикѣ серіозной, основательной и благонамѣренной Крыловъ всегда отзывается съ уваженіемъ и вѣрилъ въ ту пользу, которую она приноситъ истиннымъ талантамъ, которымъ нечего бояться такой критики:

Таланты истины за критику не злятся:
Ихъ повредить она не можетъ красоты;
Одни поддѣльные цвѣты
Дождя боятся.

Лавровскій.

Басня Крылова, какъ воплотительница ума и народной мудрости.

Между родами поэзіи, перешедшими на русскую почву съ Запада въ XVIII столѣтіи, *басня* всѣхъ болѣе полюбилась нашимъ писателямъ. Не было почти ни одного русскаго поэта, который бы не писалъ между прочимъ басенъ. Въ числѣ неизданныхъ сочиненій Державина отыскалось до 25 пьесъ этого рода. Жуковскій и Батюшковъ также испытывали себя въ баснѣ. Успѣхъ Крылова вызвалъ несчетное множество новыхъ баснописцевъ, которые, однакожъ, давно забыты. Правда, что и въ другихъ литературахъ, послѣ счастливаго примѣра, поданнаго Лафонтеномъ, басня, по своей видимой легкости, привлекала множество писателей; но нигдѣ ей такъ не посчастливилось, какъ въ Россіи; нигдѣ не получила она такого глубокаго національнаго значенія. Изъ всѣхъ родовъ поэзіи въ русской литературѣ, до сихъ поръ только басня, благодаря Крылову, сдѣлалась въ полной мѣрѣ органомъ народности и по духу и по языку. Причины такого явленія должно искать въ томъ, что басня и по сущности своей и по формѣ особенно соотвѣтствуетъ свойствамъ народнаго духа. Для нея именно нуженъ и практическій смыслъ, и простодушная замысловатость, и охота объясняться притчами и пословицами, которыя такъ преобладаютъ въ русскомъ народѣ. Если самъ Крыловъ

едва не до сорокалѣтняго возраста удерживался отъ художественной басни, то это можно объяснить только его сильнымъ сатирическимъ талантомъ, который долго искалъ себѣ болѣе прямого и открытаго выраженія. Это преобладающее свойство его духа придало и баснямъ его особенное значеніе. Какъ скоро оказалось, что только въ формѣ басни для него возможно вполнѣ успѣшное сочетаніе художественнаго дарованія съ проявленіемъ глубоко-сатирическаго ума, то онъ не могъ не предпочесть ее всякой другой формѣ поэзіи. Изъ всѣхъ русскихъ писателей у одного Крылова соединились въ высшей мѣрѣ тѣ условія, которыя могутъ сообщить баснѣ истинно-глубокое содержаніе. У другихъ писателей басня почти всегда только словесная игрушка; у него она дѣло, полное жизни и значенія. Но потому-то Крыловъ, давъ ей все то развитіе, къ какому она способна на русской почвѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ надолго заградилъ всѣмъ дорогу на этомъ поприщѣ. Ни одинъ русскій писатель не отважится въ скоромъ времени итти по его слѣдамъ.

Говорятъ, что басня есть форма поэзіи, слишкомъ тѣсная для фантазіи и въ наше время устарѣлая; но эта форма пришлась по уму и нраву Крылова, потому что именно въ ней было ему всего привольнѣе, и только въ ней онъ могъ проявить свой художественно-сатирическій талантъ во всей его силѣ и полномъ блескѣ. Тѣмъ изумительнѣе этотъ талантъ, если онъ въ сухую, повидимому, форму сумѣлъ вложить такъ много жизни и поэзіи, что въ первый разъ представилъ образцы народнаго искусства въ словѣ. Названіе *баснописца,* дѣйствительно, не довольно почетно для Крылова. Онъ выше своего рода и доказалъ, что не мѣсто краситъ человѣка, а наоборотъ. Его басня многозначительна, не какъ басня, а какъ созданіе, въ которомъ художественно воплотился умъ и опытная мудрость цѣлаго народа. Какъ ни высоко нравоописательное и нравоучительное значеніе произведеній Крылова, одного этого достоинства было бы недостаточно, чтобъ доставить имъ безсмертіе: для этого къ нему должны присоединиться эстетическая красота и отраженіе народнаго духа. Крыловъ-человѣкъ могъ имѣть, конечно, свои несовершенства въ частной жизни; но *тотъ человѣкъ,* который является въ его басняхъ, есть высокій мудрецъ, исполненный правилъ чести и добродѣтели, гонитель всякой лжи и низости, защитникъ науки и мысли противъ невѣжества и глупости, наконецъ, наставникъ современниковъ и потомства.

Гротъ.

Педагогическое значеніе басенъ Крылова.

Художественныя достоинства басенъ Крылова придаютъ имъ важное значеніе и въ педагогическомъ отношеніи. Какъ образцовыя въ своемъ родѣ произведенія поэзіи, его басни преимущественно полезны по своему образовательному вліянію на дѣтей. Въ его баснѣ, исполненной жизни и драматизма, дитя начинаетъ знакомиться съ чело-

вѣческою жизнію, съ ея доблестями и немощами, и развиваетъ въ себѣ живой смыслъ и живое слово. Но мы не можемъ не коснуться еще двухъ сторонъ въ благотворномъ вліяніи басни, отличающейся такими совершенствами, какъ басни Крылова; одна изъ нихъ теоретическая, другая — практическая.

Изображая въ иносказаніяхъ человѣческій міръ, басня начинаетъ возбуждать въ человѣкѣ ту ему одному только свойственную производительную дѣятельность воображенія, въ которой выражается общее стремленіе человѣка къ непрерывному обновленію и совершенствованію своей дѣйствительности. Въ баснѣ — узелъ, связующій забаву съ серіозными созданіями мысли и представленія, и потому самая эта забава представленіями уже заключаетъ въ себѣ глубокій и серіозный смыслъ. Низшія животныя знаютъ только забаву тѣлодвиженій, но не представленій; одинъ человѣкъ, съ первыхъ дней младенческаго сознанія, начинаетъ любоваться созданіями представленія и гармоніею въ ихъ сочетаніяхъ. Въ этомъ наслажденіи первый проблескъ будущихъ идеаловъ, непрерывно движущихъ и совершенствующихъ и внутреннюю и внѣшнюю жизнь человѣка.

Не менѣе важно и практическое или нравственное значеніе образцовой басни. Таково свойство нашей психической жизни, что общее правило или нравственное требованіе, особенно на первыхъ порахъ, скорѣе получаетъ въ насъ дѣятельную силу подъ вліяніемъ мысли, перешедшей въ дѣло, или представленной въ самомъ фактѣ и дѣлѣ. Даже мышцы своего слова дитя складываетъ для разговора не потому, что оно узнаетъ сперва правила, какъ ихъ складывать, но потому, что внутренній инстинктъ слова, съ соотвѣтственнымъ ему движеніемъ мышцъ, самъ собою пробуждается при видѣ бесѣдующихъ съ нимъ людей. Только позже, на степени высшей душевной зрѣлости, и отвлеченно-сознанная мысль удобно переходитъ въ дѣло и преобразуетъ самую жизнь. Басня, какъ и многія другія художественныя произведенія слова, изображая людскіе недостатки въ непосредственномъ единствѣ ихъ съ фактомъ, не ограничивается сообщеніемъ одному отвлеченному знанію, или памятованію правилъ жизни, но непосредственно возбуждаетъ въ дитяти и знаніе правилъ и соотвѣтственное имъ настроеніе сердца и воли: дитя разомъ научается какъ понимать, такъ и чувствовать и выражать въ своемъ настроеніи и внутреннюю силу добра и отрицаніе зла. Такъ дѣйствуетъ басня на дѣтей; такъ дѣйствуетъ она и на народъ, близкій, по степени умственнаго развитія, къ дѣтскому возрасту. Въ баснѣ онъ видитъ мелкіе образцы своего ума и слова, и, пользуясь ими, незамѣтно совершенствуетъ и свой смыслъ и свое слово.

Басни Крылова тѣмъ удобопримѣнимѣе къ первоначальному обученію, что содержаніе ихъ всегда просто и доступно пониманію дѣтей. Быть можетъ, оно ограничивается иногда только общими нравственными истинами, не имѣющими близкаго отношенія къ народной жизни; иной разъ его басни не чужды и остатковъ давняго класси-

цизма, каковы, напр., миѳологическія названія Юпитера, Плутона, Парнасса; но такихъ, не гармонирующихъ съ назначеніемъ басни, особенностей въ басняхъ Крылова мало, и, въ общей сложности, его произведенія въ этомъ родѣ поэзіи навсегда останутся памятникомъ рѣдкаго совершенства.

И вотъ почему преимущественно Крылова басни всегда имѣли и долго, долго еще будутъ имѣть не только высоко-художественное, но и педагогическое значеніе, и долго еще цѣлыя поколѣнія будутъ чтить въ памяти Крылова своего общаго учителя.

И всѣ мы можемъ назвать его нашимъ общимъ учителемъ и наставникомъ; потому что воспоминанія нашего дѣтства, нашего первоначальнаго образованія, неразрывны съ памятью Крылова. То, что выработала его душа, что выработала его мысль, стало общимъ нашимъ достояніемъ, — и, соединяя съ памятью о Крыловѣ, какъ знаменитомъ дѣятелѣ русскаго слова, памятованіе о немъ, какъ наставникѣ нѣсколькихъ поколѣній, мы только исполняемъ нашъ нравственный долгъ. Въ произведеніяхъ знаменитыхъ дѣятелей русскаго ума и слова заключаются и руководительныя начала народной жизни, и тѣ невидимыя нити, которыми связуются въ одинъ нравственный міръ и ученики и учители, и школа и жизнь, и прежнія и грядущія поколѣнія.

Гоголь.

Художественное значеніе басенъ Крылова.

Басня, какъ и всякое художественное произведеніе, тѣмъ выше, чѣмъ неразрывнѣе и естественнѣе помыслъ соединенъ съ избранною въ ней образною формою, съ олицетвореннымъ предметомъ, который избирается баснописцемъ изъ окружающаго насъ міра. Чѣмъ задушевнѣе высказывается въ нихъ его мысль и, не нуждаясь въ какихъ-нибудь особенныхъ толкованіяхъ, непосредственно возбуждаетъ въ дѣтской натурѣ соотвѣтственное чувство и настроеніе, тѣмъ выше достоинство басни. По внутренней связи содержанія и образной формы басня уже несравненно выше, нежели символъ и аллегорія, хотя подобно имъ, еще не относится къ высшимъ художественнымъ произведеніямъ. Но и въ этомъ отношеніи басни Крылова, если не всѣ, то, по крайней мѣрѣ, весьма многія, такъ совершенны, что могутъ сравниться съ лучшими въ этомъ родѣ произведеніями всѣхъ временъ и народовъ и далеко превосходятъ басни даже лучшихъ изъ прежнихъ нашихъ баснописцевъ — Хемницера и Дмитріева. У Хемницера есть простота изложенія, иногда и остроуміе, но зато случается растянутость и нѣкоторая доля разсужденія, понятная не представленію въ самомъ образѣ, но внѣ образа — разсудку; у Дмитріева — преобладаетъ нѣкоторая обработанность, какъ въ ходѣ всего дѣйствія въ баснѣ, такъ и въ языкѣ. Въ общемъ выводѣ, помыслъ басни далеко не всегда отливается у нихъ въ такихъ живыхъ оттѣнкахъ образа, которыхъ требовали бы аналогическіе типы народной душевной жизни. Басни

Крылова безспорно выше по своему художественному совершенству; въ нихъ мысль, большею частію, до мельчайшихъ индивидуальныхъ изгибовъ выражается въ образахъ, и образы ничего не оставляютъ внѣ себя для отвлеченія или для отдѣльнаго пониманія. Типическіе образы въ басняхъ Крылова, большею частію, какъ нельзя лучше соотвѣтствуютъ и ихъ дѣйствительной натурѣ и народному о нихъ представленію; ихъ положеніе, тонъ, взаимное отношеніе отличаются рѣдкою непринужденностію, и, что также очень важно, самая рѣчь отличается у него тѣми живыми оборотами народной рѣчи, въ которыхъ немногими словами, какъ нѣсколькими ударами кисти, каждое дѣйствующее лицо и каждый моментъ его дѣйствія выражены въ самомъ типическомъ ихъ рельефѣ. Басня, въ сравненіи съ высшими художественными произведеніями, вообще страдаетъ еще нѣкоторою отдѣльностію содержанія отъ конкретной формы; потому что не въ вещахъ, не въ растеніяхъ и животныхъ, но только въ движеніяхъ человѣческаго тѣла и слова можетъ выразиться человѣческая душа; но въ борьбѣ съ этимъ-то препятствіемъ и виденъ талантъ Крылова. Во многихъ его басняхъ до такой степени естественны роли выводимыхъ имъ на сцену животныхъ, что читающій или слушающій живое чтеніе его басенъ, весь переносится въ этотъ міръ вымысла и любуется имъ, какъ живою дѣйствительностію. Таковы, напримѣръ, роли въ его басняхъ медвѣдя, волка, осла, лисицы, обезьяны и т. д.

Художественное достоинство басни зависитъ и оттого, въ какой связи съ нею поставленъ нравоучительный выводъ, если онъ сдѣланъ. Высшее художественное произведеніе не выражаетъ какой-либо отдѣльной отъ себя цѣли; оно вразумляетъ не выступающими изъ цѣльной его сферы правилами, но самыми образами возсозданной имъ жизни. Между тѣмъ, басня нерѣдко прибавляетъ въ началѣ или въ концѣ свою мысль или правило, отдѣльно отъ своего конкретнаго, образнаго содержанія. Въ способѣ этого приложенія или вывода нравоученія заключается пробный камень для таланта баснописца. Часто и въ лучшихъ басняхъ выводы отличаются дидактическимъ характеромъ и какою-то, по самому тону, отдѣльностію отъ цѣльнаго ихъ состава; у Крылова же самые выводы, своею непринужденностію и остроуміемъ, нерѣдко даже не даютъ замѣтить, что мы уже вышли изъ художественной сферы басни, а иногда, какъ бы снова, съ новою силою, сосредоточиваютъ въ себѣ, въ нѣсколькихъ словахъ, весь комизмъ, всю иронію, разлитые въ баснѣ. Что можетъ быть, напримѣръ, непринужденнѣе дидактическихъ заключеній въ басняхъ — о вельможѣ, или о гусяхъ, или о собакахъ, подравшихся изъ-за кости? Лучшимъ доказательствомъ неподражемой мѣткости, съ которою индивидуализируются у Крылова общая мысль въ типахъ его басенъ, можетъ быть, какъ мы сказали, не одинъ научный анализъ, но и то задушевное наслажденіе, которое чувствуютъ и выражаютъ дѣти. Такова, напримѣръ, басня *Квартетъ* или бесѣда сытой лисы, подъ стогомъ сѣна, съ голоднымъ волкомъ. Нѣкоторыя басни Крылова содержатъ въ себѣ какъ бы маленькія

комедіи, въ которыхъ наглядно, какъ бы предъ очами дѣтей, совершается комическое самоуничтоженіе людскихъ недостатковъ съ его результатомъ и отзвукомъ въ дѣтскомъ смѣхѣ.

Гоголкій.

Родъ произведеній, преимущественно усвоенный себѣ Крыловымъ, не предполагаетъ, повидимому, необходимыхъ условій художественнаго творчества. Не напрасно басню, какъ иносказательное изображеніе извѣстной нравственной истины, относили къ дидактикѣ. И дѣйствительно, по первоначальному своему значенію, она является въ качествѣ особенной діалектической стратагемы, которую авторъ употребляетъ, когда стремится напечатлѣть въ умахъ, какъ бы нехотя, безъ намѣренія, мимоходомъ, такъ сказать, какой-нибудь урокъ житейской мудрости или мысль, почерпнутую изъ наблюденій общественнаго быта. Поучать ироніей, символомъ, притчею, иносказаніемъ всегда и у всѣхъ народовъ было однимъ изъ общеупотребительныхъ пріемовъ, свойственныхъ духу человѣческому, когда онъ, посреди всяческихъ волнующихъ его недоумѣній, не стремится воззрѣній своихъ обратить въ строгій догматъ, а только въ разнообразной игрѣ жизни ищетъ указаній на высшія ея задачи. Но мысль о художественномъ творчествѣ не входила въ понятіе объ изображеніи, гдѣ должно угадывать какую-либо цѣль внѣ самаго изображенія, гдѣ оно не въ самомъ себѣ носитъ свою убѣждающую или изъяснительную силу, а въ аналогическомъ приспособленіи къ чему-то другому, стороннему. Въ новѣйшія времена Лафонтенъ первый возвысилъ басню, независимо отъ ея аллегорическаго характера, до высокаго художественнаго значенія. И мы, по всей справедливости, въ твореніяхъ Крылова можемъ представить другой самобытный образецъ подобнаго превращенія иносказательнаго изображенія въ поэму. Мудрость жизни ищетъ союза съ красотою, такъ же какъ искусство, съ своей стороны, нимало не теряя своей свободы, въ откровеніяхъ мудрости почерпаетъ долю богатствъ для усиленія своего благотворнаго вліянія на людей. Не даромъ Платонъ совѣтовалъ суровому учителю Киносарга приносить жертву граціямъ. Онъ хотѣлъ этимъ сказать, что ученіе, имѣющее въ виду дѣлать людей лучшими, наиболѣе достигаетъ своей цѣли, когда, съ сознаніемъ истины, оно пробуждаетъ въ нихъ чувство прекраснаго.

Такимъ образомъ поэтическое развитіе по праву принадлежитъ иносказанію въ баснѣ. Мы очень хорошо знаемъ, что, изображая предметы неодушевленные и существа несмыслящія съ ихъ природными свойствами и надѣляя ихъ въ то же время атрибутами человѣческими, баснописецъ имѣетъ въ виду что-то другое, а не ихъ самыхъ. Искусно развивая нить поэтическаго о нихъ сказанія, онъ постоянно даетъ намъ чувствовать аналогію между вымысломъ и дѣйствительностью. И въ этомъ сближеніи, въ этой чудной игрѣ противоположностей, онъ, однако, какъ бы случайно и ненамѣренно, рисуетъ картины, глубоко дѣйствующія на наше эстетическое чувство. Отсюда возникаетъ уже поэзія басни,

которая сама въ себѣ носитъ увлекательную прелесть, сдружая насъ съ природою, влагая, такъ сказать, въ ея созданія сердце и языкъ, чтобъ чувствовать съ нами заодно, говорить намъ внятно; все твореніе, такимъ образомъ, проникается однимъ духомъ жизни, повсюду напоминающимъ намъ объ общемъ родственномъ происхожденіи отъ одного всемогущаго Жизнедавца. И когда, наконецъ, поэма басни разрѣшается важною мыслію или нравственною истиной, мы поражены ими, какъ внезапнымъ свѣтлымъ озареніемъ, которое тѣмъ глубже проникаетъ въ нашу душу, чѣмъ менѣе мы были въ правѣ подозрѣвать автора въ доктринерствѣ, въ намѣреніи сдѣлаться нашимъ учителемъ и располагать нашими убѣжденіями. Баснописецъ принесъ обильную жертву граціямъ. Онъ далъ намъ уроки, какъ мудрецъ, и какъ поэтъ провелъ ихъ въ наше сердце. Онъ доставилъ торжество идеѣ или истинѣ, какое доставляется ей только соединеніемъ всѣхъ силъ, дѣйствующихъ въ пользу ея, на человѣка.

Всѣ эти мысли вытекаютъ не изъ теоріи, — основаніе ихъ лежитъ въ изученіи произведеній нашего великаго баснописца. Взглянемъ же на тѣ силы, какими осуществлялъ онъ свою задачу.

Первое, что представляется намъ въ его басняхъ, самое высокое качество въ нихъ — это умъ. Получивъ въ даръ отъ природы необыкновенный умъ, онъ какъ бы вторично принялъ его изъ богатой сокровищницы народныхъ умственныхъ силъ и сталъ народнымъ писателемъ не потому уже, что того хотѣлъ, а потому, что не хотѣть этого не могъ. Равнодушный ко всѣмъ выспреннимъ утопическимъ и оптимистическимъ міровоззрѣніямъ, тонкій наблюдатель жизни и знатокъ человѣческаго сердца, аналитикъ и немножко скептикъ въ житейской практикѣ, онъ естественно былъ расположенъ къ ироніи; но и ее обнаруживалъ онъ въ народномъ смыслѣ и тонѣ. Эта спокойная, лукавая и вмѣстѣ добродушная иронія, въ которой сквозь незнаніе, ею высказываемое, и отстраненіе себя отъ вопроса свѣтятся, какъ бы вскользь, глубокое и вѣрное пониманіе настоящаго хода вещей и готовность вопросъ разрѣшить по-своему — это иронія, повсюду разлитая въ басняхъ Крылова, есть одно изъ самыхъ коренныхъ и глубокихъ свойствъ нашей народности. Иронія является и у другихъ писателей-баснописцевъ со свойственнымъ ей сатирическимъ направленіемъ. Но въ томъ-то и состоитъ геніальная черта нашего баснописца, что его иронія вылилась въ форму народнаго духа, получила отъ него особенную физіогномію, колоритъ, что ея нельзя не примѣнить нигдѣ и ни къ чему, какъ только посреди насъ и къ намъ. Не будь приправлена она свойственнымъ нашему національному характеру добродушіемъ, она могла бы принять видъ болѣе серіозный и даже мрачный. У нашего баснописца этого нѣтъ, потому что если серіозность въ извѣстной степени намъ свойственна, то мрачность уже никакъ къ намъ нейдетъ. Заунывность нашихъ пѣсенъ ничего не доказываетъ; она есть выраженіе историческихъ моментовъ и положеній, а не природы нашей. Мы — народъ жизни и движенія, и если

мы иногда унываемъ, то ненадолго и не съ тѣмъ, чтобы погрузиться въ плаксивое бездѣйствіе, которымъ обыкновенно сопровождается уныніе. Съ нашей грустною думой мы не менѣе того способны и готовы дать смѣлый и рѣшительный отпоръ всякой бѣдѣ, откуда бы она намъ ни угрожала. Враги наши думали иногда иначе — но они ошибались.

Нѣтъ никакой надобности приводить въ свидѣтельство сказаннаго здѣсь мѣста изъ самыхъ басенъ, отзывающіяся народностію. Тутъ дѣло не въ частностяхъ, не въ отрывкахъ, не въ языкѣ даже, а въ направленіи, въ тонѣ каждой поэмы, въ цѣлости взятой, и всѣхъ ихъ вмѣстѣ съ первой до послѣдней. Тутъ Русь, тутъ Русью пахнетъ повсюду — въ главныхъ мотивахъ, на которые мѣтитъ авторъ, въ изобрѣтеніи содержанія, въ манерѣ повѣствованія, въ рѣчахъ лицъ повѣствуемыхъ. Что многія выраженія изъ басенъ могли сдѣлаться народными пословицами, это само собою разумѣется. Но всего удивительнѣе то, что всѣ эти лисицы, волки, медвѣди, быки, сурки, тигры, львы, гуси, даже голуби, прилетѣвшіе изъ чужой стороны, какъ будто родились и выросли на поляхъ и въ лѣсахъ нашихъ; они охотно сбѣжались, слетѣлись на зовъ волшебника-поэта, чтобы вмѣстѣ служить ему орудіемъ для изображенія важныхъ истинъ въ нашихъ нравахъ и общественности.

Я сейчасъ говорилъ объ ироніи, это — господствующій тонъ басенъ Крылова. Я позволяю себѣ остановиться еще на минуту на этомъ характеристическомъ качествѣ его ума. Нельзя не восхищаться ея прелестію, несмотря на то, что она колется порядочно. Въ самомъ дѣлѣ, сколько остроумія въ вымыслѣ, въ содержаніи, которыми выражается она, въ характеристикѣ дѣйствующихъ лицъ и положеніяхъ ихъ! Какая простодушная веселость въ изображеніи нравовъ, обычаевъ, всѣхъ странностей звѣринаго и птичьяго міра. Какъ смѣшонъ, напр., хоть бы этотъ слонъ, мечтающій, что онъ поступилъ очень справедливо, позволивъ волкамъ сдирать кожу съ овецъ, но не трогать ихъ волоскомъ, или сколько комизма во всей этой исторіи, какимъ образомъ медвѣдь попалъ, по звѣриному выбору, въ надсмотрщики надъ ульями съ медомъ, и что изъ этого произошло. Извѣстно, что медвѣдь натаскалъ весь медъ въ свою берлогу; его отдали подъ судъ, отрѣшили отъ должности и приговорили, какъ знатнаго звѣря, пролежать зиму въ берлогѣ.

Но меду все не воротили.
А Мишенька и ухомъ не ведетъ.
Со свѣтомъ Мишка распрощался,
Въ берлогу темную забрался
И лапу съ медомъ тамъ сосетъ
Да у моря погоды ждетъ.

Крестьяне, претерпѣвъ великое разореніе отъ ручьевъ и рѣчекъ, разыгравшихся во время полноводья, пошли жаловаться на нихъ рѣкѣ, въ которую эти ручьи и рѣчки впадали. Рѣка была почтенная, текла

величаво и тихо. Но, пришедши къ ней, просители увидѣли, что все ихъ добро, захваченное ихъ разорителями, по ней же плыветъ.

Тутъ попусту не заводя хлопотъ,
Крестьяне лишь его глазами проводили,
Потомъ взглянулись межъ собой
И, покачавши головой,
Пошли домой,
А уходя проговорили:
На что̀ и время тратить намъ:
На младшихъ не найдешь себѣ управы тамъ,
Гдѣ дѣлятся они со старшимъ пополамъ.

Мужикъ поручилъ ослу на лѣто охранять его огородъ отъ воронъ и воробьевъ. Оселъ былъ честныхъ правилъ, но за дѣло взялся по-ослиному. Онъ,

Гоняя птицъ со всѣхъ ослиныхъ ногъ
По всѣмъ грядамъ и вдоль и поперекъ,
Такую поднялъ скачку,
Что въ огородѣ все примялъ и притопталъ.

Волкъ искалъ мѣсто овечьяго старосты, и ему сильно покровительствовала лисица. Однако, какъ вообще волки не пользуются хорошей репутаціей, то велѣно было навести о немъ справки, и для этого собранъ былъ звѣриный сходъ. Голоса присутствовавшихъ оказались въ пользу кандидата, и онъ получилъ просимое имъ мѣсто въ овчарнѣ.

Да что же овцы говорили?
На сходкѣ вѣдь онѣ ужъ вѣрно были?
Вотъ то-то нѣтъ! овецъ-то и забыли!
А ихъ-то бы всего нужнѣй спросить.

Иногда баснописецъ оставляетъ звѣрей и содержаніе для своего иносказательнаго разсказа прямо беретъ изъ міра человѣческаго. Такъ, онъ разсказываетъ анекдотъ про одного изъ своихъ пріятелей, который въ присутствіи его брился и терпѣлъ отъ того несказанныя мученія. На замѣчаніе автора, что онъ оттого такъ страдаетъ, что у него бритвы тупы, чудакъ овѣчалъ:

Охъ, братецъ, признаюсь,
Что бритвы очень тупы!
. . . . . .
Да острыми-то я порѣзаться боюсь!
— А я, мой другъ, тебя увѣрить смѣю

(отвѣтилъ ему авторъ),

Что бритвою тупой изрѣжешься скорѣй,
А острою обреешься вѣрнѣй:
Умѣй владѣть лишь ею.

Священникъ въ церкви произнесъ удивительную проповѣдь, которая всѣхъ присутствовавшихъ восхитила и растрогала до глубины сердца; всѣ почти плакали. Оказался, однако, и такой, который

обнаружилъ полнѣйшее равнодушіе. Одинъ изъ слушателей обратился къ нему съ упрекомъ, говоря:

„А у тебя, сосѣдъ, знать, черствая природа,
Что на тебѣ слезинки не видать?
Иль ты не понималъ?“ — „Ну какъ не понимать!
Да плакать мнѣ какая стать!
Вѣдь я не здѣшняго прихода“.

Вы чувствуете, что, изъ-за всѣхъ этихъ искусныхъ прикрытій иносказанія, авторъ бросаетъ стрѣлы свои не куда попало, а туда, гдѣ нужнѣе и общеполезнѣе ихъ уязвляющая сила. Извѣстно, что большая часть басенъ написана Крыловымъ по какому-нибудь поводу или случаю, происшедшему въ современномъ ему обществѣ. Далеко не всѣ эти случаи намъ извѣстны; конечно, любопытно было бы знать ихъ въ біографическомъ интересѣ и въ интересѣ исторіи нравовъ вообще. Но это рѣшительно не прибавило бы никакой цѣны самымъ произведеніямъ. Въ нихъ нѣчто болѣе, нежели намеки на что-либо или кого-либо, и не бѣда, если они и будутъ забыты. Но не забудутся глубокій всенародный или всечеловѣческій смыслъ и идеи, высказанныя въ твореніяхъ геніальнаго писателя.

Таковъ умъ Крылова въ его басняхъ, но вѣдь это только умъ — гдѣ же поэзія, гдѣ художественность? могутъ спросить у меня. Конечно, надобно, чтобы басни эти были изящны и художественны — ибо никакой умъ, ни самая даже народность не могли бы безъ этого возбудить въ сердцахъ такую всеобщую любовь къ нимъ. Любовь только тамъ, гдѣ красота. Таковъ ужъ человѣкъ. Бываютъ исключенія, но они рѣдки. Въ Крыловѣ выразился тотъ непреложный законъ человѣческой природы, по которому высшій умъ, несмотря даже на положительность своего направленія, чѣмъ возвышеннѣе, тѣмъ ближе къ поэзіи, и это, безъ сомнѣнія, потому, что и поэзія есть дѣло умное. Конечно, не всякій, одаренный высшимъ умомъ, способенъ спеціально сдѣлаться поэтомъ — для того нужны еще сила творчества, геній. Ими-то природа богато одарила Крылова въ дополненіе къ уму. Смотря на цѣли, какія онъ имѣлъ въ виду въ своихъ басняхъ, можно было бы опасаться, что мы увидимъ въ немъ сухого холоднаго моралиста, — этого, какъ извѣстно, не случилось. Такимъ моралистомъ онъ не могъ быть уже потому, что вообще, по свойственной ему ироніи, не очень довѣрялъ возможности водворять мораль между людьми поученіями, а болѣе полагался въ томъ на силу вещей и силу впечатлѣнія, которая не только дѣлаетъ истину извѣстною, но и покоряетъ ей сердца. Въ немъ была какая-то двойственность — и то, что дѣлало его поучительнымъ, и то, что оставляя въ сторонѣ поучительность, дѣлало его просто привлекательнымъ и милымъ. Моралистъ въ басняхъ спрятался за прекрасными созданными имъ поэтическими образами, мало, кажется, думая о томъ, что отъ нихъ произойдетъ. Здѣсь онъ поэтъ и, повидимому, только поэтъ, въ особенной формѣ. Онъ любитъ природу — и природа раскрыла

передъ нимъ міръ своихъ роскошныхъ созданій съ разнообразными оттѣнками ихъ типическихъ свойствъ. Онъ занятъ только этими созданіями. Онъ любуется ими, простосердечно играетъ съ ними, наблюдая въ то же время ихъ нравы и привычки, не какъ натуралистъ, а какъ членъ ихъ обширнаго семейства. Живыя силы природы имѣютъ неизъяснимую прелесть для поэта; они составляютъ для него неизсякаемый источникъ воодушевленія и поэтическихъ созерцаній. Смотря на Крылова съ этой точки зрѣнія, о немъ можно сказать словами одного изъ извѣстныхъ нашихъ поэтовъ:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ
И чувствовалъ травъ прозябанье.

Погруженный весь въ свой особенный міръ, онъ, повидимому, не заботится о людяхъ и обращается къ нимъ только тогда, когда нужно у нихъ позаимствовать что-нибудь изъ ихъ свойствъ и быта, чтобъ надѣлить ими любимыя имъ существа. Въ этомъ странномъ мірѣ господствуетъ своя судьба, совершаются свои эпическія дѣйствія, разыгрываются свои драмы, серіозныя и комическія, съ ихъ характерами и героями. И все это поэтъ передаетъ намъ съ такою прагматическою достовѣрностію, какъ бы тутъ не было ничего несбыточнаго и чрезвычайнаго. Читатель не успѣваетъ опомниться отъ обаянія этихъ волшебныхъ видѣній; онъ подозрѣваетъ, конечно, тутъ хитрый умыселъ вызвавшаго ихъ чародѣя, который не можетъ же по совѣсти считать и самъ всю эту чудесную фантасмагорію мысляцихъ и говорящихъ птицъ, звѣрей, деревьевъ за нѣчто серіозное и дѣйствительное; вы чувствуете, что онъ мѣтитъ на что-то иное и приведетъ васъ непремѣнно къ результату съ другимъ смысломъ и значеніемъ. Однакоже и безъ этого, какъ хороши сами по себѣ эти миніатюрныя, полныя жизни и выразительности изображенія! Какъ отъ нихъ вѣетъ свѣжестію той первобытной силы, какая оживотворяетъ все сотворенное! И какъ въ то же время искусно всѣ эти звѣри, звѣрки, птицы, даже цвѣты и деревья разыгрываютъ роль человѣка! Точно какъ будто бы имъ ничего другого и не приходилось дѣлать, какъ разыгрывать эту роль. Правда, они не всегда отличаются добрыми нравами и большею частію упражняются въ плутовствѣ и обманахъ; но это уже они дѣлаютъ сами отъ себя, не сносясь съ человѣческими обычаями. Такова ихъ собственная натура. Вѣдь авторъ это и хочетъ выразить, не вдаваясь пока ни въ какіе выводы. Смотрите, съ какимъ невинно-лицемѣрнымъ видомъ эта благоприличная, граціозная плутовка-лисица оправдывается передъ крестьяниномъ, когда тотъ упрекаетъ ее въ страсти красть куръ и представляетъ ей всѣ невыгоды ея хищнической жизни.

Меня такъ все въ ней столько огорчаетъ,
Что даже мнѣ и пища не вкусна.
Когда бъ ты зналъ, какъ я въ душѣ честна!

Да что же дѣлать? нужда, дѣти;
Притомъ же иногда, голубчикъ-кумъ,
И то приходитъ въ умъ,
Что я ли воровствомъ одна живу на свѣтѣ?
Хоть этотъ промыселъ мнѣ точно острый ножъ.

Или та же лисица, съ пушкомъ на рыльцѣ, отвѣчаетъ сурку, на его вопросъ, куда она бѣжитъ такъ безъ оглядки:

Охъ, мой голубчикъ-куманекъ!
Терплю напраслину и выгнана за взятки.
Ты знаешь, я была въ курятникѣ судьей.
Утратила въ дѣлахъ здоровье и покой,
Въ трудахъ куска не доѣдала,
Ночей не досыпала:
И я жъ за то подъ гнѣвъ подпала.
А все по клеветамъ. Ну, самъ подумай ты:
Кто жъ будетъ въ мірѣ правъ, коль слушать клеветы.
Мнѣ взятки брать? да развѣ я взбѣшуся?

Волкъ, преслѣдуемый всѣмъ міромъ за его хищничество, задумалъ удалиться въ страну, гдѣ, по его мнѣнію, ему не будетъ такъ худо — въ Аркадію и, прощаясь съ кукушкою, жалуется на оказываемыя ему несправедливости:

Напрасно я себя покоемъ здѣсь манилъ!
Всѣ тѣ жъ у васъ и люди и собаки!
Одинъ другого злѣй, и ты хоть ангелъ будь,
Такъ не минуешь съ ними драки.

Потомъ въ идиллическомъ восторгѣ онъ описываетъ благодатный край — будущее свое убѣжище:

Сосѣдка! точно сторона!
Тамъ, говорятъ, не знаютъ, что война;
Какъ агнцы кротки человѣки,
И молокомъ текутъ тамъ рѣки.
Ну, словомъ, царствуютъ златыя времена!
Какъ братья, всѣ другъ съ другомъ поступаютъ,
И даже, говорятъ, собаки тамъ не лаютъ,
Не только не кусаютъ.

Кукушка ему дѣлаетъ ироническій вопросъ:

А свой ты нравъ и зубы
Здѣсь кинешь, иль возьмешь съ собой?

И на отрицательный отвѣтъ его замѣчаетъ:

Такъ вспомни же меня, что быть тебѣ безъ шубы.

Не могу удержаться, чтобъ не привести еще прелестной поэтической картины изъ басни, гдѣ разсказывается, какъ кроткій, тихій ручеекъ, сдѣлавшійся отъ дождя большимъ потокомъ, не вынесъ своего величія, загордился и забушевалъ. Пастухъ потерялъ ягненка, ко-

торый утонулъ въ рѣкѣ. Свидѣтель этого печальнаго событія, ручей, вотъ какъ упрекаетъ виновницу его горя:

Рѣка несытая! что̀ если бъ дно твое
Такъ было, какъ мое
Для всѣхъ и ясно и открыто,
И всякій видѣлъ бы на тинистомъ семъ днѣ
Всѣ жертвы, кои ты столь алчно поглотила,
Я чай, ты со стыда бы землю сквозь прорыла
И въ темныхъ пропастяхъ себя сокрыла.
Мнѣ кажется, когда бы мнѣ
Дала судьба обильныя столь воды,
Я, украшеньемъ ставъ природы,
Не сдѣлалъ курицѣ бы зла.
Какъ осторожно бы вода моя текла
И мимо хижины и каждаго кусточка!
Благословляли бы меня лишь берега,
И я бы освѣжалъ долины и луга,
Но съ нихъ бы не унесъ листочка.
Ну, словомъ, дѣлая путемъ моимъ добро,
Не приключа нигдѣ ни бѣдъ ни горя,
Вода моя до самаго бы моря
Такъ докатилася чиста, какъ серебро.

Но вотъ:

Туча ливнемъ надъ ближнею горой
Разсѣлась;
Богатствомъ водъ ручей сравнялся вдругъ съ рѣкой;
Но ахъ! Куда въ ручьѣ смиренность дѣлась?
Ручей изъ береговъ бьетъ мутною волной,
Кипитъ, реветъ, крутитъ нечисту пѣну въ клубы,
Столѣтніе валятся дубы,
Лишь трески слышны вдалекѣ;
И самый тотъ пастухъ, за коего рѣкѣ
Пенялъ недавно онъ такимъ кудрявымъ складомъ,
Погибъ со всѣмъ своимъ въ немъ стадомъ,
А хижины его пропали и слѣды.

Но говоря о богатствѣ, разнообразіи и живости о́бразовъ въ поэмахъ нашего неподражаемаго баснописца, о его творческой силѣ, я еще ничего не сказалъ о томъ, въ какой степени является въ этихъ поэмахъ организующій, распорядительный, вполнѣ художественный геній. Строгая соразмѣрность въ частяхъ каждой поэмы — вотъ что прежде всего представится вамъ, когда вникните въ составъ ея. Характеры, дѣйствія, описанія — все здѣсь опредѣляется значеніемъ основной идеи, и каждый изъ этихъ элементовъ участвуетъ въ общемъ развитіи цѣлаго, не болѣе, какъ сколько нужно. Здѣсь нѣтъ ничего случайнаго, такъ же какъ и ничего съ усиліемъ придуманнаго. Крыловъ въ высшей степени одаренъ былъ тѣмъ, что̀ можно назвать силою художественнаго самообладанія — качествомъ чрезвычайно рѣдкимъ, но и весьма важнымъ, особенно въ писателѣ; при легкости орудія, которое ему дано, — слова, качество это служитъ ручательствомъ, что онъ ничего не скажетъ, о чемъ впослѣдствіи будетъ

сожалѣть самъ или его читатели. Крыловъ могъ дать отчетъ передъ обществомъ, передъ разумомъ и критикой въ каждомъ образѣ имъ созданномъ, въ каждой мысли, въ каждомъ словѣ. Это родъ доблести эстетической, такъ какъ самообладаніе нравственное составляетъ доблесть воли. Какъ послѣдняя принадлежитъ характерамъ великимъ, такъ первая писателямъ, образцы коихъ особенно завѣщала намъ классическая древность. Обращаясь къ другимъ отличіямъ въ общемъ характерѣ поэмъ Крылова, я уже не говорю объ объективности его изображеній: она составляетъ необходимую принадлежность всякаго истинно художественнаго творчества. Гдѣ нѣтъ ея, тамъ могутъ быть идеи, покушенія реализировать ихъ, можетъ быть какъ бы призывъ къ дѣлу, но самое дѣло оказывается не состоявшимся. Объективность и есть настоящее созданіе; что не объективно, то для насъ исчезаетъ безразлично въ безконечномъ круговоротѣ представленій. Чувство отражается въ предметѣ, его возбудившемъ, и потому самая лирика имѣетъ свою объективность, безъ чего она превращается въ одни неопредѣленные, хотя гармоническіе звуки: здѣсь она лучше сдѣлаетъ, если уступитъ права свои музыкѣ. Та же гармонія и та же мудрая сдержанность, которую мы сейчасъ видѣли у Крылова въ развитіи цѣлаго, простираются и на каждую частность въ его поэмахъ въ особенности. И здѣсь у него нѣтъ изображенія, которое бы не было довершено вполнѣ такъ, какъ это нужно для цѣли и идеи автора, которое бы нуждалось въ поясненіи, изъ котораго бы можно было сдѣлать малѣйшее исключеніе, не уничтожая всей прелести сказаннаго. Все необходимое тутъ прекрасно, и все прекрасное необходимо. Замѣтить, чтобы онъ чего-нибудь не договорилъ или сказалъ что-нибудь лишнее, невпопадъ, что-нибудь ослабилъ или усилилъ вопреки своей задачѣ и потребности, есть чистая невозможность. Его можно было бы развѣ упрекнуть въ одномъ — въ тѣхъ прибавленіяхъ, которыми онъ, по обычаю баснописцевъ, выражаетъ такъ называемую мораль басни. Мораль эта, если можно дать ей это имя, такъ ясно просвѣчиваетъ въ каждомъ изъ его иносказаній, что всякое изъясненіе оказывается излишнимъ. Притомъ и самый смыслъ каждой изъ басенъ гораздо глубже захватываетъ область мыслей и сердца, гораздо обширнѣе того, что можно выразить въ краткой сентенціи. Но мы скажемъ его же словами:

Ужъ коль терпѣть, такъ лучше отъ богатства.

Всѣ эти добавленія до того остроумны, исполнены такихъ глубокихъ истинъ и такъ прекрасно изложены, что, отдѣливъ ихъ, изъ нихъ однихъ можно составить антологію, которая бы послужила украшеніемъ любой литературы.

Удивительная способность собирать себя, сосредоточиваться въ одной мысли или намѣреніи, при необыкновенной раздѣльности и ясности понятій, давала автору возможность группировать и выражать всѣ частности въ самыхъ сжатыхъ и немногихъ чертахъ, а тонкое знаніе языка во всѣхъ его видоизмѣненіяхъ и формаціяхъ, отъ высшей до

самой низшей, надѣляло его способами придавать этимъ чертамъ такую точность и пластическую видимость, какъ будто онѣ были вырѣзаны на мѣди. Часто одного краткаго оборота рѣчи было для него достаточно, чтобъ нарисовать картину, одного слова, или, такъ сказать, удара его кисти, чтобъ картинѣ этой придать извѣстный оттѣнокъ, колоритъ. А какъ онъ думалъ и выражался по думамъ и сердцу своего народа, то не удивительно, что многіе изъ оборотовъ его рѣчи превращались скоро въ народныя пословицы и поговорки. Кому не извѣстны, кто иногда не прилагалъ къ лицамъ и событіямъ такихъ выраженій, какъ, напримѣръ: *у него пушокъ на рыльцѣ;* или *ларчикъ просто открывался; да чтобъ гусей не раздразнить; а жалъ, что незнакомъ ты съ нашимъ пѣтухомъ; въ комъ нужда, ужъ того мы знаемъ, какъ зовутъ; услужливый дуракъ опаснѣе врага; слона-то я и не примѣтилъ; Васька слушаетъ да ѣстъ; еще тарелочку; а только кинь имъ кость, такъ что твои собаки.*

При такой строгой экономіи въ употребленіи мыслей и языка, при такой бдительной управѣ надъ ними и контролированіи самого себя, какими отличался Крыловъ, надобно было бояться нѣкотораго охлажденія въ самыхъ процессахъ его живописанія, нѣкоторой искусственности въ манерѣ и принужденности; но вы знаете, что ничего подобнаго и тѣни нѣтъ въ басняхъ Крылова. Напротивъ, его постоянно сопровождаютъ обычныя его спокойное одушевленіе, веселость и простота. Во всемъ ходѣ и развитіи каждой изъ его поэмъ вы не видите также ни малѣйшихъ признаковъ какого-нибудь техническаго затрудненія, никакой пріостановки, спайки между частями и т. п. Изложеніе течетъ, движется до того свободно и легко, переходы отъ одного момента или оттѣнка къ другому такъ естественны, что вамъ кажется, будто авторъ всю эту систему событій, лицъ, положеній произвелъ однимъ пріемомъ, однимъ непрерывающимся актомъ своей творческой мысли. *Никитенко.*

Естественность и простота, картинность и музыкальность басенъ Крылова.

Всѣмъ извѣстно, что басни Крылова отличаются такою естественностію и простотою содержанія и формы, что невольно чувствуешь себя увлеченнымъ силою поэтической фантазіи въ этотъ своеобразный міръ животныхъ и насѣкомыхъ, присутствуешь при совершающихся въ этомъ мірѣ событіяхъ, которыя, безъ нашего вѣдома, начинаютъ казаться столь же важными, какъ и самому автору, начинаешь серіозно смотрѣть на эти событія и принимать столь же теплое и живое участіе въ герояхъ этихъ событій. При чтеніи лучшихъ басенъ Крылова и въ голову не приходитъ аллегорія, и нужно сдѣлать нѣкоторое усиліе надъ собою, чтобы освободиться отъ очарованія, произведеннаго фантазіей поэта. Слушая разговоръ двухъ куръ, собакъ, стрекозы и муравья, повара съ котомъ и т. д. вы замѣчаете, что авторъ

серіозно входитъ въ ихъ положеніе, интересы и отношенія разговаривающихъ. Въ этомъ заключается лучшее достоинство басенъ Крылова, сближающее и роднящее ихъ съ ихъ исконнымъ источникомъ того времени, когда не могло быть и рѣчи объ аллегоріи и нравоученіи. Этого достоинства вы не встрѣтите у Дмитріева, и только въ слабой степени у Хемницера и Измайлова; оно зависитъ столько же отъ силы дарованія, сколько и отъ его сущности, его спеціальной организаціи. Эта простота и эта естественность разсказа распространяются на всѣ условія, въ которыхъ въ данную минуту совершается разсказъ. Такая точность и естественность передачи всѣхъ условій разсказа, внѣшнихъ и внутреннихъ, сообщаетъ баснѣ необыкновенную картинность и музыкальность, доходящую до звукоподражанія. Нужно ли изобразить зиму — Крыловъ въ трехъ стихахъ легкими, повидимому, небрежными штрихами геніальнаго художника рисуетъ ея картину:

По снѣгу хрупкому скрипятъ обозы.
Изъ трубъ столбами дымъ, въ оконницахъ стекло
Узорами заволокло. *(Мотъ и Ласточка.)*

Понадобилась для его разсказа буря — и она является въ шести стихахъ съ ея шумомъ и трескомъ, громомъ и молніею:

Борей послушался — летитъ, дохнулъ — и вскорѣ
Насупилось и почернѣло море;
Покрылись тучею тяжелой небеса;
Валы вздымаются и рушатся какъ горы;
Громъ оглушаетъ слухъ; слѣпитъ блескъ молній взоры;
Борей реветъ и рветъ въ лоскутья паруса. *(Пушки и Паруса.)*

Столь же художественно рисуетъ онъ картину бурнаго потока, ниспровергающаго и уносящаго съ собой все, встрѣчающееся ему на пути:

Ручей изъ береговъ бьетъ мутною водой,
Кипитъ, реветъ, крутитъ нечисту пѣну въ клубы,
Столѣтніе валяетъ дубы,
Лишь трески слышны вдалекѣ. *(Ручей.)*

Вотъ тащится въ гору по песку тяжелый рыдванъ — и на самой тяжести и медленности стиховъ, на тяжеловѣсности отдѣльныхъ словъ, не прибранныхъ, а явившихся безъ зова, потому что здѣсь могли быть только они, эти стихи и эти слова, вы чувствуете, такъ сказать, тяжесть колымаги, муку лошадей и палящій зной полуденнаго лѣтняго солнца:

Въ іюлѣ, въ самый зной, въ полуденную пору,
Сыпучими песками, въ гору,
Съ поклажей и съ семьей дворянъ
Четверкою рыдванъ
Тащился. *(Муха и дорожные.)*

И тутъ же передъ вами столь же художественный образъ мухи въ стихахъ легкихъ, летучихъ и суетливыхъ, какъ муха: она жужжитъ во всю мушину мочь:

Вокругъ повозки суетится;
То надъ носомъ юлитъ у коренной,

То лобъ укуситъ пристяжной,
То вмѣсто кучера на козлы вдругъ садится,
Или, оставя лошадей,
И вдоль и поперекъ шныряетъ межъ людей.

А вотъ легкій и граціозный образъ мухи въ другомъ положеніи:

Въ саду, весной, при легкомъ вѣткѣ,
На тонкомъ стебелькѣ
Качалась муха сидя.

Или образъ лягушки, которая завела домокъ „подъ кустикомъ, въ тѣни, межъ травки, какъ раекъ“. А эти неподражаемые стихи, рисующіе старика-крестьянина съ тяжкой ношей дровъ, — стихи тяжелые и медленные, переносящіе въ душу то физическое и нравственное изнуреніе, которое чувствовалъ бѣдный старикъ:

Набравъ валежнику порой холодной зимней,
Старикъ, изсохшій весь отъ нужды и трудовъ,
Тащился медленно къ своей лачужкѣ дымной,
Кряхтя и охая подъ тяжкой ношей дровъ.
Несъ, несъ онъ ихъ и утомился,
Остановился,
На землю съ плечъ спустилъ дрова долой,
Присѣлъ на нихъ, вздохнулъ и думалъ самъ съ собой.

Чтобы нарисовать истинно-поэтическую картину для Крылова часто довольно стиха, много двухъ, и по нимъ вы тотчасъ узнаете его. Вотъ передъ вами медвѣдь „увѣсистый булыжникъ въ лапы сгребъ, присѣлъ на корточки, не переводитъ духу“; или левъ, „когти разминая и озираючи товарищей кругомъ, дѣлежъ располагаетъ“; или ястребъ, спускающійся на бѣднаго голубя, „ужъ холодомъ въ него съ широкихъ крыльевъ пышетъ“; или мужикъ, который „отнесъ полчерепа медвѣдю топоромъ“... И развѣ можно перечислить здѣсь всѣ художественныя описанія, всѣ художественныя картины въ басняхъ Крылова?

Языкъ и стихи въ нихъ, какъ видно и изъ нашихъ примѣровъ, находятся всегда въ полномъ подчиненіи мысли и фантазіи, какъ самыя послушныя ихъ орудія. Высшаго совершенства языкъ достигаетъ тогда, когда присутствіе его совсѣмъ незамѣтно, когда даже достоинства его не обращаютъ на себя вниманія, когда мысль, чувство и образъ воспринимаются непосредственно, въ ихъ чистомъ, духовномъ состояніи, когда самые предметы внѣшней природы являются также непосредственно, со всѣми ихъ качествами и состояніями въ минуту ихъ воспріятія поэтомъ. Языкъ въ басняхъ Крылова именно достигаетъ этого совершенства. Никто съ такою художественностію не опредѣлилъ достоинства этого языка, какъ Гоголь. „Ни одинъ изъ поэтовъ,— говоритъ онъ,— не умѣлъ сдѣлать свою мысль такъ ощутительною и выражаться такъ доступно всѣмъ, какъ Крыловъ. Поэтъ и мудрецъ слились въ немъ воедино. У него живописно все, начиная отъ изображенія природы плѣнительной, грозной и даже грязной,

до передачи малѣйшихъ оттѣнковъ разговора, выдающихъ живьемъ душевныя свойства. Все такъ сказано мѣтко, такъ замѣчено вѣрно и такъ усвоено крѣпко, что даже опредѣлить нельзя, въ чемъ характеръ пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предметъ, какъ бы не имѣя словесной оболочки, выступаетъ самъ собой, натурою, передъ глаза. Стиха его даже не схватишь. Никакъ не опредѣлишь его свойства: звученъ ли онъ? легокъ ли? тяжелъ ли? Звучитъ онъ тамъ, гдѣ предметъ у него звучитъ; движется, гдѣ предметъ движется; крѣпчаетъ, гдѣ крѣпнетъ мысль, и становится вдругъ легкимъ, гдѣ уступаетъ легковѣсной болтовнѣ дурака. Его рѣчь покорна и послушна мысли и летаетъ какъ муха, то являясь вдругъ въ длинномъ шестистопномъ ямбѣ, то быстромъ одностопномъ; разсчитаннымъ числомъ слоговъ выдаетъ онъ ощутительно самую невыразимую ея духовность.

Лавровскій.

Языкъ басенъ Крылова.

Крыловъ былъ почитаемъ современниками, какъ одинъ изъ лучшихъ писателей; не менѣе чтится онъ дѣтьми и внуками ихъ. И это не то холодное почтеніе, которое остается за уваженными писателями и тогда, когда ихъ произведеній не читаетъ уже никто, кромѣ развѣ тѣхъ любознательныхъ людей, которымъ они нужны, какъ памятники времени: уваженіе къ Крылову есть любовь къ нему, какъ къ человѣку, дѣйствующему на душу своею доброю душою, вызывающему насъ на лучшее, оставляющему въ насъ нравственное спокойствіе. За шестьдесятъ лѣтъ передъ этимъ стали читать и учить его басни; поколѣнія смѣнялись одни другими: для каждаго новаго Крыловъ становился тѣмъ же другомъ, и въ каждомъ прежнемъ, старѣвшемъ, съ лѣтами крѣпла любовь къ нему, какъ къ другу. Уваженіе къ Крылову никогда не уменьшало уваженія къ другимъ писателямъ; но и само не только не уменьшалось отъ этого, а возрастало. Произведенія другихъ писателей нерѣдко перечитывали и выучивали по наказу; къ баснямъ Крылова никогда никого не надобно было приневоливать: онъ былъ и остается каждому нуженъ.

Такое значеніе Крылова зависитъ, кромѣ многаго другого, и отъ языка его. Его басни останутся прекрасными и въ хорошемъ переводѣ на другой языкъ, но ни въ какомъ переводѣ не будутъ такими, какъ въ русскомъ подлинникѣ — въ томъ видѣ, въ какомъ далъ онъ ихъ намъ.

Какъ своей собственною, свободною и самобытною силою Крыловъ владѣлъ роднымъ языкомъ; тѣмъ сильнѣе дѣйствовалъ имъ на другихъ, чѣмъ болѣе вдумывался, чѣмъ болѣе готовъ былъ выразить свою думу и чувство искренно. Отсюда сочувствіе къ нему, ничѣмъ не умаляемое, сочувствіе всѣхъ возрастовъ, нерѣдко сильнѣйшее по мѣрѣ развитія въ человѣкѣ чутья языка, имъ самимъ въ немъ сѣемаго.

Можно отдѣлить, чѣмъ именно дѣйствовалъ и дѣйствуетъ Крыловъ на своихъ читателей, давая свободу выразительности языка. Можно отдѣлить въ его языкѣ *слова*, какъ вѣрныя изображенія его понятій и образовъ: и прекрасенъ, и разнообразенъ, и богатъ его подборъ словъ,—такъ богатъ, что изъ однѣхъ басенъ Крылова можно выбрать довольно большой словарь русскаго языка, не полный болѣе всего въ предметномъ отношеніи, такъ какъ Крылову не случилось говорить о многихъ предметахъ. Можно отдѣлить въ его языкѣ множество *оборотовъ*, особенныхъ способовъ сочетанія словъ и при этомъ разныхъ видоизмѣненій словъ: въ этомъ отношеніи языкъ Крылова если не богаче, то и не бѣднѣе чѣмъ словами. Можно отдѣлить въ немъ огромное число *выраженій*, тѣхъ связей словъ, которыя для ума нераздѣлимы такъ же, какъ и слоги одного слова: многія изъ нихъ — старое достояніе народа, вытравленное изъ нѣкоторыхъ его слоевъ чужеязычіемъ и чужеобычіемъ; многія возникли изъ души Крылова и дороги своею выразительностью не меньше тѣхъ. Можно отдѣлить въ языкѣ Крылова множество *пословицъ* и *поговорокъ*, и взятыхъ имъ у народа и данныхъ имъ народу, ничѣмъ одна отъ другихъ не отличныхъ, если не знать, что та или другая изъ нихъ была въ ходу и до Крылова, а та или другая пошла въ ходъ только послѣ Крылова. За всѣмъ этимъ легко отдѣляемымъ остается то, что не выдѣляется никакимъ химическимъ разложеніемъ: связность частей въ одно цѣлое, жизненная сила живого, безъ чего не былъ бы Крыловъ Крыловымъ, безъ чего не замѣнятъ его басенъ никакіе сборники словъ, оборотовъ и выраженій, поговорокъ и пословицъ, вошедшихъ въ его басни, какія обольстительныя формы ни придать имъ. Тѣмъ-то и великъ Крыловъ въ выразительности языка, что для него богатства русской рѣчи не были чужимъ добромъ, такъ или иначе подобраннымъ, а достояніемъ его души.

Сравнивая Крылова съ другими писателями его времени надобно признать, что и онъ иногда подчинялся всѣми принятымъ образцамъ не только въ выборѣ предметовъ, въ расположеніи и въ изложеніи произведеній, но и въ языкѣ и въ слогѣ, въ пониманіи приличій относительно выбора словъ и выраженій и относительно такъ называемой поэтической вольности; но это невольничанье, заразившее многихъ изъ нашихъ даровитыхъ писателей, было для него не жизненнымъ недугомъ, а временною болѣзнію. Въ большей части басенъ его вмѣстѣ съ силою соблюдена и чистота языка до мелочей: нѣтъ ни славянскаго выговора словъ, ни неправильныхъ ударенія для стиха или для рифмы, ни одночленныхъ прилагательныхъ вмѣсто двучленныхъ, ни неестественнаго расположенія словъ. Менѣе всѣхъ своихъ современниковъ онъ пользовался обычаемъ нарушать чистоту языка, когда оставался самъ собою, когда давалъ себѣ право говорить отъ души, какъ чувствовалъ.

Чутье языка остается для большинства безотчетнымъ. Не отдавая никому отчета въ мелочахъ, оно, повидимому, и не отличаетъ того,

что придаетъ выраженіямъ силу, отъ того, что ее ослабляетъ; но при всей своей безотчетности оно не столько снисходительно, какъ можетъ казаться. Не отвергая ничего по мелочамъ, оно караетъ писателей холодностью тѣмъ болѣе, чѣмъ само живѣе и чѣмъ болѣе бываетъ оскорбляемо нарушеніями чистоты и недостаткомъ живой силы языка. Оно покарало холодностью многихъ писателей, достойныхъ лучшей участи,—писателей, для которыхъ русскій языкъ былъ болѣе механическимъ орудіемъ, чѣмъ живою силою, не отдѣлимою отъ мысли и чувства. Не то было съ Крыловымъ. По дарованіямъ онъ былъ не сильнѣе нѣкоторыхъ изъ писателей забытыхъ, и не только не забытъ, но остается такимъ же живымъ возбудителемъ мысли и чувства, какимъ былъ въ свое время; границы его власти, кажется, даже раздвинулись, и не сдвинутся надолго. Такъ пѣсни пѣвца народнаго, вѣрно сбереженныя памятью народа, остаются неизмѣнно свѣжими цвѣтами поэзіи, какъ бы ни были онѣ стары по времени ихъ сложенія. Рядомъ съ этими живыми цвѣтами поэзіи ставятся нерѣдко поддѣльные цвѣты подражаній, и нравятся, нравятся даже болѣе, гораздо болѣе,—на время, пока не устарѣли прихоти, силою которыхъ была за ними признаваема поэтичность,—и потомъ дѣлаются они и смѣшны и жалки своею поддѣльностью.

Нельзя отвергать, что Крыловъ заботился о выразительности языка, искалъ въ умѣ выраженій, совпадающихъ вполнѣ съ его мыслію, и потому перемѣнялъ ихъ, поправлялъ себя; но нельзя также отвергать и того, что онъ и въ первыхъ своихъ басняхъ выказалъ ту же свободную силу языка, какъ и въ другихъ, написанныхъ позже и гораздо позже, что не былъ онъ подъ тяготѣніемъ силъ новаго литературнаго языка, а самъ былъ одною изъ этихъ силъ,—силою могучею, хотя и незамѣчаемою. И задолго до того, какъ сталъ онъ писать басни и только басни, владѣлъ онъ выразительностью и плавностью языка всегда, когда хотѣлъ, и могъ оставаться самимъ собою, не надѣвая на себя маски условныхъ приличій и не давая воли пользоваться тѣми отступленіями отъ чистоты языка, которыя были допускаемы навыкомъ и примѣромъ образцовыхъ писателей. Въ этомъ отношеніи литературные труды могутъ наводить внимательнаго наблюдателя на замѣчанія, достойныя соображеній.

Крыловъ оставался дѣятелемъ въ литературѣ русской въ продолженіе слишкомъ пятидесяти лѣтъ: писалъ въ годы славы Державина и Хераскова, продолжалъ при Карамзинѣ, при Жуковскомъ, при ученикѣ своемъ Грибоѣдовѣ, кончилъ вмѣстѣ со своими учениками, Пушкинымъ и Марлинскимъ, при Сенковскомъ, Лермонтовѣ, Гоголѣ и ихъ современникахъ. Кто не знаетъ, что̀ пережила въ продолженіе этихъ многихъ лѣтъ русская литература, а съ нею и русскій литературный языкъ; кто не скажетъ, говоря по совѣсти, что произведенія многихъ, многихъ писателей, когда-то и даже очень недавно знаменитыхъ, любимыхъ, трудно и непріятно читать — болѣе всего потому, что ихъ языкъ не нашъ языкъ?

Мнѣ кажется, что въ то время, когда началъ и продолжалъ писать Крыловъ, Державинъ царилъ въ нашей литературѣ, почти затмевая всѣхъ другихъ писателей или, по крайней мѣрѣ, всѣхъ ихъ увлекая за собою. И Державинъ, сколько ни давалъ онъ себѣ свободы выражаться, какъ пришлось, хоть бы и противъ основныхъ законовъ языка, нерѣдко выражался чисто по-русски, о чемъ бы ни заговорилъ. И Муравьеву, Богдановичу, Майкову, Петрову, даже Хераскову, Кострову, Княжнину удавалось то же. Съ другой стороны и Карамзину, Дмитріеву, Нелединскому и другимъ, еще болѣе позднимъ, часто не удавалось выражаться такъ хорошо по-русски, какъ удавалось Державину и другимъ писателямъ прежняго времени. Удавалось уже вполнѣ тѣмъ комикамъ и сатирикамъ, которые писали не отъ своего лица, а выводили разныя лица простого быта и смѣшили или забавляли ихъ рѣчью своихъ читателей или слушателей; но удачи этихъ писателей, кажется, надобно брать въ расчетъ не при разборѣ состоянія литературнаго языка, а при оцѣнкѣ ихъ литературныхъ понятій: они могли умѣть и точно умѣли вѣрно изображать лица разныхъ слоевъ народа особенностями ихъ рѣчи, и въ то же время могли не умѣть и точно не умѣли говорить хорошо отъ себя. И имъ, какъ всѣмъ другимъ, удавалось это случайно. Всѣ удачи и неудачи зависѣли отъ однѣхъ и тѣхъ же причинъ, — и это бы продолжалось безвыходно, если бы не проникла въ нашу литературу новая струя.

Чувство народности стало все болѣе оживляться въ людяхъ образованнаго общества въ то время, когда это же общество заражалось все болѣе безграничнымъ пристрастіемъ къ чужому западно-европейскому. Чувство народности сливалось съ любовію къ отечеству, съ силою, которая связывала въ союзъ взаимнаго уваженія людей русскихъ родомъ или домомъ и долгомъ совѣсти, но не нравомъ и обычаемъ, съ людьми русскими, которые не умѣли или не хотѣли быть иными, чѣмъ отъ роду были. Съ чувствомъ народности росли всегда и вездѣ сочувствіе къ народной пѣснѣ, сказкѣ и пословицѣ, сочувствіе къ выразительности простой народной рѣчи и живое чутье родного языка. Литература не могла остаться въ сторонѣ отъ этого движенія общества. Не легко было, однако, дать ему въ ней общее значеніе: закоренѣлыя привычки писателей прежнихъ поколѣній, легко переходившія и къ новымъ, молодымъ поколѣніямъ, искавшимъ себѣ образцовъ въ произведеніяхъ прошлаго времени, необходимость читать и перечитывать произведенія литературъ иноземныхъ, — необходимость, которую оправдывали не однѣ привычки, но и чувство правды, влеченіе къ прекрасному, сравнительная бѣдность нашей литературы, необходимость переводами и передѣлками ихъ дополнять наше литературное достояніе, — дополнять сколько можно болѣе вѣрно и дословно, удобство выражаться, не вдумываясь въ слова и выраженія, удобство права калѣчить языкъ на основаніи условій такъ называемой поэтической вольности, — права, придуманнаго въ вѣкѣ всяческаго безправья, — все вмѣстѣ удерживало нашу литературу на старой дорогѣ. Робко, чуть замѣтною тропинкой,

могли пробираться подлѣ этой большой дороги попытки говорить отъ сердца чисто русскою рѣчью, не смѣша читателей, а вызывая въ нихъ тѣ же думы и чувства, какія, какъ всѣмъ казалось, полновластно были вызываемы искусственнымъ языкомъ большой дороги. Эти попытки, какъ ни были онѣ скромны, были замѣчаемы все болѣе и дѣйствовали на писателей, по крайней мѣрѣ, столько же, сколько и живой языкъ тѣхъ образованныхъ людей, которые говорили по-русски не по книгамъ. Въ искусственномъ литературномъ языкѣ допущена въ пользу народности одна перемѣна, она уступка, безъ сомнѣнія, очень важная, но все же только уступка: допущено, а потомъ признано и необходимымъ — подлаживать подъ строй народной логики расположеніе словъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ данъ входъ оборотамъ иноземнымъ, французскимъ. Выгнано было, кромѣ того, изъ языка нѣсколько словъ славянскихъ, но зато принято много словъ, занятыхъ въ подлинникѣ или въ переводѣ изъ того же французскаго языка. Не этого можно было желать тѣмъ, для которыхъ дорога была сила прямо русской рѣчи. Трудно было овладѣть этой силой въ такомъ положеніи дѣлъ: нужны были — твердая рѣшимость и стойкость, дарованія, счастливое умѣнье, знанія. Пытались многіе, иные довольно счастливо, но не долго; несоскучившихся борьбою съ трудностями не остался почти никто.

Крыловъ остался. Съ 1806 г. началъ онъ печатать свои басни. Съ пересказами басенъ Лафонтена почти сразу сталъ онъ давать и свои собственныя, — и какія: „Ларчикъ“, „Музыканты“, „Оракулъ“, „Обезьяны“ и т. д. Въ 1811 г. было у него уже болѣе сорока басенъ и въ томъ числѣ наполовину его собственныхъ. Въ 1816 г. — 115, и въ томъ числѣ собственныхъ болѣе 90. Изъ всѣхъ басенъ, написанныхъ Крыловымъ, а ихъ безъ одной 200, занятыхъ отъ другихъ баснописцевъ менѣе 40. И въ занятыхъ, впрочемъ, онъ столько же самобытенъ, какъ въ собственныхъ, — самобытенъ въ разсказѣ, въ подробностяхъ, въ выразительности рѣчи. Это отмѣчено уже было Жуковскимъ при разборѣ перваго изданія 1809 г., хотя Жуковскій тогда еще и не понималъ значенія народной выразительности разсказа и языка. Нельзя сказать, что языкъ басенъ Крылова совершенно безъ ошибокъ противъ чистоты и правильности; но эти ошибки исчезаютъ въ несчетномъ множествѣ разнообразныхъ красотъ чистаго русскаго языка и въ силѣ задушевности, которою онъ проникнутъ не менѣе, чѣмъ языкъ народныхъ пѣсенъ и пословицъ. Приводить ли доказательства? Но кто же не знаетъ наизусть басенъ Крылова? Однѣ изъ нихъ, правда, менѣе извѣстны, чѣмъ другія; но кто можетъ поручиться, что какая-нибудь менѣе всѣхъ другихъ извѣстная не памятна большинству? Позволяю себѣ привести всѣмъ памятную, примѣняемую не только къ простой житейской правдѣ и совѣсти, но и къ правдѣ и совѣсти въ языкѣ:

Дитяти маменька расчесывать головку
Купила частый гребешокъ.
Не выпускаетъ вонъ дитя изъ рукъ обновку.

Играетъ иль твердитъ изъ азбуки урокъ,
Свои все кудри золотые,
Волнистые, барашкомъ завитые
И мягкіе, какъ тонкій ленъ,
Любуясь гребешкомъ, расчесываетъ онъ.
И что за гребешокъ! Не только не теребить,
Нигдѣ онъ даже не зацѣпитъ,
Такъ плавенъ, гладокъ въ волосахъ.
Нѣтъ гребню и цѣны у мальчика въ глазахъ.
Случись, однакоже, что гребень затерялся.
Зарѣзвился мой мальчикъ, заигрался,
Всклокочилъ волосы копной,
Лишь няня къ волосамъ, дитя подыметъ вой:
„Гдѣ гребень мой?“
И гребень отыскался,
Да только въ головѣ ни взадъ онъ ни впередъ,
Лишь волосы до слезъ деретъ.
„Какой ты злой гребнишка!“
Кричитъ мальчишка.
А гребень говоритъ: „Мой другъ, все тотъ же я,
Да голова всклокочена твоя“.
Однакожъ, мальчикъ мой отъ злости и досады —
Закинулъ гребень свой въ рѣку...
Теперь имъ чешутся наяды.

Крылову болѣе, чѣмъ какому другому писателю, обязана русская литература тѣмъ, что въ языкѣ ея признана необходимость народности, — признана не на какихъ-нибудь условіяхъ сочетанія русскаго съ нерусскимъ, а безусловно, — настолько же, насколько должна быть признаваема въ словесности народной. *Срезневскій.*

Особенности языка Крылова въ стилистическомъ отношеніи.

Въ языкѣ произведеній Крылова необходимо отмѣтить слѣдующія главнѣйшія особенности, придающія, между прочимъ, слогу его произведеній характеръ народности, образности, живости, картинности и художественности.

1. Крыловъ въ своихъ произведеніяхъ (главнымъ образомъ, разумѣется, въ басняхъ) вообще весьма часто пользуется народными поговорками и пословицами. Таковы, напримѣръ, слѣдующія пословицы и поговорки[1]): По мнѣ ужъ лучше пей, да дѣло разумѣй („Музыканты“); ласточка одна не дѣлаетъ весны („Мотъ и Ласточка“); не плюй въ колодезь, пригодится воды напиться („Левъ и Мышь“); хоть видитъ око, да зубъ нейметъ („Лисица и виноградъ“); изъ огня да въ полымя попали („Госпожа и двѣ служанки“); отъ воронъ она от-

[1]) Разумѣется, народныя пословицы и поговорки измѣнены въ нѣкоторой степени Крыловымъ при употребленіи ихъ въ басняхъ.

стала, а къ павамъ не пристала („Ворона“); что ты посѣялъ, то и жни („Волкъ и Котъ“); надѣлала синица славы, а море не зажгла („Синица“); кто въ лѣсъ, кто по дрова“ („Музыканты“) и др.

2. Многія выраженія, употребленныя въ произведеніяхъ Крылова и напоминающія по складу общеупотребительную разговорную рѣчь, а также народныя пословицы и поговорки, стали употребляться въ обыденной рѣчи въ видѣ общественныхъ пословицъ и поговорокъ, что несомнѣнно свидѣтельствуетъ о полномъ соотвѣтствіи означенныхъ выраженій основнымъ свойствамъ языка вообще. Таковы, напримѣръ, слѣдующія характерно мѣткія выраженія Крылова: „У сильнаго всегда безсильный виноватъ („Волкъ и Ягненокъ“); не только правы, чуть не святы („Моръ звѣрей“); впередъ чужой бѣдѣ не смѣйся, голубокъ („Чижъ и Голубь“); не презирай совѣта ничьего, но прежде разсмотри его („Орелъ и Кротъ“); не дай Богъ съ дуракомъ связаться! Услужливый дуракъ опаснѣе врага („Пустынникъ и Медвѣдь“); да у моря погоды ждутъ („Медвѣдь у пчелъ“); Васька слушаетъ да ѣстъ („Котъ и поваръ“); чтобъ тамъ рѣчей не тратить попустому, гдѣ нужно власть употребить (ibid.); ларчикъ просто открывался („Ларчикъ“); слона-то я и не примѣтилъ („Любопытный“); бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ, а сапоги тачать пирожникъ („Щука и Котъ“); худыя пѣсни соловью въ когтяхъ у кошки („Кошка и Соловей“)“ и др.

3) Сравнительное обиліе *идіотизмовъ*, т.-е. оборотовъ рѣчи, свойственныхъ русскому языку, также составляетъ въ стилистическомъ отношеніи одну изъ главныхъ особенностей языка произведеній Крылова, умѣвшаго при этомъ особенно искусно пользоваться для выраженія той или другой мысли такими вообще характерными словами и оборотами рѣчи, которые свидѣтельствуютъ, съ одной стороны, о высокохудожественномъ и вполнѣ вѣрномъ пониманіи Крыловымъ законовъ отечественнаго языка и его особеннаго склада и, съ другой, о томъ, что въ душѣ баснописца всегда „жилъ ясный образъ русскаго народа“: Съ плечъ бѣда долой („Крестьянинъ и работникъ“); спасибо на пріятствѣ („Откупщикъ и сапожникъ“); пошелъ топоръ въ худыхъ („Крестьянинъ и работникъ“); ларецъ въ глаза кидался („Ларчикъ“); извозомъ промышляли („Три мужика“); это зло еще не такъ большой руки („Мартышка и очки“); путь на родину держали („Три мужика“); смекнулъ, какъ дѣломъ тѣмъ поправить (ibid.); и по сію невспомнюсь пору („Лжецъ“); чудесъ палата (ibid.); хлопотъ Мартышкѣ полонъ ротъ („Обезьяна“); подъ гнѣвъ подпала („Лисица и Сурокъ“); я на тебя сошлюся (ibid.); сыплютъ къ курицѣ дождемъ по зву цыплята („Кукушка и Горлинка“); катился градомъ потъ („Демьянова уха“); разбойникъ мужика какъ липку ободралъ („Крестьянинъ и разбойникъ“); такъ изъ избы не вынесено сору; безъ Мишеньки тошнится („Пустынникъ и Медвѣдь“); покупщиковъ отбою нѣтъ („Паукъ и Пчела“); у меня его руками оторвутъ („Червонецъ“) и проч.

4) Необыкновенная *сжатость* и *бойкость* слога, въ связи съ чрезвычайно вѣрнымъ и искуснымъ изображеніемъ разнаго рода картинъ дѣйствительной жизни, въ связи съ мастерскимъ описаніемъ предметовъ и явленій природы, и притомъ немногими, но въ высшей степени мѣткими чертами въ краткихъ и сильныхъ выраженіяхъ, свойственныхъ живой русской простонародной рѣчи: „По камнямъ, рытвинамъ, пошли толчки, скачки — лѣвѣй, лѣвѣй, и съ возомъ — бухъ въ канаву! Прощай, хозяйскіе горшки („Обозъ“); судья лиса; оно (дѣло) въ минуту закипѣло. Запросъ отвѣтчику, запросъ истцу, чтобъ разсказать по пунктамъ и безъ крика: какъ было дѣло, въ чемъ улика? („Крестьянинъ и овца“); вотъ невидаль: мышей! мы лавливали и ершей („Щука и Котъ“) и, сообразно вышеотмѣченному характеру рѣчи, частое употребленіе *эллипсиса*, весьма вообще свойственнаго животному разговорному языку: „За то ужъ у него, что завтракъ, что обѣдъ, что ужинъ, то расправа („Лягушки, просящія царя“); сегодня удалось, а завтра — кто порука? („Плотичка“); ты пѣняла — я смѣялся, ты грозила — я шутилъ („Мое оправданіе“) ступилъ — и небо преклонилось; сошелъ — и крѣпкою пятой сгустилъ Онъ мраки подъ Собой („Подражаніе псалму 17“); нѣтъ ее — и здѣсь туманомъ разстилается тоска („Вечеръ“); не тронуть — его едва примѣтитъ взоръ“ („Алкидъ“) и др.

5) Разнаго рода *метафорическія выраженія*, созданныя весьма часто въ чисто народномъ духѣ и отличающіяся особенною силою и изобразительностію: „И *плотно такъ* онъ *треснулся* на царство, что *ходенемъ пошло* трясинно государство („Лягушки, просящія царя“); сбрелись, и въ тишинѣ, царя вокругъ обсѣвъ, *уставили* глаза и *приложили* уши („Моръ звѣрей“); на кораблѣ у пушекъ съ парусами *возстала* страшная *вражда* („Пушки и Паруса“); *заря* торжественной *десницей снимаетъ* съ неба темный *кровъ* („Утро“).

6) Весьма искусное пользованіе разнаго рода *тропами*, содѣйствующими вообще живости и образности представленія. Таковы, напримѣръ, слѣдующія:

А. *Метонимія:*

„Анюту *въ золотѣ водитъ*, Анюту *съ золота кормитъ*, ее *на золотѣ поитъ* („Посланіе къ другу моему“); я три тарелки *съѣлъ*“ („Демьянова уха“).

Б. *Синекдоха:*

„Совѣтовъ *тысячу* надавано полезныхъ („Крестьянинъ въ бѣдѣ“); *часа* не тратя“ („Ворона и Курица“).

В. *Метафора*:

„*Въ шляпѣ дѣло* („Огородникъ и философъ“); *казною не шутилъ* („Водолазы“); *словомъ не кудрявымъ* (ibid.); какой-то всадникъ такъ *коня себѣ нашколилъ* („Конь и всадникъ“); „*вскипѣла кровь его и разгорѣлся взоръ*“ (ibid.).

Г. *Гипербола*:

„Мольбами заглушенъ и ѳиміамомъ задушенъ („Оракулъ“); у меня его съ руками оторвутъ“ („Червонецъ“).

Д. *Ирония*:

„Ты все пѣла! *Это дѣло;* такъ поди же попляши („Стрекоза и муравей“); помилуй, говоритъ, „за что“? — *За что...* болванъ!“ („Крестьянинъ и работникъ“ [1]) и т. п.

7) Сравненія [2]), уподобленія и олицетворенія, основанныя на метафорическомъ сближеніи понятій и содѣйствующія болѣе живому, наглядному изображенію предметовъ и событій, съ ихъ отличительными чертами и характерными особенностями:

а) *Борей послушался, летитъ, дохнулъ* и вскорѣ
Насупилось и почернѣло море;
Покрылись тучею тяжелой небеса;
Валы вздымаются и рушатся, какъ горы;
Громъ оглушаетъ слухъ; слѣпитъ блескъ молній взоры;
Борей реветъ и рветъ въ лоскутья паруса.
(„Пушки и паруса“.)

б) *Какъ трость* ломка во время зною
Какъ ломокъ *ледъ* въ рѣкахъ весною,
Такъ ломки *ноги* подо мной.
(„Подраж. псалму 37“.)

в) *Такъ малиновка* тосклива
Слыша хлады зимнихъ дней,
Такъ грустна, летя съ полей,
Гдѣ была дружкомъ *счастлива;*
Такъ печаленъ соловей
Зря, что хладъ долины коситъ и т. д.
(„Утѣшеніе“.)

г) Вотъ какъ любовь играетъ нами —
Какъ честью скромный *лицемѣръ,*
Какъ службой модный *офицеръ,*
Какъ жены хитрыя мужьями!
(„Посланіе къ другу моему“.)

д) *Какъ мракъ* бѣжитъ передъ зарей,
Какъ ланъ, гонима смертью злою,
Передъ свистящею стрѣлою —
Такъ ты бѣжишь передо мной!
(„Къ счастью“.)

е) *Какъ солнце,* видъ его прекрасенъ,
Какъ майскій день, и тихъ и ясенъ:
Таковъ его прелестный взоръ.
(„Выборъ изъ пѣсней Соломона“.)

ж) *Какъ туча* мрачная, онъ воздухъ всколебалъ.
(„Филомела“, I, II.)

---

[1]) Собственно такъ называемый *мимезисъ*, т.-е. ироническое повтореніе словъ и тѣлодвиженій другого лица.

[2]) Нужно замѣтить, что въ произведеніяхъ Крылова, подобно тому, какъ это замѣчается и въ народной поэзіи, встрѣчаются отрицательныя сравненія. Такъ въ „Посланіи къ другу моему“ читаемъ:

Не столько воды рѣкъ суровы,
Когда ко ужасу луговъ,
Весной алмазны рвутъ оковы
И ищутъ новыхъ береговъ,
Не столько и они ужасны,
Какъ страсти люты и опасны.

з) *Подобно* какъ луна блѣднѣетъ,
Увидя свѣтла дней царя,
Такъ *Марсъ* мятется и *темнѣетъ*
Въ Минервѣ бога мира зря.
(„Ода“ 1790 г.)

и) Какъ *жаръ*, его поставить хочетъ.
(„Червонецъ“.

і) А *я*, *какъ сирота*, однимъ одна сижу.
(„Кукушка и Горлинка“.)

к) Какъ изъ улья пчелиный рой.
(„Ворона и Курица“.)

8) Особенная сила, выразительность и, такъ сказать, многозначительность изображенія, въ связи съ національнымъ элементомъ, простотою, наглядностію или, вѣрнѣе, пластическою видимостію и точностію опредѣленій, благодаря каковымъ качествамъ слогу произведеній Крылова вполнѣ присуща та оригинально-самобытная особенность, которую Плетневъ чрезвычайно мѣтко охарактеризовалъ словомъ „увѣсистый“, и которая существенно отличаетъ способъ выраженія Крылова отъ выраженія современныхъ ему писателей:

а) И онъ же батрака ругаетъ.
Опѣшилъ бѣдный мой Степанъ.
„Помилуй“, говоритъ: „за что?“ — За что... болванъ!
Чему обрадовался сдуру?
Знай колетъ: всю испортилъ шкуру!
(„Крестьянинъ и работникъ“.)

а) Вотъ Мишенька, не говоря ни слова,
Увѣсистый булыжникъ *въ лапы* сгребъ,
Присѣлъ на корточки, не переводитъ духу,
Самъ думаетъ: „молчи жъ, ужъ я тебя вооруху“!
И, у друга на лбу подкарауля муху,
Что силы есть — хвать друга камнемъ въ лобъ!
Ударъ такъ ловокъ былъ, что черепъ врознь раздался,
И Мишинъ другъ лежалъ надолго тамъ остался.
(„Пустынникъ и Медвѣдь“.)

в) Эхъ братецъ, отвѣчалъ Эакъ:
Не знаешь дѣла ты никакъ,
Не видишь развѣ ты? Покойникъ былъ дуракъ!
(„Вельможа“.)

г) Онъ друга обмахнулъ;
Взглянулъ,
А муха на щекѣ; согналъ, а муха снова
У друга на носу,
И неотвязчивѣй часъ отъ-часу.

9) Вліяніе стараго реторическаго тона и ложно-классическихъ образцовъ русской словесности замѣчается въ произведеніяхъ Крылова, въ его стремленіи выразиться въ извѣстныхъ случаяхъ нѣсколько торжественнымъ, затѣйливымъ слогомъ [1]) и, во-вторыхъ, въ разнаго рода

[1]) Такъ, напримѣръ, начало басни: „Моръ звѣрей“ отличается до извѣстной степени искусственно торжественнымъ тономъ, едва ли вообще соотвѣтствующимъ легкой, игривой и остроумной баснѣ. Здѣсь же встрѣчаются такія фразы: „лютѣйшій бичъ небесъ, природы

реторическихъ украшеніяхъ, допускаемыхъ Крыловымъ, впрочемъ, лишь въ исключительныхъ случаяхъ:

а) *Фигура единоначатія*:

α) *Но* тебѣ ль, мой другъ, опасна
Трата всѣхъ пустыхъ прикрасъ?
Ими ль ты была прекрасна?
Ими ль ты плѣняла насъ?
Ими ль пламенные взоры
Сладкій лили въ сердце ядъ.
(„Утѣшеніе".)

β) *Кто*, кто съ мечомъ? Со мною рядомъ
Кто мнѣ поборникъ на убійцъ?
Кто на гонителей вдовицъ?
(„Подражаніе псалму 93".)

γ) Но страсти имъ движеніе даютъ:
Держась за нихъ, въ храмъ славы всѣ идутъ,
Держась за нихъ, людей нерѣдко мучатъ;
Держась за нихъ, добру ихъ много учатъ.
(„Посланіе о пользѣ страстей".)

б) *Фигура вопрошенія и восклицанія*:

α) Безъ свѣта ли — Творецъ свѣтилъ?
Безсиленъ ли — Создатель силъ?
Безуменъ ли — Кто умъ въ насъ влилъ?
И мертвъ ли — давшій душу живу. (ibid.)

β) Надежда есть, но ахъ! когда она напрасна...
О небо, для меня и мысль сія ужасна!
(„Филомела".)

γ) О чудо, о позоръ.
(„Оракулъ".)

δ) Я слышалъ — правда ль. (ibid.)

в) *Фигура отличенія*, т.-е. употребленіе одного и того же слова въ разныхъ значеніяхъ:

α) И нищій нищенькимъ попрежнему остался.
(„Фортуна и Нищій".)

β) И изъ гостей пришла домой „свинья — свиньей".
(„Свинья".)

г) *Фигура сообщенія*, выражающая довѣріе къ слушателямъ при ссылкѣ на ихъ совѣсть; она свидѣтельствуетъ о добродушіи, совер-

---

ужасъ — моръ...; въ адъ распахнулись настежь двери; вездѣ разметаны ея свирѣпства жертвы". Въ баснѣ: „Чижъ и ежъ" обращаетъ на себя вниманіе фраза: „Феба пѣть не смѣю", а также употребленіе такихъ словъ, какъ Парнасъ, Плутонъ, Зевсъ и т. д., встрѣчающихся сравнительно довольно часто въ разныхъ произведеніяхъ Крылова. Нельзя не обратить также вниманія на сравненіе французовъ съ „новыми Вандалами" („Ворона и Курица"); нельзя не отмѣтить того, что „листы на деревѣ съ зефирами шептали" („Листья и корни"), и т. п. Все это, однако, лишь весьма слабая дань тѣмъ старымъ взглядамъ и понятіямъ реторической школы, отъ которыхъ едва ли и возможно было полное и совершенное освобожденіе во времена Крылова.

шенной увѣренности въ истинѣ, и потому плѣняетъ сердце и увлекаетъ слушателя:

Ну, видывалъ ли ты, я на тебя сошлюся,
Чтобъ этому была причастна я грѣху.
Подумай, вспомни хорошенько!
(„Лисица и Сурокъ“.)

д) *Фигура удержанія*, нечаянно прерывающая рѣчь, безъ окончанія мысли или выраженія ея:

Погляжу ль — но солнце скрылось,
И свернулись всѣ цвѣтки. („Вечеръ“.)

е) *Фигура умолчанія* въ соединеніи *съ фигурою восклицанія и вопрошенія:*

Я зрю въ гонителѣ... кого я, небо, зрю?
Что въ заблужденіи несчастный говорю?
Терей гонитель... нѣтъ — сей мысли ужасаюсь!
Но мыслить это я невольно принуждаюсь...
Любовь моя... но что за трубный слышенъ гласъ.
(„Филомела“, 1, П.)

ж) *Фигура отвѣтствованія* въ соединеніи *съ фигурою единоначатія и вопрошенія:*

Не расторгается ль природа?
Не воскресаетъ ли хаосъ?
Не рушится ль вселенна вскорѣ?
Не въ адѣ ль я?... Нѣтъ, въ финскомъ морѣ,
Гдѣ поражаетъ Готѳа Россъ.
(„Ода“ 1790.)

10. Художественность произведеній Крылова объясняется, независимо отъ вполнѣ удачнаго вообще подбора словъ и оборотовъ рѣчи, между прочимъ, и тѣми эпитетами, которые встрѣчаются вполнѣ обычно въ его сочиненіяхъ и содѣйствуютъ вообще болѣе живому представленію предметовъ съ ихъ отличительными признаками. Таковы напримѣръ, слѣдующіе эпитеты: *сладкій* сонъ, *унылая* жалость, градъ *холодный*, *прохладная* роса, *свирѣпыя* волны, *бурный* вѣтръ, грудь *бѣлая*, *пламенный* взоръ, *злая* тоска, *лазурные* своды неба, *свирѣпый* гнѣвъ, дубровы *темныя*, *мрачный* порокъ, заря *алая*, солнце *красное*, *трясинно* государство, *увѣсистый* булыжникъ, *злодѣйка-западня*, наѣздникъ *лихой*, *жестокая* страсть, *обманчивая* волна, конь *ретивый*, *широко* поле, *бурный* вихрь и др.

11. *Изобразительность* слога произведеній Крылова (и въ особенности его басенъ) достигается, между прочимъ, *звукоподражаніями* и вообще словами и выраженіями, являющими собою, такъ сказать, особенную живопись въ звукахъ: „кукушка куковала, горлинка ворковала, соловей защелкалъ, засвисталъ, переливался, мелкой дробью разсыпался, и думаетъ онъ свою думу безъ шуму“ и т. п.

12. Одной изъ особенностей внѣшней формы произведеній Крылова, обнаруживающейся, преимущественно въ его басняхъ, служитъ,

между прочимъ, *вольность стиха,* почти всѣ басни Крыловъ писалъ ямбическими стихами, и при этомъ съ удивительнымъ искусствомъ пользовался свободою басеннаго стиха; у него количество стопъ въ стихѣ вообще находится въ самой тѣсной связи съ содержаніемъ басни. Когда, напримѣръ, Крыловъ изображаетъ медленность или продолжительность дѣйствій, тяжесть или неповоротливость предмета и т. п., тогда и стихъ въ его баснѣ тянется долго, состоитъ изъ пяти, шести стопъ[1]); когда же онъ изображаетъ быстроту дѣйствія, его постоянную измѣняемость, легкость и живость предмета, отрывистость голоса говорящаго, когда онъ хочетъ на какую-нибудь мысль обратить особенное вниманіе читателя и т. п., тогда и самый стихъ въ его баснѣ сокращается въ три, двѣ и даже одну стопу и, по мѣрѣ надобности, отличается то быстротою и силою, то выразительностію риѳмы[2]).

Таковы главнѣйшія особенности языка и слога произведеній Крылова, басни котораго, какъ „живой и вѣрный отголосокъ русскаго ума съ его смѣтливостію, наблюдательностію, простосердечнымъ лукавствомъ, съ его игривостію и глубокомысліемъ, не отвлеченнымъ, не умозрительнымъ, а практическимъ и житейскимъ“, и какъ одно изъ величайшихъ достояній духовнаго богатства русскаго народа, служатъ свидѣтельствомъ, съ одной стороны, нашего умственнаго роста и нравственнаго самопознанія вообще и, съ другой стороны, являютъ собою доказательство значительнаго развитія въ произведеніяхъ геніальнаго баснописца отечественнаго языка на началахъ гармоническаго единенія разнаго рода стихій, входящихъ въ составъ русскаго литературнаго языка, и подъ условіемъ пониманія души народа, выраженіемъ которой въ словѣ и служитъ языкъ, какъ „исповѣдь народа“, по многознаменательному замѣчанію поэта.

Истоминъ.

---

[1]) Напримѣръ, описаніе паденія чурбана въ баснѣ: „Лягушки, просящія царя“; описаніе медвѣдя, приготовляющагося убить муху, въ баснѣ: „Пустынникъ и медвѣдь“, описаніе медлительнаго дѣйствія рыдвана въ знойный полдень въ баснѣ: „Муха и дорожные“ и т. п.

[2]) Такъ напримѣръ, вся басня о попрыгуньѣ-стрекозѣ написана быстротекущими, какъ бы прыгающими хореическими стихами. Можно еще указать, въ видахъ поясненія вышесказаннаго, слѣдующія мѣста въ басняхъ Крылова

а) въ баснѣ: „Щука и Котъ“:

„И дѣльно! это, щука,
Тебѣ наука,
Впередъ умнѣе быть
И за мышами не ходить“.

б) въ баснѣ: „Мѣшокъ“:

„О всемъ и рядитъ онъ и судитъ:
И то не такъ,
И тотъ дуракъ,
И изъ того-то худо будетъ“.

в) въ баснѣ: „Огородникъ и философъ“:

„Онъ съ прибылью, и въ шляпѣ дѣло,
А философъ —
Безъ огурцовъ“ и мн. др.

Отношеніе современниковъ къ Крылову.

Причины единодушія въ отзывахъ критиковъ о Крыловѣ заключаются, конечно, прежде всего въ томъ, что достоинства его басенъ: простота, художественность, народность и юморъ ихъ изложенія, мѣткость сатиры, типичность персонажей, доступность для всѣхъ слоевъ общества, наконецъ, благодаря всему сказанному, громадное педагогическое значеніе произведеній Крылова какъ для дѣтей, такъ и для взрослыхъ, — всѣ эти достоинства представлялись безспорными и несомнѣнными въ глазахъ людей самыхъ противоположныхъ литературныхъ лагерей: уже одна популярность басенъ Крылова въ читающей публикѣ, небывало-громадные размѣры ихъ распространенія путемъ печати достаточно краснорѣчиво говорили за себя и давали Крылову преимущество передъ всѣми другими русскими писателями право на званіе всенароднаго поэта. Но, помимо этой основной причины, были налицо и другія условія, въ силу которыхъ имя Крылова не возбуждало такой ожесточенной полемики, какая возгорѣлась при выходѣ на литературную арену Карамзина, Пушкина и особенно Гоголя: Крыловъ не являлся литературнымъ новаторомъ; онъ отмежевалъ въ свое исключительное обладаніе классическій родъ поэзіи, освѣщенный авторитетами Эзопа, Федра, Лафонтена и Дмитріева, — родъ, удобный тѣмъ, что въ его сферѣ даже и старая піитика, уже отжившая свой вѣкъ, допускала наиболѣе *вольностей* — и „низкій штиль“, приближающійся къ простонародному способу выраженія, и вольный стихъ, напоминающій обычную разговорную рѣчь. Эти условія дѣлали возможнымъ и самое внесеніе въ басню народнаго элемента, позволяли ей черпать содержаніе изъ дѣйствительной, обыденной жизни, выводить на сцену дѣйствительныхъ, простыхъ людей, хотя бы въ аллегорическомъ образѣ животныхъ. Басня, комедія, сатира подъ перомъ даровитыхъ писателей несравненно легче могли проникнуться реализмомъ, чѣмъ, напримѣръ, ода или трагедія, имѣвшія дѣло съ героями и полубогами, съ ихъ высокими чувствами и выспреннимъ изложеніемъ. Но басня была не только общепризнаннымъ, законнымъ видомъ поэзіи: ея общедоступность дѣлала ее одною изъ любимѣйшихъ литературныхъ формъ, а ея высокая нравоописательная и нравоисправительная цѣль внушала особое уваженіе къ дѣятельности баснописца. Во времена тяжелыя для литературы аллегорическій способъ выраженія, „эзоповскій языкъ“, давалъ возможность общественному мнѣнію, соединяя обличеніе и поученіе съ забавою, выражаться хоть въ половину, говорить „истину съ улыбкою“, при чемъ, конечно, неумѣренная улыбка могла иной разъ заслонять собою самую истину. Басня представлялась разновидностью сатиры забавной и незлобной, но тѣмъ не менѣе дѣйствительной, какъ мы видѣли изъ приведеннаго выше выраженія князя Вяземскаго о Крыловѣ, *исправившемъ* людей *забавою*. Такой взглядъ на характеръ басни выраженъ и Батюшковымъ *(Мои Пенаты)*,

прославляющимъ Дмитріева за то, что онъ „Парнасскими цвѣтами *скрылъ истину шутя*“, и самимъ Крыловымъ, поясняющимъ баснею общеизвѣстную истину („охотно мы даримъ, что намъ не надобно самимъ“) затѣмъ, „что истина сноснѣе *вполоткрыта (Волкъ и Лисица)*, и тѣмъ болѣе прибѣгающимъ къ формѣ басни для выраженія мысли, болѣе раздражающей, о томъ, что „у сильнаго всегда безсильный виноватъ“ *(Волкъ и Ягненокъ)*. Наиболѣе полно и ясно эта теорія басни въ тогдашней литературѣ выражена Измайловымъ, также въ формѣ басни, поставленной во главѣ его произведеній этого рода и озаглавленной прямо: *Происхожденіе и польза басни*. Къ царю въ чертогъ является нагая истина, и на вопросъ разгнѣваннаго властелина, кто она такова и какъ смѣла войти въ такомъ видѣ, объясняетъ свое званіе и цѣль своего прихода — сказать лишь слова два: „Льстецы престолъ твой окружаютъ; народъ вельможи угнетаютъ; ты нарушаешь самъ нерѣдко свой законъ“. Царь гонитъ истину вонъ и велитъ стражамъ отвести ее въ смирительный или сумасшедшій домъ. Въ другой разъ истина приходитъ къ царю уже не нагая, въ блестящей, дорогой одеждѣ, взятой у *вымысла*, и, смягчивъ свой грубый тонъ, вступаетъ въ почтительный разговоръ.

Царь выслушалъ ее съ великимъ снисхожденьемъ:
Перемѣнился скоро дворъ;
Временщики упали:
Пришелъ на знатныхъ черный годъ;
Вельможи новые не спали;
Царь славу пріобрѣлъ, и счастливъ сталъ народъ.

Заключеніе этой остроумной басни особенно характерно, указывая на то преувеличенное значеніе иносказательныхъ обличеній, какое, по крайней мѣрѣ, на словахъ, склонны были люди той эпохи приписывать баснѣ и сатирѣ вообще: въ самомъ дѣлѣ, басни оказываются способными произвести полную перемѣну придворныхъ и административныхъ нравовъ, искоренить всѣ застарѣлые пороки, сдѣлать цѣлый народъ счастливымъ!

Такое высокое представленіе объ общественномъ значеніи басни въ соединеніи съ ея пріятнымъ, безобиднымъ характеромъ, пожалуй, не менѣе неоспоримаго достоинства самыхъ басенъ Крылова, побуждало современниковъ смотрѣть на него съ особымъ уваженіемъ, чему, конечно, не мало также способствовали знаки благоволенія, неоднократно выражавшіеся по адресу баснописца изъ высшихъ сферъ. Правда, даже самыя могущественныя связи не избавляли иногда Крылова отъ цензурныхъ затрудненій, и ему приходилось порою сознавать, что „плохія пѣсни соловью въ когтяхъ у кошки“, и высказывать эту мысль „на ушко“ читателю, приходилось не пояснять далѣе своей мысли, „чтобъ гусей не раздразнить“, *даже передѣлывать заключеніе* своей басни, какъ это случилось съ *Рыбьими плясками*, — приключеніе, аналогичное съ гоголевскою *Повѣстью о капитанѣ Копейкинѣ*. Для напечатанія *Вельможи* понадобилось личное вмѣшательство самого

императора Николая Павловича; намъ уже пришлось говорить о любопытной баснѣ Крылова *(Пестрыя Овцы)*, которая вовсе не увидѣла свѣта при его жизни и, по всей вѣроятности, не случайно. Не всегда, значитъ, басни Крылова представлялись его современникамъ только поучительными и забавными, но вызывали иной разъ неудовольствіе своей мѣткою общественною сатирой: нагая истина просвѣчивала и сквозь одежду, заимствованную у вымысла. Бѣлинскій вѣрно подмѣтилъ, что Крыловъ умѣлъ придать баснѣ жгучій характеръ сатиры и памфлета; но не всѣ обладали проницательностью взора великаго критика: для массы читающаго люда, въ которой такъ часто попадались нечистые на руку Климычи, „украдкою кивающіе на Петра“ при чтеніи о взяткахъ и не любящіе узнавать себя въ зеркалѣ сатиры, въ глазахъ этой массы Крыловъ всегда былъ „незлобивымъ поэтомъ“, удѣлъ котораго такъ блаженъ по извѣстному стихотворенію Некрасова, человѣкомъ умѣреннаго образа мыслей, уравновѣшеннымъ, благоразумнымъ и вполнѣ благонамѣреннымъ въ политическомъ и литературномъ смыслѣ. Въ сущности своей оцѣнки масса, какъ мы увидимъ, и не ошибалась: она только не въ состояніи была извлечь изъ произведеній Крылова того общественнаго вывода, какой изъ нихъ проистекалъ, и какого, можетъ-быть, не могъ бы формулировать и самъ баснописецъ. Спокойный, безстрастный, чисто народный юморъ басенъ Крылова не имѣлъ, повидимому, въ себѣ ничего задорнаго, не кусался и не бичевалъ слишкомъ явно, почему люди близорукіе и не могли особенно больно его ощущать, подобно тому, какъ тѣ же люди видѣли только одинъ забавный элементъ въ произведеніяхъ Гоголя, по крайней мѣрѣ, до появленія „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“. Безсмертная выходка Загорѣцкаго противъ басенъ въ самомъ принципѣ, если и является отраженіемъ взгляда нѣкоторой части современнаго ему общества, во всякомъ случаѣ даже и въ глазахъ реакціонеровъ 20-хъ годовъ должна была представляться доведеннымъ до карикатуры и по тому самому подозрительнымъ насчетъ искренности заявленіемъ ультра-благонамѣренности: если цензура и не упускала случая „налечь на басни“, несомнѣнно все-таки, что подъ покровомъ шутливой аллегоріи литература имѣла возможность касаться общественныхъ вопросовъ съ большею для себя безопасностью, чѣмъ въ формѣ открытой сатиры или серіозной публицистики. *Аммонъ.*

Личность Крылова.

О превосходствѣ басенъ Крылова было столько говорено, что едва ли остается что-либо прибавить къ высказаннымъ похваламъ. Но въ чемъ же дѣйствительная заслуга Крылова? Не будетъ ли справедливо, спроситъ иной, притти, наконецъ, къ заключенію, что онъ, выразивъ общеизвѣстныя истины, хотя и въ художественной формѣ, не сказалъ ничего новаго? Онъ не былъ, могутъ замѣтить, ни ученымъ, ни даже образованнымъ или особенно-дѣятельнымъ или

благоразумно-мыслящимъ человѣкомъ. Онъ уже при жизни былъ достаточно вознагражденъ за незначительный трудъ сочиненія басенъ, и не пора ли, наконецъ, забыть увлеченіе, возбужденное въ его современникахъ замысловатыми апологами, которые были въ духѣ той эпохи, но потеряли цѣну для нашего серіознаго времени? Какъ ни странно такое сужденіе, но намъ случалось его слышать, а потому не излишне будетъ распространиться нѣсколько объ умственной и нравственной физіономіи Крылова и о значеніи его басенъ. Точно ли Крыловъ не былъ высокообразованнымъ человѣкомъ? Ученымъ онъ дѣйствительно не былъ, хотя, изучивъ греческій языкъ въ 50-лѣтнемъ возрастѣ, съ цѣлію удивить своего друга, переводчика „Иліады“ Гнѣдича, и показалъ, что, по своимъ способностямъ, могъ бы съ честію посвятить себя наукѣ, если бъ тому не помѣшали обстоятельства и особыя свойства его природы. Во время служенія своего при Публичной библіотекѣ Крыловъ задумалъ было составить библіографическій указатель ко всѣмъ русскимъ журналамъ, но, разумѣется, при непривычкѣ къ подобнымъ трудамъ, остановился въ самомъ началѣ этого предпріятія. Хотя художественное призваніе увлекало его къ дѣятельности другого рода, однакожъ онъ всегда питалъ глубокое уваженіе къ знанію и наукѣ. Еще въ „Почтѣ Духовъ“ были цѣлыя письма, посвященныя защитѣ образованія; такова же цѣль и нѣсколькихъ басенъ его; разсказъ о животномъ, которое, напитавшись жолудями подъ дубомъ, стало рыломъ подрывать корни его, оканчивается стихами:

Невѣжда такъ же въ ослѣпленьи
Бранитъ науки и ученье
И всѣ ученые труды,
Не чувствуя, что онъ вкушаетъ ихъ плоды.

При всей своей видимой наклонности къ бездѣйствію, Крыловъ, въ художественномъ творчествѣ, не гнушался труда. Напрасно многіе думаютъ, что сочиненіе басенъ легко доставалось ему. Возможное совершенство во всякомъ произведеніи искусства рѣдко достигается безъ настойчивыхъ усилій. Такъ было и съ Крыловымъ. Теперь уже несомнѣнно, что онъ долго отдѣлывалъ свои басни, возвращался къ нимъ неоднократно, и многія изъ нихъ совершенно передѣлывалъ по нѣскольку разъ. Природная лѣнь никогда не мѣшала ему сознавать превосходство дѣятельности. Въ образахъ „пруда и рѣки“ онъ наглядно представилъ разницу бездѣйствія и труда, объяснивъ свою мысль такимъ заключеніемъ:

Такъ дарованіе безъ пользы свѣту вянетъ,
Слабѣя всякій день,
Когда имъ овладѣетъ лѣнь,
И оживлять его дѣятельность не станетъ.

Крыловъ обладалъ глубокимъ умственнымъ и нравственнымъ образованіемъ, чему краснорѣчивымъ доказательствомъ служатъ всѣ его литературные труды, въ которыхъ въ самой юности своей онъ выражалъ неизмѣнно-здравыя убѣжденія о святости долга, о высокомъ зна-

ченіи гражданской честности, и глубокую ненависть ко всему, что унижаетъ достоинство человѣка, на какой бы общественной ступени онъ ни стоялъ. Всю жизнь онъ преслѣдовалъ корыстолюбіе, лицемѣріе, чванство, лесть, обманъ; всю жизнь онъ старался словомъ своимъ просвѣщать общество и наводить согражданъ на путь истины, долга и чести. Смолоду онъ, подобно Карамзину, отказался отъ всѣхъ приманокъ честолюбія, корысти и тщеславія; смолоду дорожилъ болѣе всего духовными благами и съ жаромъ устремился къ пріобрѣтенію знаній. 15-лѣтнему юношѣ, принужденному отказывать себѣ въ самыхъ невинныхъ удовольствіяхъ своего возраста, петербургскій книгопродавецъ Брейткопфъ предлагаетъ 60 руб. за первый драматическій трудъ его; но начинающій писатель предпочитаетъ получить, вмѣсто денегъ, нѣсколько томовъ знаменитыхъ французскихъ авторовъ, — черта, еще не довольно оцѣненная въ біографіи баснописца. Не получивъ никакого правильнаго образованія, молодой Крыловъ съ жадностію поглощаетъ книги и знакомится съ замѣчательнѣйшими явленіями европейской литературы. Объ этой ранней начитанности свидѣтельствуютъ всѣ его юношескія сочиненія: вотъ еще примѣръ того, что такъ часто поражаетъ насъ при изученіи нашихъ литературныхъ дѣятелей: Сумароковъ, Державинъ, Карамзинъ были въ большей или меньшей степени самоучками; Крыловъ — болѣе, нежели кто-либо изъ нихъ. Въ томъ возрастѣ, когда Ломоносовъ только что начиналъ учиться въ Спасскихъ школахъ, Крыловъ былъ уже писателемъ, обнаруживавшимъ замѣчательную умственную зрѣлость. Онъ имѣлъ предъ Ломоносовымъ и Карамзинымъ великое преимущество, — счастіе провести годы дѣтства подъ надзоромъ заботливой матери, и это преимущество было чрезвычайно плодотворно для его будущности. Почти сверстникъ Карамзина, онъ пошелъ совершенно другою дорогой и сдѣлался, какъ мы видѣли, его противникомъ; ихъ разномыслiе еще болѣе поддерживалось различнымъ поприщемъ ихъ дѣятельности: одинъ былъ писатель московскій, другой — петербургскій, — особаго рода антагонизмъ, тогда въ первый разъ рѣзко обозначившійся въ нашей литературѣ. Любопытные факты представляетъ исторія нашей умственной дѣятельности. Новый періодъ ея начался въ Петербургѣ, въ трудахъ питомца европейской науки, академика Ломоносова. Лѣтъ черезъ пятьдесятъ Москва становится поприщемъ молодого Карамзина, вносящаго въ русскую литературу западно-европейскіе элементы дальнѣйшаго развитія, а противникъ его, Крыловъ, предпочитающій разработку слова въ чисто народномъ духѣ, дѣйствуетъ въ Петербургѣ. Проведя свое дѣтство сперва на южномъ концѣ Россіи, на Уралѣ, а потомъ въ одной изъ приволжскихъ губерній, Крыловъ почерпнулъ первыя умственныя пріобрѣтенія свои почти изъ той же сокровищницы, какъ Ломоносовъ; народный бытъ и народный языкъ сдѣлались для обоихъ источниками драгоцѣнныхъ для будущей ихъ дѣятельности знаній и образовъ.

Въ послѣднемъ періодѣ своего поприща Державинъ, Крыловъ и Карамзинъ сошлись въ Петербургѣ. Между двумя первыми завязались

дружескія отношенія; Крыловъ, въ молодости подражавшій Державину, теперь самъ сдѣлался образцомъ для престарѣлаго лирика, который въ свои басни видимо вносилъ нѣкоторыя черты крыловскаго аполога, отдавая полную справедливость уму и тонкости нашего народнаго баснописца. Говорятъ, что положеніе баснописца между шишковской „Бесѣдой“ и „Арзамасомъ“ было нѣсколько двусмысленно; къ сожалѣнію, мы не имѣемъ фактовъ для повѣрки этого преданія; но, судя по частнымъ чтеніямъ Крылова въ „Бесѣдѣ“, онъ примкнулъ къ ней довольно тѣсно. Не забудемъ прежнихъ отношеній между нимъ и Карамзинымъ, которыя могли оставить нѣкоторый отстой въ душѣ обоихъ писателей. Нельзя, впрочемъ, думать, чтобъ Крыловъ искренно сочувствовалъ Шишкову и его школѣ; напротивъ, извѣстно, что онъ подшучивалъ надъ „Бесѣдой“, и къ ней, по современному свидѣтельству, относится его басня *Квартетъ*, написанная по поводу приготовленій для пріема въ „Бесѣдѣ“ государя. Педантизмъ, тупоуміе и спесь, во всѣхъ видахъ, были ненавистны нашему баснописцу. Во второй половинѣ жизни, умудренный опытомъ, осторожный, почти никогда не высказывавшійся искренно, онъ, по самому характеру своему, не могъ быть человѣкомъ партіи и вступилъ въ „Бесѣду“ скорѣе по личнымъ, отчасти случайнымъ отношеніямъ своимъ, нежели по убѣжденію. Есть мнѣніе, набрасывающее тѣнь на личный характеръ Крылова: Вигель представляетъ его человѣкомъ холоднымъ, себялюбивымъ, равнодушнымъ ко всякому высшему интересу и угодливымъ изъ расчета. Но сужденія современниковъ о личности всякаго писателя, а тѣмъ болѣе о личности сатирика, требуютъ строгой критической повѣрки: въ настоящемъ случаѣ, надобно принять въ соображеніе, что Крыловъ своею сатирой, очень прозрачной часто и въ басняхъ его, своими остроумными и мѣткими выходками въ свѣтѣ, конечно, возбуждалъ противъ себя нерасположеніе многихъ и не могъ не имѣть враговъ, которые, безъ сомнѣнія не упускали случая мстить даровитому обличителю пороковъ и странностей. Всѣмъ извѣстенъ пасквиль, въ которомъ баснописецъ знаменательно названъ *зоиломъ*. Весьма вѣроятно, что и враждебный ему приговоръ желчнаго Вигеля былъ вызванъ какою нибудь насмѣшкой или горькою правдой, кольнувшей глаза бывшему зубриловскому ученику его. О томъ, что Крыловъ вооружалъ противъ себя бездарность и посредственность, можно судить по его отношеніямъ къ графу Хвостову. Сначала неутомимому стихотворцу очень польстило, что Крыловъ, поступивъ на службу въ Публичную библіотеку, просилъ его прислать свои сочиненія, которыхъ тамъ еще не было. Но потомъ, находя, что осторожный баснописецъ не довольно его хвалитъ и даже иногда тонко издѣвается надъ нимъ, онъ охладѣлъ къ Крылову и не упускалъ случая отплатить ему тою же монетой. Особенно кольнуло Хвостова одно критическое замѣчаніе остроумнаго поэта. Стихи перваго на отъѣздъ двухъ высокихъ лицъ начинались словами:

Изъ нѣдръ отечества надежда, честь Россіи...

Прочитавъ это, Крыловъ шутя замѣтилъ, что, слѣдовательно, по отъѣздѣ этихъ особъ Россія остается безъ чести и надежды. Обиженный авторъ написалъ и едва не напечаталъ предлинную антикритику на эту шутку. Въ другой разъ посредственный стихотворецъ Пожарскій принесъ къ Хвостову въ рукописи свой разборъ басенъ Крылова, состоявшій изъ однихъ придирчивыхъ замѣчаній на слова. Забавный отзывъ свой на эту критику самъ Хвостовъ увѣковѣчилъ въ своихъ рукописныхъ тетрадяхъ. „Сіе все справедливо, — отвѣчалъ онъ: — но молодого поэта (т.-е. Крылова), ежели онъ грамматикѣ не учился, не научишь. Лучше бы было, если бъ г. критикъ замѣтилъ, что вообще во всѣхъ басняхъ слогъ Крылова вялъ, растянутъ и гоняется за остротой: Крыловъ у своихъ предшественниковъ лавра не вырветъ“.

Возвращаясь къ обвиненіямъ, взводимымъ на характеръ баснописца, заключимъ замѣчаніемъ, что безъ положительныхъ фактовъ мы не имѣемъ права обременять упреками частную жизнь писателя, который въ своихъ произведеніяхъ является краснорѣчивымъ проповѣдникомъ добра, чести и правды. Крыловъ еще въ молодости велъ небезопасную войну съ предразсудками и пороками. И если въ позднѣйшемъ возрастѣ онъ прикрылъ свои нападенія не такъ легко проницаемой оболочкой, то не надобно забывать, что къ этому могли побудить его печальные опыты прошлаго. Есть много обстоятельствъ, говорящихъ противъ обвиненія Крылова въ холодности и эгоизмѣ. Извѣстны его нѣжныя отношенія къ отсутствовавшему брату; у него есть басни, дышащія глубокимъ чувствомъ; въ описаніи дружбы двухъ голубей слышится трогательный голосъ сердца, подъ который поддѣлаться невозможно; о томъ же свидѣтельствуютъ его отношенія къ дому Олениныхъ, которымъ онъ за ихъ доброе расположеніе къ нему платилъ горячею благодарностью. *Гротъ.*

Изученіе басенъ Крылова въ связи съ исторіею его жизни поселяетъ въ изслѣдователѣ особенно отрадное чувство. Тутъ убѣждаешься, что онъ былъ такимъ же на дѣлѣ, каковъ былъ въ своихъ басняхъ. Выше было сказано, что онъ былъ вполнѣ счастливый человѣкъ. Но, чтобы быть счастливымъ человѣкомъ, чтобы внушать къ себѣ любовь и уваженіе, — „для того талантовъ мало“; нужно другого рода достоинства, — и онъ обладалъ ими въ полной мѣрѣ. Онъ своею жизнью доказалъ старинную истину, что довольство своимъ состояніемъ составляетъ первое условіе счастія. Занимая скромную должность библіотекаря, онъ умѣлъ быть довольнымъ ею и не мечталъ о высшемъ положеніи въ свѣтѣ, хотя имѣлъ на то полное право. Тщеславіе, гордость были ему чужды. Обласканный членами августѣйшаго семейства, онъ возвращался въ кругъ своихъ друзей тѣмъ же простымъ, добродушнымъ дѣдушкою Крыловымъ, какимъ они привыкли его видѣть. Восторженныя похвалы, которыми осыпали его со всѣхъ сторонъ въ продолженіе второй половины его жизни, не породили въ немъ

самоувѣренности, свойственной только посредственнымъ натурамъ: въ послѣдніе годы своей блестящей дѣятельности, онъ былъ такъ же скроменъ и недовѣрчивъ къ своимъ силамъ, какъ и при ея началѣ. Когда покойный Плетневъ пріѣхалъ къ нему съ Карлсгофомъ приглашать его на юбилейный обѣдъ, онъ сравнилъ себя съ морякомъ, „съ которымъ потому только не случилось бѣды, что онъ не уходилъ далеко въ море". Пользуясь всеобщимъ уваженіемъ, видя, какъ его соотечественники гордятся его геніемъ, онъ никогда никому не далъ почувствовать своего превосходства, никого не оскорбилъ высокомѣрнымъ словомъ или поступкомъ.

Справедливость требуетъ сказать, что и въ его сердце однажды закралось унижающее чувство, — когда Гнѣдичу за переводъ „Иліады" былъ пожалованъ пожизненный пенсіонъ, Крыловъ, который уже давно пользовался такою монаршею милостію, позавидовалъ ему. Онъ даже прервалъ было съ нимъ сношенія. Но глубокое, чистосердечное раскаяніе не только возстановило ихъ прежнія дружескія отношенія, но и послужило Гнѣдичу новымъ доказательствомъ, какъ благородна была душа Крылова.

Въ отношеніяхъ своихъ къ брату, Крыловъ вполнѣ оправдалъ имъ же самимъ высказанную истину:

Кто добръ поистинѣ, не распложая слова,
Въ молчаньи тотъ добро творитъ.

Его младшій братъ, Левъ Андреевичъ (какъ видно изъ писемъ его, сохранившихся въ бумагахъ), началъ службу въ гвардіи, потомъ перешелъ въ армію, затѣмъ по болѣзни — въ гарнизонъ и окончилъ службу и жизнь инвалиднымъ капитаномъ въ Винницѣ, мечтая о счастливой минутѣ свиданія съ братомъ. Время и разстояніе не охладили привязанности, возникшей между братьями еще въ дѣтскіе годы. Ив. Андр. не только исполнялъ его малѣйшія просьбы, но даже предупреждалъ ихъ; онъ облегчалъ ему трудную жизнь, интересовался мельчайшими подробностями его быта; наконецъ, благодаря щедрому содѣйствію брата, Левъ Андреевичъ сдѣлался землевладѣльцемъ и относительно зажиточнымъ человѣкомъ: купилъ хуторъ, сталъ заниматься въ немъ хозяйствомъ и не зналъ нужды. Онъ умеръ въ 1824 г. Владѣльцемъ имѣнія брата долженъ былъ сдѣлаться Иванъ Андреевичъ; но онъ подарилъ это имѣніе денщику, который, по свидѣтельству брата, восемнадцать лѣтъ служилъ при немъ.

Всѣ эти факты при жизни баснописца никому не были извѣстны; но, къ счастію, несомнѣнныя ихъ свидѣтельства сохранились въ многочисленныхъ письмахъ Льва Андреевича. На многихъ изъ нихъ рукою Ив. Андр. сдѣланы помѣтки, показывающія, какъ онъ, вообще небрежный и беззаботный, былъ аккуратенъ въ отношеніи къ брату и какъ спѣшилъ выполнять его просьбы и удовлетворять его нуждамъ.

Послѣдніе годы своей жизни онъ провелъ въ кругу семейства своей крестницы, которое усыновилъ и помѣстилъ на квартирѣ съ собою. Веселая болтовня дѣтей, рѣзвая, шумная ихъ жизнь весе-

лили его. Не въ силахъ будучи попрежнему посѣщать общество, онъ нашелъ себѣ занятія въ обученіи своихъ нареченныхъ внуковъ грамотѣ, слѣдилъ за ихъ уроками музыки, любовь къ которой не охладѣла въ немъ съ лѣтами, и восхищался ихъ успѣхами.

Кеневичъ.

Крыловъ не отвергалъ отъ себя общаго достоянія людей мыслящихъ — знаній и счастливыхъ произведеній, обработанныхъ на другихъ языкахъ. По своимъ понятіямъ, сужденіямъ, по своей жизни, привычкамъ и прекрасно очищенному вкусу, по любви къ талантамъ и личнымъ успѣхамъ въ нѣкоторыхъ художествахъ (напр. въ рисованіи, музыкѣ), онъ былъ равенъ самымъ образованнымъ людямъ высокаго разряда. Еще болѣе скажу: природа надѣлила его способностію быстро и легко усваивать другіе языки. Слѣдовательно, онъ, подобно всѣмъ современникамъ, находился подъ тѣмъ вліяніемъ иноземнымъ, которому не безъ основанія мы приписываемъ частое отсутствіе въ насъ самобытности и народности. Между тѣмъ, онъ духомъ своимъ такъ былъ крѣпокъ и неодолимъ; умъ его такъ былъ строгъ и вмѣстѣ гибокъ, что на соображеніяхъ и исполненіяхъ его не осталось и слѣда подчиненности или увлеченія, ни пріема, заимствованнаго и отзывающагося смѣшеніемъ разнородныхъ движеній, а, напротивъ, каждое вызываемое имъ лицо и складъ его мыслей облекались самымъ разительнымъ образомъ въ русскую физіономію. Народность его произведеній заключается не въ одномъ прекрасномъ употребленіи чисторусскаго языка, народныхъ поговорокъ, не въ одномъ вѣрномъ описаніи костюмовъ, быта русскаго, нравовъ, привычекъ, добрыхъ и дурныхъ нашихъ качествъ,—нѣтъ: въ его словѣ живо обрисованы полныя сцены нашей духовной жизни съ зародыша идеи, или съ перваго взгляда, молчаливо остановившагося на предметѣ, до конца умственной работы, или до послѣдняго явленія въ дѣйствіи. *Плетневъ.*

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ продаются книги,

составленныя В. И. ПОКРОВСКИМЪ:

Аксаковъ, С. Т. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Гоголь, Н. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 75 коп.

Гончаровъ, И. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Грибоѣдовъ, А. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Григоровичъ, Д. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 25 коп.

Державинъ, Г. Р. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Екатерина II. Ея жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

Жуковскій, В. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Кантемиръ, А. Д. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

Карамзинъ, Н. М. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2 е. Цѣна 40 коп.

Кольцовъ, А. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 30 коп.

Крыловъ, И. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Лермонтовъ, М. Ю. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Ломоносовъ, М. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

Майковъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Некрасовъ, Н. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Новиковъ, Н. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 25 коп.

Островскій, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Полонскій, Я. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб.

Пушкинъ, А. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Радищевъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 75 коп.

Сумароковъ, А. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Толстой, А. К. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Толстой, Л. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Тургеневъ, И. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Тютчевъ, Ѳ. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 15 коп.

Фетъ, А. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 20 коп.

Фонвизинъ, Д. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Чеховъ, А. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 2 руб. 50 коп.

Складъ въ книжномъ магазинѣ **В. Спиридонова и А. Михайлова.**
Москва. Тверская, Столешниковъ пер., д. Ліанозова. Телеф. 120—95.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ продаются книги,

составленныя В. И. ПОКРОВСКИМЪ:

Аксаковъ, С. Т. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Гоголь, Н. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 75 коп.

Гончаровъ, И. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Грибоѣдовъ, А. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Григоровичъ, Д. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 25 коп.

Державинъ, Г. Р. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Екатерина II. Ея жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

Жуковскій, В. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Кантемиръ, А. Д. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

Карамзинъ, Н. М. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2 е. Цѣна 40 коп.

Кольцовъ, А. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 30 коп.

Крыловъ, И. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Лермонтовъ, М. Ю. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Ломоносовъ, М. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

Майковъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Некрасовъ, Н. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Новиковъ, Н. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 25 коп.

Островскій, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Полонскій, Я. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб.

Пушкинъ, А. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Радищевъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 75 коп.

Сумароковъ, А. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Толстой, А. К. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Толстой, Л. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Тургеневъ, И. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Тютчевъ, Ѳ. И. Его жизнь и сочинения. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 15 коп.

Фетъ, А. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 20 коп.

Фонвизинъ, Д. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Чеховъ, А. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 2 руб. 50 коп.

Складъ въ книжномъ магазинѣ **В. Спиридонова и А. Михайлова.**
Москва. Тверская, Столешниковъ пер., д. Ліанозова. Телеф. 120—95.

2010515012